БИБЛИОТЕКА ЛАВКРАФТА



Элджернон Блэквуд

Кентавр

РОМАН, ПОЛОЖИВШИЙ НАЧАЛО ЭПОХЕ НЬЮ-ЭЙДЖ

Кентавр
Элджернон Генри Блэквуд

Аннотация
Элджернон Блэквуд. Кентавр
Создатель «Кентавра» Элджернон Блэквуд
I
II
Ill
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV

XLVI

Аннотация

Один из трех (наравне с Эдгаром По и Артуром Мейченом) любимых писателей Лавкрафта. Аскет, поклонявшийся первозданным стихиям Природы. Первый автор «странных историй», с успехом выступавший на радио и телевидении. Создатель удивительных сказок и притч, подаривших второе дыхание британскому и американскому фольклору… Всё это – Элджернон Блэквуд, один из самых одиноких и самых известных литераторов Туманного Альбиона.

Роман «Кентавр», проникнутый страстным поиском единства с Прамиром Земли, – квинтэссенция философии Блэквуда, верившего, что людям под силу одолеть путь через Храм Минувшего и открыть для себя утраченные живительные связи со Вселенной.

Элджернон Блэквуд
Кентавр

БИБЛИОТЕКА ЛАВКРАФТА

Algernon Blackwood
The Centaur



Вступительная статья и перевод с английского языка Л. Г. Михайловой



РИПОЛ
КЛАССИК

© Михайлова Л. Г., вступительная статья, перевод на русский язык, 2023

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2023

Создатель «Кентавра» Элджернон Блэквуд

1900-е. Рубеж веков. Торжество цивилизации, которая ради своего распространения перерабатывает на сырье и строительные блоки многообразие природы. И несогласные с таким ходом вещей, которые стремятся донести до людей таинственную прелесть и грозные таинства непознанного. Их немного, но они талантливы и упорны. Их стараниями остался в истории стиль модерн: причудливые растительные арки, перетекающие формы, бегущие геометрической четкости линии. Будто из непроницаемой чащи вырвались гибкие побеги и донесли до нас непередаваемую нежность цветка, танцующего под флейту Пана. Именно так стоило бы проиллюстрировать самый крупный роман Элджернона Блэквуда «Кентавр». Поскольку перед нами гимн сыновней любви исчезающему миру первозданной Природы.

В раду английских поэтов и визионеров рубежа веков, таких как Редьярд Киплинг, У. Б. Йейтс и Г. Дж. Уэллс, Элджернон Блэквуд занимает осо-

бое место. И дело здесь не столько в величине таланта, сколько в трогательной доверчивости к жизни, пронизанной живыми токами через слои истории, но прежде всего к жизни лесов и полей, морей и рек, гор и простора небес.

Родился мальчик, названный Генри в честь знаменитого прадеда-моряка, героя Трафальгарской битвы сэра Генри Блэквуда (1770–1832), 14 марта 1869 года в викторианской респектабельной семье на северо-западе графства Кент, неподалеку от Лондона. Элджерноном его назвали при крещении. Отец его Артур, за успешную работу секретарем почтового ведомства посвященный в рыцарское звание, был женат на рано овдовевшей Гарриет Доббс-Монтэгю, из ирландских протестантов. Кроме двоих детей от первого брака матери, у Блэквудов родилось еще пятеро.

Из Шутерс-Хилл семья перебралась поближе к столице, в Крейфорд. Там, в большом трехэтажном особняке итальянского стиля из пятнадцати комнат, построенном в 1820 году, и прошло почти всё детство Элджернона. На первом этаже располагался большой зал, где раз в две недели родители принимали конгрегацию на молитвенные собрания. На лужайке перед домом рос огромный кедр, а яма, откуда брали гравий, «каза-

лось, достигала самого центра Земли», как позже писал Блэквуд в автобиографическом «Пленнике Волшебной страны» (A *Prisoner in Fairyland,* 1913). Но одним из самых привлекательных мест был списанный вагон третьего класса, приобретенный Артуром по дешевке для детей: четыре двери, настоящие фонари на крыше, окна, которые можно было открывать и закрывать, и огромные круглые буфера; главное же — «он трогался без предупреждения и разгонялся в мгновение ока, отправляясь куда угодно». Спутниками в поездках становились придуманные Цыганка, Существо из Гравийной ямы, Смеяла, Женщина из Стога, Утренние Пауки и Бродяга, любимец.

По возвращении с Крымской войны, где кровопролитные сражения и страдания раненых при осаде Севастополя обратили его мысли к Богу, Артур Блэквуд помимо работы в казначействе занялся религиозной деятельностью, преимущественно по линии Общества трезвости. Собственно, и с женой он познакомился на евангелистских встречах.

Элджернон постоянно слушал проповеди о воздержании, вреде пьянства и излишеств, плотских увеселений. Американские евангелисты Дуайт Муди и Айра Санки, авторы знаменитого

сборника гимнов, останавливались у Блэквудов. Нередко гости дома вопрошали: «А ты — спасен?» Мальчик мучился дилеммой, правы ли родители с их верой в неотвратимость проклятия или нет. Причем оба ответа одинаково пугали его и вселяли ощущение вины.

Сменив несколько частных школ в Англии, где Элджернон не особенно преуспел в науках, родители отправляют его в Германию, обучаться в Шварцвальдском пансионе Моравских братьев. В этой школе протестантов-евангелистов царили весьма суровые порядки. Обучение было раздельным, одновременно занималось около 80 мальчиков и 60 девочек. Большинство учеников приехали из Франции, около четверти — из Великобритании, однако разговаривать на родном языке дозволялось только первые три дня; начиная с четвертого все разговоры могли вестись только по-немецки, переход на другой язык наказывался уменьшением порции обеда вдвое. Спать укладывались в 8:30 вечера, подъем имел место в половине шестого утра, а в шесть начинались занятия, причем опоздания наказывались также уменьшением порции обеда. Однако в течение дня было несколько больших перемен для разминки и спортивных занятий,

дети регулярно ходили в походы. Два раза в год, в каникулы, устраивался многодневный выход в лес. К ученикам относились ровно, воспитывая в них ответственность и уважение к товарищам. Моравские братья верили, что исключительно важно развить самосознание учеников, много времени уделялось медитации. Аскетический, но здоровый образ жизни с полноценным питанием и частыми прогулками укреплял здоровье учеников — болезни были крайне редки. И, по существу, год, проведенный в Шварцвальде, пошел Элджернону на пользу: он стал организованнее, у него появились друзья, укрепился характер. Развилось и общение с природой, отчего он впоследствии вспоминал пансион, несмотря на все тамошние строгости, тепло и с уважением.

Летом 1886 года он вернулся домой семнадцатилетним юношей, ищущим для себя ответы на вопросы в мире, отнюдь не ограниченном христианскими догматами. Отец проявлял терпимость, считая, что наилучшим способом укрепления веры будут участливые беседы и что сын перерастет тягу к мирским соблазнам. На лето семья отправилась в Шотландию, к школьному другу отца Маклауду, в замок Данвеган, и там, среди поверий о волшебном народе гор, у Элджернона

укрепилось пантеистические представления, согласно которым люди — не единственные существа на планете, отражающие «дух Земли». Отец любил также рассказывать ему нравоучительные истории об опасности общения с миром духов, которые, однако, возбуждали у впечатлительного юноши лишь больший интерес к этой теме. А когда ему попала в руки книга «Афоризмы йогов» Бхагвана Шри Патанджали, оставленная случайно одним из знакомых отца, который писал обличительный памфлет против буддизма как «аморального восточного учения», эта тонкая книжечка, обещавшая молодому Блэквуду, что с помощью медитации он сумеет обрести мир в душе и обострить восприятие всего, «от самого малого до самого великого», а также постигнуть смысл целого, была истинным спасением для него.

На следующий год его вместе с кузеном, который был на несколько лет старше, послали учиться французскому языку в Швейцарию. Там, в пансионе пастора Луи Ланжеля, помимо французского, Элджернон также научился пчеловодству и совершенствовался в игре на скрипке. Хотя профессиональным скрипачом он так и не стал, скрипка всегда сопровождала его

в путешествиях и помогала выйти из депрессии. Истинное облегчение, даже экстаз, Блэквуд испытывал при общении с природой — он часто в одиночку уходил в лес, ощущал мощь жизни вокруг и мучился тем, что не знает, как передать свои чувства природе. Много десятилетий спустя учившийся вместе с ним у Ланжеля Перси Радклифф писал, вспоминая ночную прогулку в горы, которой юноши решили отметить юбилей королевы Виктории, о встрече рассвета на вершине, откуда им открылась великолепная панорама Альп. И постоянно, научившись бегло читать по-немецки и по-французски, Блэквуд искал книги, которые утоляли бы его голод по путям к неведомому: символисты Поль Верлен и Эмиль Верхарн, немецкие философы и поэты, среди которых он выделял особенно Новалиса. Самым же любимым автором стал Шелли, чьего «Освобожденного Прометея» он знал наизусть. Именно тогда он открыл для себя Густава Фехнера, чей духовный последователь Анри Бергсон вскоре выдвинул идею расовой памяти. За «Афоризмами йогов» последовали «БхагаватТита» и «Упанишады».

Мечта покинуть дом крепла. Он любил родителей, но постоянно испытывал сомнения в собственных возможностях, а также опасение

не оправдать возлагавшихся на него ожиданий. Богатые и родовитые родственники, такие как генерал-губернатор Австралии лорд Кинтор, генерал-губернатор Канады лорд Дафферин, лорд-мэр Лондона сэр Ричард Доббс, не оставляли Блэквудов своим вниманием, и юноша воспользовался одним из таких визитов, чтобы высказать желание попробовать свои силы вдали от дома, в Америке. У отца был участок в Канаде, поэтому он согласился. А тут выдался случай совместить частную поездку со служебной, для развития почтовых сообщений, и вот 7 августа 1887 года они с отцом отплывают в Америку на пароходе «Этрурия».

Скорости передвижения уже очень впечатляют: пять дней — и Атлантический океан позади. Юноша с отцом садятся на поезд и мчатся через материк к Тихому океану, впервые видят северное сияние, несколько дней на Западном побережье, обратный путь через Квебек и Вашингтон, а менее чем через десять недель, 17 октября, — снова в Англии. Поистине, прогресс достиг самых дальних пределов.

Поездка в Канаду и планы сына сделаться фермером дают отцу основания записать Элджернона осенью следующего, 1888 года на курс

сельскохозяйственных наук Эдинбургского университета, куда перевелся и его старший сын Стивенсон. Однако продвижения в, казалось бы, избранной области не намечается. Вместо этого юноша всё полнее погружается в исследования совсем другого сорта — событий таинственных и сверхъестественных, тайн человеческой психики. Именно в Эдинбурге, посещая лекции и занятия медицинского факультета, он знакомится с врачом, обладающим даром гипноза. На медиумических сеансах в его доме впечатлительному юноше открывается, что в прошлых жизнях он был североамериканским индейцем, ацтеком, египтянином и даже атлантом. Переживания от посещения «домов с привидениями», которые он ходил проверять в окрестностях Лондона по линии Общества по исследованию парапсихических явлений, дружба со студентом-индусом, наставлявшим его в овладении дыхательными техниками и медитацией, помогли укрепить интерес к дальнейшим оккультным изысканиям. Отец, надо сказать, знал об участии сына в осмотре домов с привидениями, но деятельность Общества по исследованию парапсихических явлений, где видную роль играли его коллега по службе в почтовом ведомстве Фрэнк Подмор и

физик Уильям Баррет и членами которого состояли весьма известные люди (среди прочих — лорд Теннисон, Джон Рёскин, Уильям Джеймс), приветствовал, поскольку считал разоблачающей спиритуалистов. Совсем скоро появится и первый рассказ, навеянный этими исследованиями, — «Таинственный дом», который был опубликован в журнале «Белгравия» в 1889 году.

К этому времени, еще до отъезда в Америку, относится и знакомство Блэквуда с направлением работы Теософского общества: в журнале общества «Люцифер» его статья «Мысли о природе» появляется уже в 1890 году. Основной целью общества, основанного Еленой Блаватской (1831–1891) и Генри Олкоттом (1832–1907), было продвижение идей о всеобщем братстве, ради чего приветствовалось сопоставительное изучение верований Запада и Востока, а также разного рода необъясненных явлений. Блэквуду могла импонировать и идея о циклах развития, лежащая в основе «Тайной доктрины» Блаватской, трактующей раскрытие божественного потенциала через последовательность циклов духовного и материального развития. С большой вероятностью Элджернон обсуждал различные аспекты теософии с Фрэнком Подмором, поскольк-

ку деятельность Блаватской попадала в сферу исследований Общества по исследованию парапсихических явлений.

Летом 1889 года Блэквуд получает паспорт, знаменующий самостоятельность, и отправляется в марафонский поход по горам Швейцарии и Северной Италии. Этот поход в несколько сотен миль насытил его душу энергией; сам он сравнивал такие «приобщения» к природе с причастием, необходимейшей духовной пищей. А в апреле 1890 года он снова отплывает в Америку, теперь один.

Попав в Торонто, он пытается наладить деловые контакты, но — где по неловкости, где от нежелания — развить их у него не получается, несмотря на рекомендательные письма отца. Из всех штудий самыми полезными там оказались знание языков, умение играть на скрипке и владение скорописью, которое помогло ему закрепиться на месте секретаря редактора «Журнала методистов Канады» Уильяма Уинтропа. В журнале он обрел некоторый опыт редакторского дела, там увидели свет и несколько материалов, основанных на воспоминаниях о жизни у Моравских братьев. Эти успехи и договор с местным фермером побудили отца дать согласие на выда-

чу Элджернону денег на обустройство фермы. Но попытка развернуться со своим делом наталкивается на полное незнание жизни и отсутствие деловой хватки. Поэтому и молочная ферма возле Торонто, на которую отец выделил средства (2000 фунтов)[1], и питейное заведение в самом Торонто, куда приятель уговаривает его вложить остатки денег (600 фунтов), прогорают.

Утешения Элджернон ищет в теософии; в январе 1891 года он направляет письмо Уильяму Джаджу с просьбой принять его в нью-йоркское отделение общества, на что вскоре получает ответ с предложением вступить в только что открытое торонтское. Встречи проводились в доме Эмили Стоуи — первой среди женщин Канады, добившейся права вести врачебную практику (в университет Торонто ее не приняли, а когда она окончила обучение в Нью-Йорке, с 1867 по 1880 год практиковала без лицензии). Дочь же ее стала первой выпускницей медицинского факультета уже в Канаде в 1883 году. У Стоуи был остров на озере Мускока: Блэквуд проведет здесь немало дней. А пока он выписывает множество книг по теософии и принимается их изучать: со-

---

[1] Примечания: 1

Сумма, равная примерно 200 000 современных долларов США.

чинения Анны Кингсфорд и Эдварда Мейтланда «Совершенный путь», «Эзотерический буддизм» А. П. Синнета наряду с «Магией, черной и белой» Хартманна, а также «Тайной доктриной» и «Разоблаченной Изидой» Блаватской. Но с наступлением весны он предпочитает городским стенам приволье лесов.

Американский период жизни Элджернона Блэквуда, продолжавшийся девять лет, подробнее всего раскрыт в фундаментальной биографии писателя, написанной английским исследователем фантастики Майком Эшли[2]. Прежде о многом можно было только догадываться по намекам в таких книгах самого Блэквуда, как квазиавтобиографический роман «Образование дядюшки Пола» *(The Education of Uncle Paul*, 1909) и лирическая автобиография «Эпизоды из юности» *(Episodes Before Thirty*, 1923), поскольку документальные данные скудны. Однако благодаря изысканиям Эшли, более двадцати лет собиравшего материал для своей книги о визионере Блэквуде, перед нами предстает драматическая история жизненных испытаний и зарождения таланта рассказчика.

---

[2] Примечания: 2

См.: *Ashley M.* Algernon Blackwood. An Extraordinary Life. N. Y., 2001.

Как нередко будет и впредь, в мае Элджернон вместе с незадачливым компаньоном, эмигрантом из Англии Йоханом Поу, бежит от несчастий на природу: они тайно, ночью, уезжают на полюбившееся озеро Мускока, где и поселяются в хижине знакомого юриста, проведя там лето 1892 года, рыбача и наблюдая рассветы на восточной оконечности острова, а на западной — закаты. Осенью же они решают не возвращаться в Торонто, а отправиться попытать счастья в Нью-Йорк.

Несмотря на рано опубликованные первый рассказ и стихи, Элджернон довольно долго не стремился к писательской карьере. Нью-Йорк встретил его неприветливо, а работа репортера отдела криминальной хроники в вечернем выпуске «Сан», куда удалось устроиться примерно через месяц, сделала почти постоянным местом пребывания мрачное здание суда, где приходилось брать интервью у осужденных на казнь. Особенно врезались в память их просьбы объяснить, как действует этот непонятный электрический стул (который в ту пору вошел в обиход); впоследствии он писал, что хотел бы забыть жалкие улыбки приговоренных из-за решетки, но они навсегда врезались ему в память. Вдобавок в октябре открылась болезнь:

незалеченная царапина на боку, полученная еще на озере, воспалилась, и Блэквуд едва не умер от заражения крови. В бреду к нему пришли идеи нескольких рассказов, в том числе о «щели во времени» между сегодняшним и завтрашним днем. Вкравшийся в доверие к писателю Артур Бигг, внешне безупречный джентльмен, несомненно пользовавшийся тем фактом, что являлся тезкой личного секретаря королевы Виктории, с которым Блэквуд познакомился во время игры в крикет, и поселившийся вместе с ним и Поу на съемной квартире, оказался мошенником. Он крал те гроши, которые Блэквуд зарабатывал переводами с французского, и выманивал деньги у знакомых — якобы на лекарства для больного друга, а на самом деле — на развлечения с певицей. Когда открылось, что он украл даже марки, не отправив написанные Элджерноном письма в Англию родным, а также пытался подделать подпись на чеке, присланном Блэквуду, Бигг — после откровенного разговора — сбежал. Однако чувство оскорбленного достоинства заставило Блэквуда отыскать его и убедить сдаться полиции, пообещав тогда подать иск только с обвинением в мелкой краже, не упоминая о подлоге. Это был едва ли не единственный решительный поступок

за всё время жизни в Америке. Бигг был осужден и отсидел в тюрьме восемнадцать месяцев.

Однако там же, в Нью-Йорке, Блэквуд обрел человека, заменившего ему отца, — духовно близкого ему, но более опытного; тот не раз выручал его советом, предоставлял кров и помогал пережить предательство тех, кого Элджернон считал друзьями.

Это был его соотечественник Альфред Луис (1828–1915) — юрист, подававший большие надежды, но подвергнутый остракизму премьер-министром У. Гладстоном, после чего карьера в Англии для него была закрыта. Еврей по рождению, он был искателем истины и веры, стремясь не к поверхностному, а к глубинному их пониманию. Яркий, непримиримый характер Луиса привлекал внимание: мужчина послужил прототипом для мистика Мордухая в «Дэниэле Деронде» английской писательницы Джордж Элиот и главного героя поэмы «Капитан Крэг» американца Эдварда Робинсона. Для Альфреда Луиса каждый человек был вселенной, где прошлое встречается с будущим, и только ему одному ведомо, как найти путь к своей мечте. Общение с такой неординарной личностью помогло Блэквуду окрепнуть душой и поверить в

свои силы.

Именно у Луиса он обедал в те мучительно долгие шесть недель, пока ждал места в «Нью-Йорк Таймс». Этот самый черный период жизни в Америке, когда все друзья находились далеко, нечем было заплатить даже за крышу над головой, целые дни Элджернон проводил в библиотеке, а ночью спал на скамейках в Центральном парке. Наконец, в сентябре 1895 года, пришло извещение, что он принят с еженедельным жалованьем 35 долларов в неделю. Полтора года работы в газете Блэквуд вспоминает с удовольствием, прежде всего из-за того, что работал с умными профессионалами, хорошо знавшими свое дело. Работа занимала весь день, иногда приходилось засиживаться до полуночи, но задания были интересными. Так, например, он освещал лекции Лаймана Эббота, называвшего себя «теологом-эволюционистом», и с марта по май 1896 года стенографировал каждую воскресную лекцию, готовя сжатый вариант для публикации в утренней газете в понедельник. Блэквуд всегда считал религию и науку двумя сторонами одной монеты, поэтому интерпретация христианских воззрений с привлечением теорий Гексли, Дарвина, Тиндалла и других биологов-эволюционистов,

представленная блестящим полемистом, увлекала его. А впоследствии Эббот на просьбы указать, где можно познакомиться с его мыслями в печатном виде, рекомендовал всем колонку Блэквуда в «Нью-Йорк Таймс». Такая высокая оценка принесла помимо морального удовлетворения даже некоторое повышение жалованья.

Лето — вновь на озере Мускока в Канаде, но на этот раз впечатления о жизни на острове слились с тревожным флером памяти о некогда населявших его индейцах и воплотились в рассказ «Остров с призраками» *(The Haunted Island),* опубликованный в журнале «Пэл-Мэл» в 1899 году: мы, затаив дыхание вместе с рассказчиком, застывшим во тьме у стены, следим, как неведомые индейцы прибывают к острову, входят в дом, поднимаются наверх, а потом волокут мимо рассказчика его собственный оскальпированный труп. Необъяснимость и эмоциональное напряжение, столь зримо переданное автором, принесли рассказу успех.

Однако даже интересная работа никогда не могла задержать Элджернона на одном месте подолгу. И, как часто будет в дальнейшем, случайная встреча — в поезде с влиятельным знакомым отца по миссионерской работе, бизнесменом-фи-

лантропом Уильямом Эрлом Доджем (1832–1903), с которым он поделился желанием найти иное занятие, — послужила толчком, который перевел жизнь на новые рельсы. Через некоторое время после интервью Додж предложил ему место личного секретаря у Джеймса Спейера, партнера семейного банкирского дома в Нью-Йорке, который играл заметную роль в финансировании строительства и эксплуатации железных дорог. Жалованье было тем же, что и в «Таймс», но работа — только в первой половине дня, что давало много времени для чтения и прогулок. Особенно привлекала Блэквуда гористая местность в окрестностях одного из загородных домов Спейера в тридцати милях к северу от Нью-Йорка, откуда он мог обследовать Кэтскильские и Адирондакские хребты. В 1897 году Блэквуд присутствовал на свадьбе Джеймса Спейера с Эллин Лоуэри. Благодаря этому событию он познакомился с племянником Эллин Джоном Принсом (1868–1945), дружба с которым не прерывалась много лет. Специалист в области семитских языков, профессор Нью-Йоркского университета Принс изучал верования и язык американских индейцев, в особенности алгонкинских племен, для чего неоднократно выезжал на север Канады,

где записывал легенды в поле. В октябре 1898 года в одной из экспедиций для охоты на лося принял участие и Блэквуд. Событие это послужило источником по крайней мере пяти его произведений, в том числе знаменитого «Вендиго» (*The Wendigo,* 1910). От Монреаля по Канадской тихоокеанской железной дороге члены экспедиции добрались до Маттавы, оттуда на каноэ до озера Когаванна и двадцать миль шли по следу лося *с* проводником-метисом по имени Хэнк до озера Гарден, где и застрелили животное. Парадоксальным образом, симптоматичным, впрочем, для духовного движения XX века, жена Принса Аделин, самая ярая охотница в мероприятии, впоследствии возглавила Женскую лигу защиты животных и руководила ветеринарной клиникой Эллин Принс-Спейер. Да и сам Блэквуд, застреливший тогда лося-гиганта (рога его достигали 54 дюймов в длину и имели 28 отростков), позже также значительно смягчился в своих взглядах на охоту.

В одном из наиболее известных произведений английского классика литературы о сверхъестественном, повести «Вендиго», передана завораживающая атмосфера, картины осенней канадской природы и сам Вендиго, проносящийся над головами. В равной мере опираясь на

индейскую легенду о неумолимом хозяине лесов, питающемся живой плотью, и на свои теософские изыскания, Блэквуд соткал свой образ: свирепый получеловек-полумедведь стал у него, подобно переносящемуся по воздуху йогу-кешара, духом северных лесов. Десять лет вынашивал писатель этот образ, пока наконец не запечатлел в занесенной снегом хижине в Шампери, Швейцария: за стенами ревел буран, грозя разнести его пристанище в щепы. Как во многих других историях, в «Вендиго» действует, *с* одной стороны, ученый-психолог, который занимается изучением галлюцинаций, а с другой стороны — восприимчивый к чарам природы франкоканадец лесник Дефаго. Но если не устоявший перед зовом дикой природы Дефаго возвращается полностью опустошенным, то самого Блэквуда этот зов всегда наполнял новой силой. Это скорее Нью-Йорк, скопище противоречивых корыстных человеческих устремлений, едва не выпил его душу.

К американскому периоду относится немало знакомств с людьми, сыгравшими потом значительную роль в жизни Блэквуда, так или иначе повлиявших на формирование его взглядов или развитие его дара рассказчика. Одним из них был репортер «Сан» Эн-гус Гамильтон, впослед-

ствии обретший известность репортажами с Англо-бурской войны для лондонской «Таймс» и о Русско-японской — для агентства «Рейтер». Он жил в Нью-Йорке этажом выше Блэквуда и любил заходить к нему, чтобы послушать его истории, а также всячески побуждал его их записывать. Через десять лет он же без ведома автора передал в Англии издателю Нэшу рукопись его сборника «Пустой дом и другие рассказы» (*The Empty House and Other Ghost Stones),* который и увидел свет в 1906 году, положив начало известности Блэквуда как автора историй о сверхъестественном.

Еще в период работы в «Сан» Блэквуд брал интервью у знаменитого актера Генри Ирвинга, первым удостоившегося рыцарского звания за свою игру, во время его американского турне. На встрече в 1893 году присутствовал менеджер Ирвинга Брэм Стокер. «Дракула» и отказ его патрона сыграть роль барона-вампира были еще впереди, но уже к этому времени Стокер являлся автором ряда произведений.

Летом 1894 года в провинции Онтарио разгорелась золотая лихорадка. Блэквуд решил попытать счастья и, пообещав отправлять в газету очерки о том, как будут развиваться события, вместе с парой знакомых — прогоревшим финансистом

и боксером-любителем — отбыл на берега озера Рейни-Лейк в провинции Онтарио. До Дулута добрались поездом, а дальше двинулись с проводником-метисом вниз по реке Вермилион на каноэ. На месте выяснилось, что промывкой добыть золото невозможно, а чтобы добраться до золота в кварцевых жилах, нужна дорогостоящая техника, и из всей затеи ничего не вышло, однако путешествие по водным артериям этого заповедного края запомнилось своей завораживающей красотой. «Всё блистало свежестью, воздух пьянил не хуже шампанского, а вод такой синевы я не видел больше нигде», — вспоминал Блэквуд позже[3]. Впечатления легли в копилку памяти.

В феврале 1899 года он вернулся на родину, в Англию. Ему уже не довелось застать в живых отца, но мать и сестры были безмерно рады его прибытию и принялись снова приобщать Элджернона к кругу знакомых. Закончились долгие годы ученичества, Блэквуд вернулся тридцатилетним, довольно много повидавшим человеком. Но — не утратившим тяги к познанию. Поэтому, получив по протекции лорда Кинтора необременительную конторскую работу в Сити, он, в

[3] Примечания: 3
Ashley M. P. 80.

ожидании более интересной должности, о которой они договорились еще в Америке с личным секретарем Вандербильта Джеймсом Хэтмейкером, устанавливает связь с Лондонской ложей Теософского общества, куда его официально принимают в мае 1899 года. Еще больший интерес у него вызывает герметический Орден Золотой Зари, куда Блэквуд и переходит менее чем через год. Один из наиболее активных членов Ордена Джордж Уильям Рассел (1867–1935), подписывавшийся псевдонимом Æ (от латинского слова Æon — вечность), являлся также лидером движения кельтского возрождения. Элджернон всегда ощущал прилив творческих сил в его присутствии: «Запыхавшийся пес моего воображения сорвался с привязи и понесся без удержу в неведомое», — признавался он позже радиослушателям[4]. На раннем этапе в храме Исиды-Урании Ордена Золотой Зари, основанном Уильямом Уэсткоттом, Сэмюэлем Мазерсом и Уильямом Вудманом, состояли некоторые английские поэты и философы рубежа веков: У. Б. Йейтс, Аллан Беннет, Артур Мейчем, Роберт Фелкин, сестра Анри Бергсона Мина, жена Оскара Уайльда Констанс. Орден

[4] Примечания: 4

По материалам архива «Би-би-си», запись передачи 25 декабря 1948 г. Цит. по: *Ashley M.* Р. ПО.

обладал внутренней иерархией, включавшей императора, адептов, и несколько рангов приближения к истинному знанию, начиная с неофитов. Блэквуд изучил иврит, каббалу и символику, играющую центральную роль в еврейской мистике и дающую власть над вещами, чьи истинные имена открываются ищущему, однако дальше этого не пошел. Положение в Ордене его не занимало, в отличие от печально известного Алистера Кроули, обладавшего безмерным себялюбием и желавшего всей полноты власти — как над своими земными последователями, так и над миром духов. Более того, трения в Ордене и борьба за лидирующее положение претили Блэквуду — искателю знания.

Новое тысячелетие началось для Блэквуда на родине, но его тяга к путешествиям и впечатлениям от многообразия природы ничуть не угасла. Уже летом 1900 года он отправляется с одним из наиболее близких своих друзей Уилфридом Уилсоном в плавание на каноэ по Дунаю. Из верховий в Шварцвальде они планировали сплавиться до самого Черного моря, но по ходу дела поняли, что замысел оказался невыполнимым. Верховья Дуная очень порожисты, течение быстро и коварно. За месяц путешественники достигли только

Вены, но едва не потеряли все припасы, когда каноэ унесло и повредило о баржу. Его удалось починить, и мужчины решили следовать вглубь территории Венгрии. Сильное течение несло их меж множества наносных песчаных островков, поросших ивняком. Во время ночевки на одном из них Блэквуду и пришел основной образ самого его знаменитого рассказа — «Ивы» *(The Willows,* 1907). Подвижность среды, сочетание элементов воды, ветра и земли делает такие земли границей между привычным нам миром и миром неведомым — «населенным душами ив». Упорство путешественников, не покидающих остров, делает их мишенью непостижимых сил, связанных *с* этим «проклятым местом». Мощь этих первобытных сил, которые отбрасывают свою тень на зримый нам мир и взвихряют воздух, подобно пушкинским бесам в «Буре», передана Блэквудом в рассказе незабываемо: это побудило Говарда Лавкрафта сопоставить его с «Белыми людьми» Артура Мейчена и отнести к непререкаемым шедеврам: «Даже речи не может идти о сомнениях в даровании мистера Блэквуда, ибо еще никто с таким искусством, серьезностью и детальной точностью не передавал обертоны некой странности в обычных вещах и происшествиях, никто

со столь сверхъестественной интуицией не складывал деталь к детали, чтобы вызвать чувства или ощущения, помогающие преодолеть переход из реального мира в нереальный мир или в видения. Не очень владея поэтическим колдовством, он всё же является бесспорным мастером сверхъестественной атмосферы и умеет облечь в нее даже самый обыкновенный психологический фрагмент. Лучше других он понимает, что чувствительные, утонченные люди всегда живут где-то на границе грез и что разницы между образами, созданными реальным миром и миром фантазий, нет почти никакой»[5].

Мейчена и Блэквуда связывает парадоксальным образом не только близость жанра создававшихся ими произведений. Кто бы мог подумать, что между ними существует «молочная» связь! А. Э. Уэйт из Золотой Зари, помимо борьбы за верховенство в Ордене, был также управляющим лондонским отделением компании по производству солодового молока Хорлика, и ему удалось уговорить руководство компании начать выпуск «популярного» журнала по типу «Пэл Мэл» или

[5] Примечания: 5

Лавкрафт Г. Ф. Сверхъестественный ужас в литературе / пер. с англ. Л. И. Володарской // *Лавкрафт Г. Ф.* Зверь в подземелье. М.: Гудьял-Пресс, 2000. С. 452.

«Стрэнда» — «Хорликс Мэгэзин энд Хоум Джорнал», выходивший полтора года (1904–1905). Он стал первым в Британии периодическим изданием произведений оккультного характера. А Блэквуд с 1904 года стал управляющим лондонским отделением компании Хэтмейкера, патент которому на процесс по производству сухого молока помог оформить Альфред Луис, американский «отец» Блэквуда, вернувшийся теперь на родину. Забавное совпадение и симптом высокой деловой активности и связей между США и Великобританией на рубеже веков.

Конечно, долго занимать внимание такого человека, как Блэквуд, дела фирмы не могли. С публикацией первого сборника рассказов начала расти его литературная репутация, и печать в 1907 году второго сборника — «Слушатель и другие рассказы» (*The Listener and Other Stories),* куда вошли, в частности, и «Ивы», — подкрепила ее еще сильнее. После смерти матери в этом же году Блэквуд получает небольшое наследство, которое тем не менее вместе с гонорарами позволяет ему оставить службу и посвятить себя только литературной деятельности.

С тех пор и до конца своих дней зимы Блэквуд проводит в Швейцарии, в северо-западной

части — кантоне Юра, окрестностях лыжного курорта Гштаада и Сааненмозера. Теперь удачное расположение на границе между Бернским Оберлэндом и регионом Во, множество интересных перепадов высот привлекают сюда спортсменов экстра-класса, там чувствуют себя как дома любители крутых спусков и фристайла. Элджернон любил лыжи, дававшие особенную свободу слияния с ветром и чистой белизной. А «поэзии катания на лыжах» он посвятил лирический рассказ, где сравнил плавное стремительное движение лыжника вниз по склону *с* полетом птицы, «что ложится крылом на восходящий поток воздуха. Тогда, кажется, сама земля подбрасывает тебя в воздух, ловит на плавном склоне и бережно несет вниз»[6]. Для Блэквуда, который постоянно искал способа слияния с надличным и внеличным, лыжи были не просто зимним видом спорта, а средством соединиться с духом Альп.

Сборник рассказов о детективе-парапсихологе Джоне Сайленсе, гипнотизере и телепате, был первой книгой, писавшейся именно как цельное произведение, пусть и составленное из отдельных новелл. Предложенная Нэшем идея

[6] Примечания: 6

Blackwood A. The Poetry of Ski-Running. Country Life. February, 26. 1910. Цит. по: *Ashley M.* P. 142.

объединить их одним персонажем понравилась Блэквуду. Поначалу детектив носил имя доктор Стефан, но оно было заменено по предложению издателя и, надо сказать, как нельзя лучше подошло этому немногословному человеку с тонкими чертами лица и негромким голосом, сразу внушающему доверие тем, кто прибегает к его защите. Предшественник «охотников за привидениями» и Малдера со Скали из современных «Секретных материалов» импонировал и поклонникам Шерлока Холмса, а внушаемое доверие распространялось на автора, которому начали поступать письма с просьбами приехать и помочь, защитить от проявления потусторонних сил, духов и привидений. Большинство таких писем Блэквуд оставлял без реакции, но в ответ на некоторые — действительно выезжал, желая проверить заинтересовавший его случай. А одна читательница обращалась напрямую к доктору Сайленсу, сообщая, что чувствует глубокое родство душ с ним и ежедневно выделяет несколько минут, начиная ровно с десяти вечера, для телепатического общения с ним. Да, книга поистине заворожила многих и обеспечила Блэквуду имя; она же и по сей день остается самым известным его произведением.

Вскоре проявился еще один талант Блэквуда, та грань, что открывала ему навстречу сердца не только взрослых, но и детей. Писатель не завел своей семьи, но сколько добрых знакомых Элджернона с легкой душой оставляли на него детвору: мальчиков и девочек было не оторвать от дядюшки Пола. Почему — Пола? Так вышло, что имя литературного персонажа из его романа «Воспитание дядюшки Пола» (*The Education of Uncle Paul*, 1909), который создавался как раз в 1909 году в Швейцарии, сделалось «детским» прозвищем Блэквуда. «Всехний» дядюшка был неистощим на выдумки и, главное, умел без надменности и без сюсюканья говорить *с* детьми, до которых занятым взрослым часто не было особого дела. Этот полуавтобиографический роман посвящен «всем детям от восьми до восьмидесяти, что подвели меня к щели между мирами и с тех пор неустанно путешествуют вместе со мной в Страну между прошлым и будущим», как писал автор в эпиграфе. Одна из самых ярких сцен в романе — встреча героями утра в Стране между прошлым и будущим, когда навстречу солнцу поднимаются цветные ветра, яркими вымпелами вьющиеся над кронами деревьев. Способность растворить различные ощущения друг в друге

и слить их воедино и составляет воспитание дядюшки Пола. Нестандартность детского видения, любознательность, так ярко переданная в образе Алисы современником и соотечественником Льюисом Кэрроллом, у Блэквуда присуща многим героям — детям и подросткам, начиная с Никеи, выведенной в «Воспитании дядюшки Пола». Через «щель» в ту Страну, где пребывают все мечты, где время вечно обновляется и где можно вновь подхватить оброненное слово, развить упущенные возможности и где томятся призраки сломанных вещей в ожидании тех, кто сможет их поправить и починить, можно проникнуть, только в достаточной мере «утончившись», то есть сумев сбросить груз повседневности. «У каждого есть места потоньше, вполне можно протиснуться», — говорит Никеи. Подобно лучшим произведениям для детей, книга эта мудра и читается на нескольких уровнях, в том числе мистическом. Поскольку она обращена к невинности, самому элементарному строительному блоку существования, Блэквуд считает, что так можно построить альтернативный привычному взгляд и разглядеть истинные Реальности в основе самого нашего существования. Бог был для писателя одним из аспектов таких Реальностей.

Путешествие весной и летом 1910 года укрепило его в этом убеждении. В мае того же года к Земле после 76-летнего перерыва подлетела комета Галлея, и многими овладел страх, замечательно переданный Артуром Конан Дойлем в романе «Отравленный пояс»: после прохождения планетой облака ядовитого газа гибнут почти все люди на Земле. Смерть Георга VII 6 мая усугубила дурные предчувствия. Однако 18 мая Земля прошла через хвост кометы Галлея без пагубных последствий. Блэквуд наблюдал комету в предрассветные часы с палубы парохода, плывущего по Средиземному морю в Черное, через Константинополь в Батум. Там он сплавлялся по стремительной порожистой реке Чорох, напомнившей ему Дунай, затем двинулся вглубь Малого Кавказа, поднявшись на одну из его вершин. Поездом добрался до Тифлиса, сущего Вавилона по смешению языков и пестроты типов, а в конце июня предпринял путешествие до Владикавказа на телеге. Перемещаться таким образом понравилось ему больше, чем на поезде: вокруг раскрывались благоухающие цветами долины, поражающие воображение панорамы, над которыми царил пик Казбека. Более недели бродил писатель по долинам вокруг Владикавказа и именно там,

на более суровых северных склонах, определил место Врат в чудесный сад из романа «Кентавр» *(The Centaur,* 1911). Обратный путь до Тифлиса на автобусе занял каких-то двенадцать часов, что показалось Блэквуду непростительной спешкой: это вернуло его в современный ритм жизни. По возвращении в Европу, переполненный впечатлениями, он начал писать роман о существе, выжившем в современном мире с самых древних времен, но дело пришлось отложить, чтобы мысли устоялись. К середине февраля 1911 года он завершает давно писавшийся роман о человеке, помнящем все свои реинкарнации, «Джулиус Ле Валлон» *(Julius Le Vallon,* 1916), и только тогда вплотную садится за «Кентавра», который завершается звуками флейты Пана. Одновременно он пишет несколько рассказов и повестей, составивших опубликованный в следующем году сборник рассказов о природе «Сад Пана»(Рбт 5 *Garden: a Volume of Nature Stories,* 1912).

Притом ужас, который охватывает подчас его героев, — не панический. Пан для Блэквуда — вовсе не языческое божество, а олицетворенный западной культурой способ общения с природой, Землей как всеобъемлющим живым существом. Греческая приставка «пан», как известно,

придает понятиям значение всеобщности. Собственно, согласно одной из легенд, Пан уже в младенчестве был настолько жизнелюбивым, что доставлял всем великую радость: оттого его так и нарекли. А как мы знаем, древнегреческие мифы, аккумулировавшие в себе мудрость человечества доантичной эпохи в живых красках и образах, поддаваясь самым различным трактовкам, становятся своего рода набором концептов гуманизма в западноевропейской традиции, которая вычленила человека из природы, а последнюю наделила его качествами. В этом мощь и слабость гуманизма, поскольку природные силы неисчерпаемы в единстве взаимосвязей, но, приспособленные к нуждам человека, они могут искажаться в силу искажения ценностей в обществе: чрезмерная эксплуатация ресурсов нарушает гармонию и порождает цепную реакцию разрушения построенного людьми. Блэквуд больно переживал распад связей с природой и мечтал о ее восстановлении для большинства. Именно эта тяга к гармонии лежит в основе романа. И кентавром в таком понимании является каждый человек, несущий в себе миллиардолетнее наследие эволюции, от которого современные люди по неразумию отказываются, будучи не в состо-

янии ощутить напрямую связи с породившей их планетой.

Сборник «Сад Пана» открывала повесть «Человек, которого любили деревья» (*The Man Whom the Trees Loved).* Герой ее, мистер Биттаси, полностью настроившись на гармонию с лесом, сливается с ним и исчезает из мира людей: его жене остается только пустая оболочка. А для миссис Биттаси мир леса совершенно чужд. Тут Блэквуд являет картину невозможности сочетания представлений современного человека в его себялюбии с природным бескорыстием и существованием вне системы ценностей западной цивилизации, что не может не пугать верных ее чад. Эту повесть Блэквуд писал в особняке своих новых знакомых, барона Кнупа и его жены Майи, которой посвящены «Кентавр» и еще несколько произведений писателя. Повстречались они, скорее всего, на пароходе по пути на Кавказ.

Отец русского барона Йохана Кнупа (1846–1918), Людвиг, разбогател на текстильном производстве в Нарве, за что и получил свой титул. Братья Кнупы были баснословно богаты, к тому же они были меломанами и коллекционерами. Причем коллекционировали не что-нибудь, а скрипки Страдивари, собрав в итоге двадцать девять ин-

струментов великолепного звучания. А Майя (настоящее ее имя было Мэйбл Стюарт-Кинг, но так никто ее не называл) стала женой барона, — вероятнее всего, именно благодаря тому, что играла на скрипке Страдивари — своем единственном достоянии: она рано ушла из дому в поисках своей крестной, немецкой принцессы. Всё странно было в отношениях этой пары, являвшей собой союз полных противоположностей: мрачный, нелюдимый барон был вдвое старше своей искренней, непосредственной жены, становившейся душой любой компании. А скрипку Йохан Кнуп у жены отобрал: он присоединил инструмент к своей коллекции и не разрешил Майе больше играть на ней. Эта история послужила для Блэквуда толчком к написанию рассказа «Пустой рукав» (*The Empty Sleeve*, 1911). Кнуп много ездил по делам фирмы, и у него были дома в Лондоне и Париже, а в Египте он открыл санаторий в Хелване неподалеку от Каира. Там же им был основан и отель «Эль-Хаят», впоследствии выросший в международную сеть. Зиму Кнупы проводили в Египте. Там в обществе Майи или неподалеку от нее несколько зим провел и Блэквуд.

Бесконечность Египта во времени и пространстве лучше всего ощущалась Блэквудом

в пустыне, заворожившей его своим величием больше, чем пирамиды и Сфинкс. Он провел две ночи в ущелье Вади Хоф, оставаясь палящим днем в спальном мешке, а ночью впитывая в себя ощущение пустыни. Навеянный этими переживаниями рассказ «Песок» *(Sand,* 1912), в котором попытка вызвать древнего духа Египта приводит к катастрофическим последствиям для самонадеянных современных магов, проникнут физическим ощущением толщи веков, испытанным Блэквудом в Вади Хоф.

1910–1914 годы стали самым плодотворным периодом его жизни именно благодаря Майе — женщине, которая была самым духовно близким ему человеком, истинной музой.

Повесть «Проклятые» *(The Damned,* 1914) — красноречивый тому пример. В ней слились и воспоминания о непримиримом ригоризме евангелических встреч в родительском доме, и непреклонный образ барона, послуживший прототипом для Франклина. Башни с прилегающими угодьями сильно напоминают купленный Кнупом в 1903 году особняк на границе графств Кент и Сассекс, а героиня повести носит имя его музы — Мэйбл. Но примечательнее всего лейтмотив: сквозь все искажения мира, вызванные фана-

тизмом разных времен, прорывается убеждение, что никто не проклят, ничто, кроме зашоренного представления о праведности исключительно одной разновидности веры, не мешает людям проникнуться деятельной любовью друг к другу. Из гнетущего мира, где «ничего не происходит», может быть лишь один выход — понять и принять другого. Особенно запоминается зарисовка бытовой сценки — рыданий связанной мальчишками сестренки.

«– Мы собирались сжечь ее, сэр, — сообщил мне старший из мальчиков, а на мое недоуменное „за что?“ не замедлил пояснить: — Никак не хотела поверить в то, во что нам хотелось».

Действительно, почем им знать, что так делать не положено, ведь это «для ее же блага»; так же веками уверяли инквизиторы.

Восприятие «Кентавра» было неоднозначным: одни обвиняли автора в идеализме и наивности, другие — такие как Джордж Рассел (Æ) — восхищались созвучию собственным поискам. Особенно же Блэквуд ценил отклик Эдуарда Карпентера, слова которого из книги «Цивилизация: причина возникновения и способ исцеления» он поставил эпиграфом ко второй главе романа. Тот писал: «Должно быть, вами овладел приступ

настоящей „страсти к Земле“, если вы смогли столь явственно ее передать»[7]. Жгучая страсть и вера в возможность «счастья для всех» действительно позволила Блэквуду создать строки необыкновенной эмоциональной силы, заставляющие уже не одно поколение читателей помнить описание того момента, когда Врата из Рога и Слоновой Кости открываются О’Мэлли. Однако писатель жил в реальном мире и понимал, что так называемое продвижение цивилизации так просто не остановить. Единственным путем преодолеть разрушение он считал распространение красоты в умах и сердцах детей. Так родилось у него желание создать мюзикл «Звездный экспресс»*(Starlight Express).*

Память о воображаемых детских путешествиях в подаренном отцом вагоне слилась с впечатлениями от путешествий реальных, «Питером Пэном» *(Peter Pan)* Дж. Барри и мыслями, высказанными в «Воспитании дядюшки Пола». Результатом стала книга «Пленник Волшебной страны». Там дети с помощью своего дяди отыскивают волшебную пещеру, где собирается звездная пыль, с помощью которой можно «разпутлить»

[7] Примечания: 7
Письмо от 3 января 1912 г. Цит. по: *Ashley M.* P. 172.

(unwumble) запутавшихся в повседневных заботах взрослых и вернуть им ясность видения красоты мира. Блэквуд всегда тяготел к театру: еще в Америке в поисках работы он дебютировал на сцене в роли тюремщика гастролирующей труппы Дж. Гилмура в 1894 году, в Англии знал многих актеров и драматургов того времени, впоследствии долгое время жил в семье выдающегося шекспировского актера Генри Эйнли (1879–1945); дети Эйнли были ему как родные. Вначале роман для сцены адаптировала Вайолет Перн, музыку написал талантливый композитор и певец Клайв Кэрри, началась подготовка спектакля, принятого к постановке в лондонском «Хеймаркет тиэтр». Но тут началась Первая мировая война, и на ее фоне история, предложенная Блэквудом, выглядела всё более и более оторванной от жизни и несвоевременной. Однако сестра Вайолет, Мюриэл Перн, актриса, «заболевшая» этой пьесой, внушающей надежду на перемены к лучшему, не оставляла попыток найти постановщика. Ее попытки увенчались успехом, когда владелица лондонского «Кингсуэй тиэтр» Лина Эшвелл согласилась поставить ее на Рождество 1915 года. Музыку для спектакля написал Эдуард Элгар (1857–1934), с которым у Блэквуда устано-

вились самые дружеские отношения до конца жизни композитора. Краткий — всего два месяца — постановочный период, конечно, сказался на недостаточном соответствии декораций духу пьесы, но выразительная игра как взрослых, так и детей позволила «Звездному экспрессу» выдержать сорок представлений — немало для военного времени. Однако выявилась и недостаточность драматического действия в этой мистической по существу пьесе, о чем Блэквуду писал позже Дж. Б. Пристли, которого тот просил адаптировать текст для более современной постановки. Важность заложенного в мюзикл подтекста заставляла Блэквуда неоднократно возвращаться к нему, но больше авторский вариант произведения так и не увидел свет рампы. Но вот ирония судьбы: мюзикл «Звездный экспресс» существует — хотя и без Блэквуда и Элгара; он рассказывает историю паровозика в мире современных локомотивов. Звездная пыль присутствует в нем лишь в виде пародий на эстрадных звезд современности и недавнего прошлого — Майкла Джексона и Элвиса Пресли. Не гнавшийся за земными богатствами и вещами Блэквуд не смог придать своей пьесе широкую известность, но символ его мечты эхом коснулся

воображения множества детей в Америке и других странах мира, посмотревших мюзикл Эндрю Ллойда-Уэббера и Роберта Стилгоу начиная с середины 1980-х годов до нашего времени. «Звездный экспресс» считается наиболее долгоживущим британским мюзиклом после «Кошек».

С Первой мировой войной связан болезненный для Блэквуда период сотрудничества с британской разведкой. Он долгое время желал как-то помочь фронту: как и большинству современников, ему непросто было разглядеть разрушительность конфликта для всех сторон, и он хотел быть чем-то полезен министерству пропаганды, но оно, видимо, не усмотрело в писателе нужных талантов. Элджернон помогал воспитывать польских сирот, пригретых Майей Кнуп, затем начал оформляться для работы в Красном Кресте, но слег на несколько недель с лихорадкой от сделанных ему прививок. И вот в 1916 году ему предложили стать секретным агентом в Швейцарии. По стопам Сомерсета Моэма, который подвизался в этой роли без особого успеха, он должен был вербовать агентов, обеспечивать их невидимыми чернилами и передавать им деньги. Плюсом было прекрасное знание страны за многие годы, но нервное это

занятие оказалось очень выматывающим для Блэквуда. Опасность заключалась в том, что в придерживающейся нейтралитета Швейцарии существовал строгий закон, грозивший разоблаченным секретным агентам любой из воюющих сторон по меньшей мере полугодовым тюремным заключением или штрафом в 1000 франков, но последствия могли быть и куда серьезнее. Однако даже не постоянная конспирация, когда приходилось печатать донесения в Лондон на рисовой бумаге в туалете, чтобы успеть спустить их в унитаз, если его застанут за этим занятием, а всё более угнетающее душу сознание, что предоставленная им информация обрекает кого-то на смерть, заставило Блэквуда через полгода подать в отставку. Последний год войны он работает в качестве расследователя Красного Креста по розыску пропавших без вести и раненых на территории Франции. Увиденное в госпиталях Руана, где как раз весной 1918 года началась эпидемия инфлюэнцы, и другие переживания, связанные с войной, выливаются в заметную депрессию, усугубившуюся в результате отдаления Майи. Барон Кнуп умер в 1917 году, оставив ее наследницей своего состояния, но только пока она вдовствует. Кто знает, не будь такого условия,

сделал бы Блэквуд предложение той, которой посвятил столько произведений?

Чаще они стали видеться только после того, как она вышла замуж за состоятельного промышленника Ральфа Филипсона в особняке Анкомб, который благодаря неуемной энергии Майи был перестроен в стиле итальянской виллы и стал одним из заметных культурных салонов. Но это будет еще через несколько лет, в 1922 году. А пока, чтобы отвлечься, Блэквуд окунается в театральную суету: он пишет пьесы, часть из которых поставлена. Этому немало способствовало установившееся знакомство с известным писателем и драматургом лордом Дансени, приходившемся Блэквуду дальним родственником через другого английского драматурга — Ричарда Бринсли Шеридана. Дансени жил по соседству с Эйнли, с семейством которых Блэквуд теперь поселяется в комнате над гаражом. Они часто видятся с Дансени, делясь впечатлениями от путешествий. Вместе с Бертрамом Форсайтом Блэквуд пишет две одноактные пьесы: «Через бездну» *(Crossing*, 1920) и «Белая магия» (*White Magic*, 1921). Но наибольшей популярностью пользуется написанная в соавторстве с Вайолет Перн пьеса «Через щелку» *(Through the Crack),* впервые поставленная

в «Эвримен тиэтр» в 1920 году и выдержавшая несколько постановок (кстати, постановка в январе 1925 года стала первой театральной работой Лоуренса Оливье как помощника постановщика). Она строилась вокруг основной идеи книг о дядюшке Поле: детская вера помогает Никеи, Ионе и Тоби вместе с ним проникнуть в страну потерянных вещей и безвременно ушедших друзей; там же они встречают и умершую старшую сестру Никеи, Росинку, и своей любовью, которую разделяли и завороженные зрители, возвращают ее в мир живых. Дети не могли дождаться окончания антракта, так захватывало действие. Блэквуду удалось донести атмосферу чуда до множества зрителей.

Теперь энергии хватает на то, чтобы завершить вторую часть романа «Джулиус Ле Валлон» — «Сияющий посланник» *(The Bright Messenger,* 1921). Через десять лет, пережив Первую мировую войну, он вновь обращается к теме существования в нашем мире «пережитков» древнего мира, который населяли существа более высшего порядка, нежели люди, — теме «Кентавра». Герой романа Эдуард Филлери, незаконный сын горного инженера и дикарки с Кавказа, после странствий по свету основывает Духовную клинику — убежи-

ще для «безнадежных», тех, кто не находит себе места в современном мире. Так к нему попадают бумаги Мейсона и отпрыск Джулиуса, Джулиан Ле Валлон, в котором уживаются два существа — по-крестьянски добродушный юноша и Н. Ч., или «нечеловек», некогда исторгнутый в результате эксперимента и теперь замкнутый в человеческую оболочку. Блэквуд отсылает нас к восточной концепции мира дэвов[8], но соотносит с активно развивающимся после войны представлением о новом человеке, сверхчеловеке, который должен прийти на смену нашему несовершенству; это представление явственно различается в философии экспрессионистов и научно-фантастических романах Герберта Уэллса («Пища богов», «Люди как боги»). Писатель по-прежнему считает, что этого можно добиться средствами искусства:

«...трудами Пана, мелодиями, красками, вопло-

[8] Примечания: 8

Дэва (*пали, санскр.* ☒☒, «сияющий») в буддизме — название для множества разнотипных существ, более сильных, долгоживущих и более удовлетворенных жизнью, чем люди. Термин «дэва» принято переводить как «бог» или «божество», хотя дэвы значительно отличаются от божеств других религий. Мир, населенный дэвами, называется дэвалока (*санскр.* ☒☒☒☒), или мир (небеса) богов. Махаяна акцентирует внимание на преимуществах человеческого местопребывания перед небесами богов. Считается, что существа, испытывая наслаждения в божественных мирах, забывают о целях своего существования и не способны к сознательным решениям, в отличие от человека. Поэтому Бодхисаттва должен обязательно пройти человеческое рождение.

щенной красотой».

Немалый толчок развитию самосознания писателя придало знакомство с Петром Демьяновичем Успенским и Георгием Гурджиевым. Успенский развил предположение английского мыслителя Чарлза Хинтона о четвертом измерении; он высказал мысль, что это — время. Успенский в те годы читал лекции многолюдным аудиториям в различных городах Европы, проводил занятия по расширению сознания и, узнав о работе Гурджиева в том же направлении, примкнул к нему и помог собрать средства для школы в Фонтенбло. Несмотря на уважение к книгам Успенского, при личном знакомстве Блэквуд счел его недостаточно воодушевляющим, в то время как Гурджиев — с его включением в работу музыки и танца для достижения иного типа сознания, а не только его расширения — импонировал ему намного больше. Занятия в Фонтенбло в 1923 году научили Блэквуда, в частности, приводить себя в творческое состояние с помощью физической работы на изнеможение. Когда какое-то дело не продвигалось, он нередко брал топор и шел в лес валить сухие деревья, после чего возвращался «другим человеком». Также повлиял на него — своими представлениями о природе времени

и нашей возможности влиять на исход событий — Дж. У. Данн (1875–1949), изложивший свои идеи в книге «Эксперименты со временем» *(An Experiment with Time,* 1927). Ряд рассказов этого периода творчества писателя так или иначе фокусируется на теме различного восприятия времени. Переработкой одного из них — «Страна Зеленого Имбиря» *(The Land of Green Ginger,* 1927) для «Би-би-си» — начинается третий, наиболее плодотворный творческий период Блэквуда — сотрудничество с радио.

Может показаться парадоксальным, но этот певец «гор, полей и лесов» одним из первых осваивает такой жанр, как радиопьеса: он перерабатывает для радио некоторые свои рассказы. Однако, если присмотреться внимательнее, тут не будет сильного противоречия: Блэквуда отвращало прежде всего замыкание людей в своей гордыне, отсечение питающих природных связей, а радиоволны — столь же естественный элемент среды, который может помочь донести до слушателей его идеи. Он адаптировал свои рассказы для радиопередач и по большей части сам же их и читал, а некоторые — переписывал в радиопьесы, разыгрываемые несколькими актерами. Первым он прочел рассказ, наполненный

египетскими впечатлениями, — «От воды» *(By Water,* 1914) в несколько сокращенном виде и под названием «Пророчество» *(TheProphecy).*

В течение 1934–1939 годов репутация Блэквуда на радио прочно укрепилась благодаря его умению как рассказчика удерживать внимание аудитории и природному артистизму его богатого интонациями голоса. Однако успех не вскружил ему голову и уж, конечно, не заставил отказаться от привычного жизненного уклада, включавшего поездки на Капри, в Испанию, на лыжный сезон в Швейцарию или Австрию, общение с широким кругом знакомых на континенте. Но когда он возвращался в Лондон, то всегда принимал приглашения участвовать в радиопередачах, а вскоре к ним добавились и телепередачи.

Вечером 2 ноября 1936 года состоялась трансляция первой телепередачи в Великобритании. Блэквуд принимал в ней участие, рассказав пару коротких историй. Он вспоминал, что ему накрасили губы и веки ярко-синей помадой для большей контрастности изображения и усадили в темной комнатке, окружив огромными машинами, испускавшими лучи света. Заметками пользоваться было нельзя, он весь взмок, однако старый конь борозды не испортил: его

выступление было на высоте. Популярность Блэквуда-рассказчика, которого теперь могли слышать не только в гостиных друзей, а повсюду в стране, значительно выросла. Мы можем видеть теперь сходный эффект аудиокниг. Были изданы сборники избранных рассказов, автобиографические «Эпизоды из юности» *(Episodes Before Thirty,* 1923). Пишет он и ряд новых рассказов, самым известным из которых становится зловещая «Кукла» *(TheDoll,* 1946).

В военные и послевоенные годы Блэквуд продолжает адаптировать свои вещи для радио и телевидения. Помимо рассказов о сверхъестественном, большое число поклонников завоевали книга о юном независимом коте и мудром попугае «Дадли и Гилдерой» *(Dudley & Gilderoy: A Nonsense,* 1929) и постановки по ней. На телевидении ему разрешают выступать без репетиций, постановщики восхищаются его бронзовым от загара, изборожденным выразительными морщинами, «как грецкий орех», лицом, на котором светло сияют проникновенные глаза. Худощавая, почти двухметровая фигура, безупречность истинного джентльмена, пунктуальность, неизменно располагающие к себе манеры — таким его запомнило большинство современников.

Письма поклонников переполняли почтовый ящик восьмидесятилетнего писателя. В 1948 году в Букингемском дворце ему вручают орден Британской империи, а весной 1949-го — медаль Телевизионного общества — эквивалент «Оскара» — как самому выдающемуся деятелю года на телевидении. Блэквуда приглашали возглавить множество обществ, но он отклонял большинство предложений. Согласился он только стать президентом Гильдии писателей и с радостью — членом Королевского литературного общества. Работал он почти до самого последнего дня жизни. Еще в октябре 1951 года он записал последнюю передачу к Хэллоуину, а 10 декабря его не стало. Прах Блэквуда был развеян над горами в окрестностях Саанемозера, где он провел столько счастливых дней.

Исследователи творчества Блэквуда отмечали своеобычность подхода писателя к сверхъестественному. Хотя Лавкрафт и высоко оценил его «Ивы», Блэквуд не относил себя к почитателям творчества «затворника из Провиденса», тяготея скорее к психологическому напряжению «Поворота винта» Генри Джеймса. В письме к американскому писателю и издателю Августу Дерлету от 10 июня 1946 года он писал: «Меня

обычно совершенно не задевает „чистый ужас“, то есть лишенный удивления перед Вселенной… Я задался как-то вопросом: отчего Лавкрафт по большей части оставляет меня равнодушным, ведь он так мастерски владеет словом и арсеналом кошмаров? Не оттого ли, что он громоздит одни материальные ужасы на другие, не соотнося их с более всеобъемлющими вопросами — космическими, духовными, буквально „неземными“? Нечто во мне инстинктивно отторгает разложение, могилу, переизбыток вещественных деталей»[9].

Один из первых исследователей творчества Блэквуда, встречавшийся с ним при жизни и много расспрашивавший его, Питер Петцольд, автор книги «Сверхъестественное в литературе» (*Supernatural in Fiction,* 1952), считал Блэквуда совершенно особенной фигурой и предостерегал от включения его книг в ту или иную школу неоготики. Скорее Блэквуд оказался предшественником того направления, что легло в основу движения нью-эйдж, ведь в его творчестве ясно различима тема экологии. Специфика необычайного в его произведениях, прежде всего, — в представлении

[9] Примечания: 9
Цит. по: *Ashley M.* P. 321.

о космосе как о грозном для мелких духом, но прекрасном для тех, кто не побоится стать на крыло и присоединиться к вечному танцу, где каждый сможет найти себе место. Трудно найти слова для выражения всех красот окружающего нас мира, и даже истинному адепту-мистику иногда не удается отыскать нужные, но у Элджернона Блэквуда получилось приподнять для нас завесу. А так — каждый ищущий должен пройти через свой Храм Минувшего, чтобы распознать нетленность любви и узреть безграничное покрывало красоты, окутывающее мир. И каждому под силу почувствовать и укрепить гармонию мира. Никто не проклят.

Лариса Михайлова, Москва, июнь 2022

I

Для Вселенной мы подобны собакам и кошкам, случайно забредшим в библиотеку, – те видят книги и слышат разговоры, но не имеют ни малейшего представления об их сути.

Уильям Джеймс. «Вселенная с плюралистической точки зрения» [10]

…видение человека для него великая данность. Кому какое дело до аргументов Карлейла, Шопенгауэра или Спенсера? Философия суть проявление сокровенного человеческого характера, и все определения Вселенной есть лишь намеренно избранные реакции человека на нее.

Там же

— Есть такие люди, которые сразу пробуждают к себе интерес, независимо от их пола и внешней

---

[10] Примечания: 10

Уильям Джеймс (1842–1910) — выдающийся американский философ и психолог, основатель прагматизма, развивавший традиции британского эмпиризма в ряде работ, в том числе одном из последних своих сочинений — трактате «Вселенная с плюралистической точки зрения» (A *Pluralistic Universe,* 1909. — *Здесь и далее— примеч. переводчика.*

привлекательности. Их число невелико, но членов этого племени удается распознать без труда. Они могут не выделяться ни богатством, ни красотой, ни той живой предусмотрительностью, которую по глупости обычно именуют удачей, и всё же они обладают неким возбуждающим качеством, которое без утайки объявляет, что они превозмогли судьбу, обуздали насилие и держат поводья уверенной рукой.

Большинству из нас, захваченным их своеобычностью и желающим постичь, что они такое, ясно, что от простого любопытства недалеко до зависти. Им ведомо то, чего мы тщетно ищем. Причем этот диагноз, поставленный с первого взгляда, как бы походя, недалек от истины, ибо главной отличительной чертой таких людей является то, что они вступили в законное наследство. Печать этого лежит на челе, светится в глазах. Отыскав неким образом недостающий кусочек мозаики, освобождающий из-под власти головоломной загадки, они знают, кто они и куда идут; более того, у них нет никаких сомнений, что они на верной дороге. Сознание незначительности существования, одолевающее большинство людей, минует их.

Хотя бы уже по этой причине, если бы не было

и других, — продолжал О'Мэлли, — я расцениваю свой опыт общения с этим человеком памятным свыше обычного. «Если бы не было других», сказал я, ибо с самого начала присутствовала еще одна. Скорее всего, это окутывающее его ощущение необычной величины или, вернее, массивности — головы, черт лица, глаз, плеч, да, спины и плеч в особенности; именно это поразило меня, когда я заметил его громадную фигуру среди прогуливавшихся по палубе парохода в Марселе, еще даже прежде, чем он обернулся, и выражение на его крупном лице пробудило мое любопытство, интерес и зависть. В чертах лица явственно читалась уверенность знающего, оттененная некоторым удивлением, говорившим, что то, что он узнал, он узнал совсем недавно. Не замешательство, скорее легкое изумление, каку беззаботного ребенка, почти как у животного, светилось в его больших карих глазах…

— То есть, вы хотите сказать, что вас сначала привлекли его физические качества, а лишь затем душевные? — спросил я, возвращая его к теме разговора, ибо в любой момент ирландское воображение с готовностью уводило его с избранного курса.

Признавая, что я попал в точку, он добродушно

рассмеялся. Потом, посерьезнев лицом, ответил:

— Думаю, так оно и было. Именно ощущение его громадности подстегнуло мою интуицию — знать бы почему — и, в свою очередь, послужило толчком к дальнейшему. Размеры его тела не подавляли, как бывает с крупными людьми, скорее они открывали нечто. Тогда, конечно, я не мог осознать тут возможной связи. Просто притягательность личности этого человека охватила меня до такой степени, что мне захотелось сейчас же подружиться с ним. Тебе известно это свойство моей натуры, со мной так всегда. — Он нетерпеливо отбросил волосы со лба. — Ну, или довольно часто. С первого взгляда. Старина, поверь, он словно овладел мною.

— Верю, — откликнулся я. Ибо Теренс О'Мэлли всю свою жизнь не признавал полумер.

II

Дружелюбный и непоседливый дикарь – кто он? Ждет ли он цивилизации или уже превзошел ее?

Уолт Уитмен

Мы погружены в некоторое особое состояние общества, называемое нами Цивилизацией, но даже наибольшие оптимисты не считают его полностью желанным. А некоторые даже почитают его своего рода болезнью, которой народам неминуемо приходится переболеть… И если история рассказывает о множестве народов, подвергавшихся ей, множестве павших под ее натиском и тех, что еще переживает ее приступы, неизвестен ни один случай, чтобы народ оправился в достаточной мере и перешел к более нормальному и здоровому существованию. Другими словами, развитие человеческого общества пока ни разу (сколько нам известно) не смогло перейти через определенную и, судя по всему, финальную стадию процесса, именуемого Цивилизацией, – на этой стадии оно всегда терпело крах или застывало.

Эдуард Карпентер. «Цивилизация: причина возникновения и способ исце-

ления»[11]

Сам по себе О'Мэлли был личностью совершенно незаурядной. В смеси ирландской, шотландской и английской крови, текшей в его жилах, явно преобладала первая, и кельтская основа одерживала верх. Этот здоровяк, бессребреник и бродяга по собственному выбору вел жизнь почти изгнанника, скитаясь до самого конца, как перекати-поле. Того, что он зарабатывал, едва хватало, чтобы прокормиться, он так до конца и не повзрослел. Да этого и не могло случиться в общепринятом смысле этого слова, потому что девиз его был прямо противоположен nil admirari[12] — он не уставал поражаться тайнам мироздания. Он вечно расшифровывал нескончаемый гороскоп Жизни, не продвигаясь, правда, дальше дома Удивления, на самом куспиде[13]

---

[11] Примечания: 11

Эдуард Карпентер (1844–1929) — английский писатель и философ, оказавший значительное влияние на культуру рубежа XIX–XX вв. благодаря впечатляющему слиянию воедино европейской культуры и восточных учений, в частности йоги. Книга «Цивилизация: причина возникновения и способ исцеления» *(Civilisation: Its Cause and Cure,* 1889) закладывала также основы экологического движения.

[12] Примечания: 12

Ничему не удивляюсь *(лат.).*

[13] Примечания: 13

Куспид — в астрологии вершина дома — точка зодиака, обозначающая начало данного дома.

которого он родился, вне всякого сомнения. Как он любил говаривать, цивилизация ослепила людей, пустив им пыль в глаза.

Его, страстного приверженца жизни вне городских стен, иногда охватывал порыв духовного поиска, когда всё внешнее спадало, подобно окалине, и он погружался в состояние сродни экстазу. Когда же он находился в городе, в скученности себе подобных, где каждый стремится пробиться повыше, такое состояние его никогда не посещало — только на крыльях ветра под звездами в пустынных местах. Туда он иногда уносился, чтобы успеть увидеть конец длинной процессии богов, проходившей поблизости. И на мгновение удавалось застать Вечность врасплох.

Ибо в его существе полыхали настроения Природы, не менее яркие, чем воспоминания о близко знакомых людях, и столь же непохожие друг на друга: любовь и нежность лесов, благоговение и магия морей, проникнутые меланхолическим покоем и молчанием мудрых старых спутников равнины, и широкие горизонты, и пленительный ужас гор, которые он до конца не понимал, вероятно оттого, что духовно был им далек.

Словом, Космос для него был духовен, а настроения Природы — трансцендентными космически-

ми проявлениями, вводящими его в состояния особой экзальтации и раскрытости. Природа широко распахивала врата глубинной жизни его души. Она проникала туда и завладевала им, обволакивая и погружая его мелкое «я» в безграничность своего существа.

Хотя он вполне обладал опытом жизни современного человека и временами проницательно судил о нем, в нем крылось волнующееся море удивительно диких, примитивных инстинктов. Неутолимая жажда, зов дикой природы таились у него в крови, а тяга к ней была безудержна. Пожалуй, это было даже нечто большее, чем дикая природа, служившая лишь символом, первым шагом, указанием на путь бегства. Спешку и ухищрения современной жизни он сносил с видимыми муками. Мириады хитроумных выдумок цивилизации он презирал, и все же, будучи человеком, отчасти предусмотрительным, редко давал себе полную волю. Своих более диких и простых инстинктов он страшился. Стоило поддаться — и неминуемо произошло бы что-то страшное, сама основа его существа подверглась бы неведомому насилию, и тогда придется насовсем порвать с этим миром. Поддаться означало ограбить свою душу, чему он не мог дать

случиться. Полная капитуляция влекла за собой дезинтеграцию, распад личности, вплоть до полной потери индивидуальности.

Когда же душевный бунт нарастал до критического состояния, он удалялся в уединение, стараясь усмирить его, но эти попытки восстановления порядка хотя и приносили некоторое облегчение, не были кардинальными, в ответ давление изнутри нарастало, желания умножались и усиливались, приближалась точка окончательного пресыщения.

«Наступит день, — говорили друзья, — когда плотину прорвет». И, как ни толкуй эти слова, они говорили правду. О'Мэлли тоже понимал это.

Одним словом, это был человек переменчивых настроений, которыми управляли глубинные процессы, с большим трудом, чем прочие, признававший существование в своей душе другого, подспудного «я», внешние проявления которого были лишь его проекциями на поверхность, маскирующимися под полнокровную личность.

Объединяющее все проекции эго было специфического свойства, мастерски охарактеризованного на первых страницах вдохновляющей

книжки «Зов Пана»[14]. О'Мэлли совершенно никуда не годился как член общества, как гражданин — и знал это. Порой даже стыдился.

Время от времени, как и в период того «памятного приключения», когда ему исполнилось тридцать, он выступал в роли иностранного корреспондента, но и в этой роли был журналистом того рода, который не просто собирает новости, но открывает их для себя и людей, создает их. Получая его материалы, умудренные опытом редакторы, направлявшие его на задание, хорошо помнили, отчего так называется их должность. Тогда его как раз послали собирать материал среди кочующих племен Кавказа, и более подходящей кандидатуры было не сыскать, настолько хорошо он воспринимал красоту, разбирался в человеческом характере, предугадывал и умел выделить наиболее живое и красочное и к тому же выразить это на бумаге сжато, но непосредственно — слова порождались его яркими переживаниями.

Ко времени нашего знакомства он жил, собственно, нигде, постоянно находясь в дороге. Но тем не менее снимал комнатенку недалеко от

[14] Примечания: 14

«Зов Пана» (*The Plea Of Pan*, 1901) — сборник эссе в виде коротких рассказов английского военного журналиста и писателя Генри Невинсона.

Паддингтона[15], где постепенно накапливались его книги и бумаги — с них некому было смахнуть пыль, но там они были в целости и сохранности — и где обнаружились записи о его приключениях, когда судьба сделала меня распорядителем оставшегося после него небогатого имущества. Ключ от комнаты с предусмотрительно привязанной костяной биркой обнаружился у него в кармане. Такая практическая сметка, впервые им проявленная, указывала, что в той комнате нечто представлялось ему весьма ценным для других. Причем это не могло относиться ни к беспорядочному собранию букинистических книг, ни к сотням фотографий и рисунков без подписи. Не рукописи ли это рассказов, дневниковые записи и наброски сценок, обнаруженные мною почти аккуратно подобранными и разделенными указателями с заглавиями в грязноватой брезентовой сумке?

Часть из них он пересказывал мне, причем в более живой манере, чем ему удалось запечатлеть на бумаге, часть были мне неизвестны, многие оказались незаконченными. Всё можно было назвать по меньшей мере необычным. И всё это,

---

[15] Примечания: 15
Паддингтон — район в Лондоне.

без сомнения, произошло с ним в тот или иной период его бродяжнической жизни, хотя местами он прятался за излюбленным Гофманом приемом переведения действия в третье лицо.

Передаваемому мне на словах я мог лишь верить, ибо для него, по крайней мере, эти истории были истинны. Никоим образом нельзя было считать их выдумками, так как появлялись они в моменты прозрения внутренней структуры событий, непрозрачных постороннему глазу. Десять человек, видевших, как змея переползала через тропинку, по-разному опишут это, но есть еще одиннадцатый, который увидит нечто большее, чем просто змею, тропинку и движение. О'Мэлли как раз и был таким одиннадцатым. Он видел всё в целом, озирая его с птичьего полета неким внутренним оком, когда прочие могли разглядеть лишь ограниченные аспекты с различных углов зрения. Его обвиняли в том, что он привирает, поскольку он говорил о деталях, угадывая их из-за горизонта. Прежде чем они покажутся и сделаются видимы тем, кто не дождался их появления и ушел.

То есть я хочу сказать, что в обыденных событиях он подмечал влияние незримых прочим приливов и отливов. И независимо от расстояния

или времени, отделявших его от предмета наблюдения — будь то минута или миля, — он постигал всё целиком. Пока остальные десять человек распространялись о том, к какому виду относится змея, его захватывали красота тропинки, великолепие быстрого скольжения, понимание природы побуждающих, препятствующих, меняющихся сил.

Пока прочие рассуждали о том, куда направлялась змея, о ее длине в дюймах и скорости в сантиметрах, он, минуя эти несущественные подробности, погружался в самую суть. И в этой особенности, разделяемой с прочими людьми мистического настроя, проявляется некое любопытное презрение к Рассудку. Для него интеллект, на который столь полагается современный мир, был не более чем ущелье, усыпанное костями. И почитать его значило почитать лишь форму. Без внутренней правды, потому что ее можно было постичь, лишь став ею, ощутив своим существом. Словом, интеллект критичен, а не созидателен, а для О'Мэлли быть лишенным воображения казалось худшей из форм неразумия.

— Сухие, бесплодные умы! — восклицал он с кельтской безудержностью. — Сумели ли, спрашиваю вас, все философии и науки мира хоть на

дюйм продвинуть развитие единой души?

Для него неприметный Мечтатель, плетущий где-нибудь в мансарде свою паутину красоты, был куда более велик, чем острейший критический ум. Ибо первый, сколь бы несовершенной ни была его манера, пусть заикаясь, но всё же пытался вымолвить нашептанное Богом, а второй лишь разрушал мыслительные построения других людей.

Это умственное расположение заслуживает упоминания, чтобы лучше истолковать произошедшее. Некоторым необъяснимым образом Рассудок и Интеллект как таковые почитались О'Мэлли чрезмерно боготворимыми современными людьми. Сосредоточившись исключительно на них, сознание раздуло их значимость в экономике духа. Сотворить из них кумира значило поклоняться пустому и ущербному божеству. Разум должен оберегать развитие души, а не быть самоцелью. Подобно листу наждачной бумаги, он должен устранять неровности, обожествлять же его — значит придавать одной из частей непропорционально большое значение.

Нельзя сказать, что О'Мэлли был столь неразумен, чтобы презирать Разум как таковой, но он обладал достаточной «мудростью» — а не «интел-

лектом»! — чтобы признать тщетность поверять им сферу духовную. Для него существовало понимание более фундаментальное, чем достигается Разумом, а именно понимание внутреннее и естественное.

— Величайший Учитель из всех, — слышал я из его уст, — не держал интеллект в чести, и кто же, скажите, может отыскать Бога, планомерно занявшись поисками? А чего же еще и искать?.. Разве, не став как дети, — дети, которые чувствуют и никогда не подвергают ничего анализу, — можно войти в царство Господне? И где окажутся тогда все великие умы перед великим Белым Престолом, если простой человек с сердцем ребенка легко возьмет над ними верх?

А в другой раз он сказал, хотя во взоре и сквозило некоторое замешательство:

— Убежден, что следующий шаг должен привести к Природе. Разум потрудился немало за минувшие века, а теперь не дает нам продвинуться дальше. Именно по той причине, что не способен ничего создать для внутренней жизни, единственно имеющей отношение к реальности. Необходимо вернуться к Природе и чистой интуиции, больше полагаться на то, что лежит теперь лишь в подсознании, вернуться к тому сладост-

ному твердому руководству Вселенной, которое мы отвергли вместе с «примитивностью»... к духовному разуму вместо обычной рассудочности.

Причем, говоря о Природе, он не подразумевал возврата к дикому состоянию. При всем сумбуре такой идеи не было высказано вовсе. Скорее он жаждал неким труднопостижимым способом достичь такого будущего состояния Человека, когда бы он, обладая высшими достижениями Разума, вернулся бы к жизни под руководством инстинкта и низвел бы современную интеллектуальную личность с места предводителя на более подобающее — поводыря. Именно это он называл возвратом к Природе, но я всегда чувствовал, что на самом деле он подразумевал необходимость вернуться к состоянию родства со Вселенной, утерянному из-за обожествления интеллекта. Люди в наше время гордятся, что они выше природы и полностью отделены от нее, О'Мэлли же, напротив, стремился к развитию, если не к возрождению, безошибочного, инстинктивного понимания, вырастающего из родства с нею, которое — в конечном счете — руководит как зверем, так и человеком, ведет дикую пчелу в улей, перелетного голубя — домой, а человеческую душу — к Богу.

Поскольку такой настрой, или «ключ», как он его называл, полностью подытоживал внутренние борения ирландца, он сознательно перестал накапливать знания, положив тем самым конец сугубо интеллектуальному развитию. Название и семейство, к которому относилась встреченная на тропинке змея, интересовали его таким образом в последнюю очередь. Однако он повсеместно и неотступно искал духовных связей, неразрывно объединяющих его со змеей и прочим мирозданием. Всю жизнь он отправлял отряды смелых мыслей «на запад» — колонизировать вымышленные страны, которые возникали в его мечтах и снах. В полном соответствии со своими убеждениями он «думал» чувствами в той же мере, что и головой, и при знакомстве с местами сбивчивым повествованием его книги помнить об этом странном свойстве характера, этой страсти представляется особо важным. Причем она развивалась внутри, а не налагалась извне. Его существо могло включать в себя всю Землю и чувствовать вместе с ней, в то время как рассудок оказывался лишь способен подвергать критике частности такой включенности, тем самым умаляя ее.

Множество раз, когда верить рассказу О'Мэлли

становилось сложно, он принимался извиняться передо мной за свой подход. Именно великолепие убежденности придавало убедительности его рассказу, потому что позднее, обнаружив повествование перенесенным на бумагу, я увидел, что воздействие ослабело. Дело в том, что знаки письменной речи не в состоянии были передать того поразительного груза смысла, с легкостью доносимого инстинктивным выбором жестов, интонацией и взглядом. В его исполнении это выглядело неподражаемо и исключительно выразительно…

Неполных тридцати лет он уже успел опубликовать томика два любопытных рассказов. Все без исключения затрагивали тему расширения личности — предмета, бесконечно его интересовавшего и понятного, ибо все они основывались на личном опыте. Он просто пожирал книги по психологии, даже в наиболее фантастической и замысловатой форме, и пусть техника письма значительно уступала его силе видения, эти странные книги имели определенную ценность и подкрепляли его рассуждения на данную тему. В Англии его произведения лежали мертвым грузом, но перевод на немецкий привлек к ним более широкий круг читателей,

отличавшихся большей вдумчивостью. Обычная публика, незнакомая с Салли Бошамп № 4[16], Элен Смит[17] или доктором Ханна, находили в его проникновении в суть раздвоения личности и беспрецедентного расширения сознания лишь пример экстравагантности и безудержной игры воображения. Тем не менее правдивая подоплека рассказов О'Мэлли зиждилась на его личном опыте. Сборники принесли ему несколько полезных знакомств там и сям, среди которых был и немецкий врач Генрих Шталь. Несколько месяцев ирландец скрещивал с ним шпаги в словесных баталиях на страницах писем, которыми они время от времени обменивались, пока наконец не повстречались на пароходе, где Шталь служил судовым врачом. Знакомство переросло почти в дружбу, хотя приятели придерживались почти противоположных мнений. Но время от времени они всё же встречались.

Во внешности О'Мэлли не было ничего осо-

---

[16] Примечания: 16

Наблюдения за Салли Бошамп, опубликованные в Англии в 1906 г., являются классическим примером расщепления личности.

[17] Примечания: 17

Элен Смит (настоящее имя Кэтрин-Элиз Мюллер, 1861–1929) — известный на рубеже XIX–XX вв. швейцарский медиум, считавшая себя реинкарнацией индийской княжны и Марии-Антуанетты; кроме того, она утверждала, что находится в контакте с обитателями Марса. Информация записывалась методом автоматического письма.

бенно примечательного, разве что контраст светло-голубых глаз с темными волосами. Ходил он постоянно в одном и том же костюме из серой фланели с небольшим воротником-стойкой и обтрепанным лоснящимся галстуком — ни в чем другом я его, пожалуй, не видел. Среднего роста, изящного сложения, с почти девичьими руками. Живя в городе, он не забывал бриться и выглядел вполне прилично, но, путешествуя, отращивал усы с бородой и переставал стричь волосы, которые падали на лоб и глаза спутанной массой.

Поведение его сильно зависело от настроения. Порой живо на всё реагирующий, иногда он на несколько дней погружался в задумчивость, не замечая ничего вокруг, и тогда движения и действия его вызывались скорее подсознательным инстинктом, чем сознательной волей. Причем именно это служило одной из причин одиночества, приносившего, вне всякого сомнения, ему более всего огорчений — людей переменчивость его настроений ставила в тупик, и они не могли решить, какая из крайностей выражала его характер вернее всего. Посему его считали человеком неудобным, неприемлемым, уклончивым, общение с ним не приносило удовлетворения, на него нельзя было рассчитывать, и, со своей

точки зрения, они были, без сомнения, правы. Так недостатки собственного темперамента привели к тому, что он не получал сочувствие и дружбы, которых так жаждал. Общение с женщинами носило самый поверхностный характер, но в нем он некоторым образом не очень сильно нуждался. С одной стороны, женский элемент в его природе был слишком силен, отчего он, в отличие от множества мужчин, не испытывал той незавершенности, которую с великим искусством могут восполнять женщины, а с другой — что являлось очевидным следствием первого, — когда они появлялись в его жизни, то давали ему намного больше того, с чем он был в состоянии справиться. Предложение превышало потребности.

Таким образом, хотя, вероятно, он никогда не влюблялся, О'Мэлли, вне всякого сомнения, познал то возвышенное великолепие преданности, означавшее потерю себя в других, экзальтацию любви, не ищущей награды обладания, поскольку сама есть одержимость. Он был чист и невинен в том смысле, что ему и в голову не приходило вести себя по-иному.

Главная причина его одиночества заключалась, исходя из моего скромного понимания его сложной натуры, в том, что ему не пришлось

найти сочувственного и понимающего слушателя, которому вполне понятны были бы таящиеся в глубине души стремления, терзающие его сердце. Одиночество порождало страх, нередко охватывавший его, — казалось, что весь остальной мир, по крайней мере его здравомыслящее большинство, отвергал его. Даже я, любя его и всегда готовый выслушать, до конца не осознавал их значения. Они намного превосходили то, что называют зовом дикой природы. Он жаждал не столько дикости и отсутствия цивилизации, а такого мира, который цивилизации вообще никогда не знал и, возможно, в ней вообще не нуждался, жаждал свободы в незапятнанном мире.

Думаю, он никогда до конца не понимал, отчего столь неукротимо противится современному состоянию вещей и почему общение с людьми вызывало в нем такое омертвение, что ему приходилось бежать от них на Природу, чтобы вновь обрести жизнь. Заботы разных наций и государств, которым они предавались с головой, представлялись ему столь неприкрыто тщеславными и пустыми, что он искренне не мог понять, ни в коей мере не притязая на святость, почему для людей победа над Природой во всех много-

образных видах настолько важнее победы над собой. То, что по всеобщему согласию называлось Реальностью, ему всегда представлялось грубой, преходящей, откровенной Нереальностью. Любовь к Природе у него намного превышала простую радость бури инстинктов язычника. Простая жизнь, к которой он тяготел и стремился, представлялось ему первым шагом к обретению достойной, благородной, свободной жизни для всех. Через отрицание внешних атрибутов, которые он ненавидел, душа освободится для внутреннего развития. Теперь цивилизация давила, угнетала, убивала душу. Поскольку так думала лишь жалкая толика людей, верно, чувствовал он, значит, где-то вкралась ошибка. Ибо все люди, от государственного чиновника до машиниста паровоза, в один голос утверждали, что накопление собственности обладает ценностью и что важность материальных приобретений реальна… Что же касается его самого — за утешением он всегда обращался к Земле. Ему мудрая и чудесная Земля раскрывала свой разум и глубину сердца как мало кому другому. На Природе он мог двигаться с завязанными глазами, но отыскать путь к силе и сочувствию. И тогда в нем просыпалось благородство, отрицаемое мелочным миром

людей. Он часто сравнивал то неглубокое участие, которое получал от повседневного общения с людьми или даже от весьма представительного собрания, с мощной поддержкой, обретаемой после прогулки в лес или в горы. Первой обычно не хватало и на два дня, а вторая оставалась и даже пребывала целые недели, а то и месяцы, благословенно осеняя его.

И так выходило, что либо из-за проникновения в суть вещей, либо по неведению, но он ощущал себя всё более и более одиноким в жизни, отчего еще сильнее отворачивался от людей к Природе.

Кому-то это может показаться глупым, но я порой осознавал, что в нем кроется некое неопределимое свойство, делающее его наиболее пригодным для жизни, не стесненной современными удобствами и условностями, а не просто обходиться без оных, уже их познав. Безусловно, он обладал некой детской, трансцендентной невинностью, наивной, привлекательной — и совершенно невозможной. Думаю, именно в его неловкости существования при современных удобствах это отчасти и проявлялось. Многосторонняя система духа современности подавляла его, суета, роскошь и искусственность страшно выводили его из равновесия. Страх перед города-

ми был у него в крови.

Поэтому, когда я описываю его как своего рода изгоя, таковым он был — как вольно, так и помимо своей воли.

— Полученное благодаря разуму ничто по сравнению с понесенными потерями…

— Но это всего лишь мечты, приятель, всего лишь сны, — остановил я его сочувственно, потому что понимал: так ему делается легче. — Твое творческое воображение слишком активно.

— Богом клянусь, — тепло откликнулся он, — должно же где-то быть такое место, или, что одно и то же, состояние умов, где это сильнее, чем мечты. И больше того, благословенно будь твое верное старое сердце, когда-нибудь я туда доберусь.

— Ну уж наверняка не в Англии, — заметил я.

Он поглядел на меня, и в глазах его уже зажглась новая мечта. Потом он, как обычно, фыркнул и выставил перед собой руку, как бы отодвигая настоящее от себя подальше.

— Мне всегда нравилась одна восточная теория — или даже не восточная, а просто древняя, — согласно которой страстные желания создают такое место, где они осуществляются…

— Субъективно…

— Конечно, ведь «объективно» — означает лишь частично. Я хочу сказать, что Небеса строятся силой желания и страстного ожидания всю жизнь. Твои собственные размышления творят их. Что это, как не живая мысль?

— Еще одна мечта, Теренс О'Мэлли, — рассмеялся я, — но прекрасная и манящая, как сон.

Споры утомляли его. Ему нравилось изложить свое видение, наполнить картину деталями, вдохнуть горячее дыхание жизни — и так оставить. Спор лишь принижал, дробил целое на части, не проясняя, а критика разрушала картину, запечатывая источник жизни. Любой глупец мог спорить, мелкие умишки, неспособные принять ничего нового, готовы были раскритиковать что угодно.

— Пусть сон, но до чего хорош! — воскликнул он, глядя на меня в упор, но потом расхохотался. От воодушевления ирландский акцент стал намного заметнее. — Куда лучше видеть сон и потом пробудиться, чем вовсе не видеть снов.

И из его уст полилась страстная ода О'Шоннесси «Мечтателям мира»:

Мы создаем мелодии,
И мы же – мечтатели снов,

Бродя в одиночку по молу
И сидя у тихих ручьев.

Под бледной лунной долей
Теряем миры, и мы же —
спасители миров,
Но мы же по чьей-то воле
Сотрясатели самых основ.

Чудесные вечные строки
Величье столиц возводят.
А из замечательной сказки
Мы лепим империи маски.

Мечтатель пойдет и в охоту
Добудет себе корону,
А трое под новые ноты
Империи славу зароют.

Это мы во времена оны,
Погребенные в дали веков,
Одним вздохом воздвигли
Ниневию,
Взлетом радости сам Вавилон.

А потом мы их же низвергли,

поведав
Миру старому вещие сны:
Каждый век – это чья-то мечта
на излете
Или та, что стремится прийти.

И эта страсть к бесхитростной невинности и красоте старого мира гнездилась в его душе, неутолимая, питающая саму себя.

III

Одинок – скажете тоже! Отчего мне ощущать одиночество? Разве наша планета не находится на Млечном Пути?

Генри Торо

С криком пронесся март, после и апрель уже принялся сладко нашептывать вслед насыщенным запахами весны ливням, когда О'Мэлли поднялся в Марселе на борт каботажного парохода, следовавшего в Левант и далее в Черное море. Мистраль делал жизнь на берегу невыносимой, но по морю неслись стада белогривых лошадей под ярко-голубым, как на детском рисунке, небом. Корабль отошел минута в минуту, а О'Мэлли, по своему обыкновению, поднялся на борт перед самым отплытием; на заполненной людьми верхней палубе он сразу выделил одного мужчину с мальчиком, удивившись сначала их странной массивности, а затем снова, не найдя ничего конкретного, что подтверждало бы это первое впечатление. И смех, родившийся у него в сердце, замер на губах.

Потому что это впечатление массивности, едва

ли не гнувшей плечи к земле, при ближайшем рассмотрении не подтвердилось. Хотя мужчина был ширококостен и хорошо сложен, с мускулистыми спиной и шеей, с крепким торсом, но ничего из ряда вон. Лишь при взгляде мельком возникало это ощущение огромности, стоило же присмотреться — впечатление исчезало. О'Мэлли рассматривал пассажира с уважительным вниманием, тщетно пытаясь отыскать, что именно в складе его фигуры странным образом придавало вид огромности. Мальчик рядом с ним, по всей видимости сын, обладал тем же странным качеством — ощутимым, но с определенностью не фиксируемым.

Двигаясь в направлении своей каюты и размышляя, какой нации они могут принадлежать, О'Мэлли шел непосредственно за ними, раздвигая локтями французских и немецких туристов, и тут отец вдруг обернулся. Их взгляды встретились. О'Мэлли вздрогнул.

«Ого!» — пронеслось у него в мозгу.

На крупном лице, вполне благодушном, несмотря на грубые, обветренные черты, светились широко распахнутые глаза, какие бывают у животного или ребенка, оказавшегося вдруг посреди толпы. В них читалось выражение не столько

робости или испуга, сколько незащищенности, — это были глаза существа, за которым охотятся. По крайней мере, сразу, но в ту же секунду горячий кельт уловил иное выражение: взгляд загнанного существа, наконец заметившего убежище. Первое выражение выплеснулось на поверхность, а потом быстро убралось, словно зверек в безопасную норку. Но прежде чем исчезнуть, оно просемафорило весть предупреждения, приветствия, объяснения — точнее он не мог определить — другому такому же существу — ему!

О'Мэлли застыл на месте, не в силах отвести взгляд. Он бы заговорил, потому что приглашение к беседе было явственным, но у него перехватило дыхание и отнялся дар речи. Посматривая на него искоса, мальчик льнул к отцу-великану. Наверное, около десяти секунд между ними троими шел обмен проникновенными взглядами… после чего ирландец в замешательстве и довольно сильном возбуждении завершил это молчаливое знакомство едва заметным кивком и медленно прошел мимо, рассеянно раздвигая остальную публику, в свою каюту на нижней палубе.

В глубине души зародилась неописуемая тяга к тому, что он угадал в этой паре, чему-то родственному ему, хотя он и не мог найти слов, чтобы

выразить это точнее. Им сначала овладели то ли неловкость, то ли удивление, но то, более глубинное чувство вскоре вытеснило их. Из атмосферы, окружавшей отца с сыном, к нему молча взывало нечто всепобеждающее; оно было полно смысла, полускрыто, еще недостаточно поднялось на поверхность, чтобы можно было признать его и обозначить. Но они сами признали его наличие. Оба знали. Оба ждали. И это было чрезвычайно волнующе.

Прежде чем начать распаковывать необходимые вещи, О'Мэлли долго сидел на койке и размышлял, силясь уловить в грохоте обрушившихся на него переживаний то слово, которое могло бы принести облегчение. Это странное впечатление громадности, не соответствовавшее действительным размерам, это выражение поиска убежища и то следующее выражение уверенности, что путь найден, — он чувствовал, что всё это явления одного порядка. Именно это скрытое свойство мужчины затронуло и воспламенило его сознание, когда их взгляды мимолетно встретились. А его оно взволновало столь глубоко именно оттого, что крылось в нем самом. Причем незнакомец уже точно знал, в то время как он сам лишь подозревал до сей поры.

Что это было такое? Отчего оно вызывало радость и страх одновременно?

Слово, которое всё ускользало, кружась, словно котенок за своим хвостом, и не принося объяснения, было «одиночество»… то одиночество, о котором сказать можно было лишь шепотом. Ибо это было одиночество на грани избавления. Если же объявить о нем слишком громко, мог появиться некто неизвестный и лишить избавления. А этот мужчина с мальчиком сумели бежать. Они отыскали путь на свободу и теперь были готовы — и даже жаждали — указать его другим узникам.

Ближе к объяснению О'Мэлли подобраться не мог. Он лишь начал смутно осознавать, что привело его в чрезвычайно счастливое возбуждение.

— Ну а эта огромность? — спросил я, ухватившись за единственную конкретную деталь посреди тумана его рассуждений. — Как ты это объяснил? Ведь тому должна же была быть определенная причина?

В тот летний вечер, когда я впервые услыхал от него эту историю, мы шли по берегу реки Серпентайн. В ответ на мои слова он повернулся и уставился на меня голубыми глазами, в которых

серьезное выражение перемежалось с насмешливым.

— Огромность, ощущение громадного размера, величины, — отвечал он, — должны были быть отражением некоего свойства сознания, коснувшегося меня на парапсихическом уровне, оказав непосредственное воздействие на мое сознание, а вовсе не на зрение.

При рассказе он использовал сравнение, которое потом в записи опустил, оттого что присущее ему чувство юмора подсказало — как ни крути, всё равно будет выглядеть гротескно, хотя на самом деле впечатление скорее было трогательным.

— Будто бы, — рассказывал О'Мэлли, — они на своих мощных спинах несли просторный черный плащ, на присутствие которого указывали бугры и выпуклости, но они никоим образом не выглядели уродливо, а даже вполне привлекательно и естественно — именно это придавало впечатление гигантского размера. Само же тело, хотя и крупное, было вполне обычных размеров. Но дух тем не менее скрывал иные формы. И некий намек на них неведомым образом коснулся моего сознания. — Затем, видя, что мне нечего ответить, он добавил: — Скажем, когда человек

сердится, можно себе представить его красным, а когда завидует — зеленым! — И рассмеялся. — Теперь понимаешь? Это было вовсе не физическое качество!

IV

Мы думаем, исходя из опыта лишь малой толики прошлого, но желаем, стремимся и действуем, опираясь на всю его глубину, включая момент, когда сложилась наша душа.

Анри Бергсон

Состав пассажиров был ничем не примечательным. Группа французских туристов направлялась в Неаполь, а немецких — в Афины, несколько деловых людей — в Смирну и Константинополь, а горстка русских возвращалась домой через Одессу, Батум или Новороссийск.

Соседом по каюте у О'Мэлли, занявшего верхнюю койку, был небольшой, кругленький краснолицый канадец drummer, продававший уборочные машины — косилки, молотилки и т. п. Название машин, их цена и условия приобретения составляли всю его вселенную, ими он владел на нескольких языках, не имея представления больше решительно ни о чем. Он был вполне добродушен и соглашался на всё, только бы его не трогали.

— Не будете возражать, если я пока не стану гасить свет и немного почитаю? — спросил О'Мэлли.

— Я вообще не возражаю почти ни против чего, — последовал жизнерадостный ответ. — Я полностью непритязателен. Поэтому не стоит беспокоиться. — После этих слов он повернулся к стенке. — Старый путешественник, — добавил он приглушенно из-под одеяла, — принимаю всё как есть.

Так и было, поэтому ирландца это его свойство «принимать всё как есть» беспокоило только в том отношении, что сосед вовсе не заботился об умывании с купанием и даже не трудился снимать одежду, ложась спать.

Знакомый по прежним плаваниям капитан, добродушный моряк родом из Сассница, с зычным голосом, пожурил О'Мэлли за то, что тот, как обычно, едва не опоздал на рейс.

— Теперь фот опостали занять место за моим столом, — проворчал он шутливо, — што шаль. Следовало претупретить меня телекраммой, токта я пы вам сохранил место. Впрочем, может, за столом у токтора осталось местечко.

— Пароход полнешенек в этот раз, — ответил О'Мэлли, пожимая плечами, — но, надеюсь, вы

не станете возражать, если я буду время от времени подниматься к вам на мостик выкурить трубочку?

— Конешно, конешно.

— Есть на борту кто-нибудь примечательный? — продолжал разговор ирландец.

Весельчак-капитан рассмеялся.

— Примерно как фсекта, знаете ли. Никофо такофо, из-за кофо стоило бы стопорить сутно! Спросите фот токтора лучше, ему становится заметно скорее, чем мне. Феть тонкая публика фсекта начинает страдать морской болезнью и пропатает ф каютах. Кута на этот раз — в Трапезунд?

— Нет, в Батум.

— А-а! Нефть?

— Меня интересует Кавказ в целом — полазаю по горам.

— Ну што ш, там куча оружия, глядишь, и пристрелят! — Расхохотавшись, он величаво проследовал на мостик.

Так получилось, что О'Мэлли начал столоваться по правую руку от доктора Шталя; напротив него, по левую руку от доктора, сидел весьма разговорчивый торговец мехами из Москвы, который, придя к собственным заключениям

о вещах в целом, считал, что и весь остальной мир обязан их разделять, и многословно изрекал всем известное с величественным видом, что иногда было забавным, но по большей части утомляло. Справа от него сидел каштановобородый армянский священник с кроткими глазами, из того самого монастыря в Венеции, что давал приют Байрону; этот человек ел всё, кроме супа, с ножа, но поразительно аккуратно, а руки у него были до того изящные, что он вполне мог при еде обойтись и без ножа, и это никого бы не оскорбило. Вслед за священником сидел кругленький канадец. Он обычно молчал и следил за чередованием блюд, чтобы чего-нибудь случайно не пропустить. Еще дальше, через пару ничем не примечательных личностей, сидели белокурый крупный бородатый незнакомец с сыном. По диагонали от О'Мэлли с доктором, они были совсем на виду.

Ирландец говорил со всеми, кому его было слышно, непринужденно беседуя с теми, кого ему вряд ли довелось бы еще встретить. Но более всего его порадовало соседство за столом с доктором Шталем, который притягивал его, но нередко спорил, и уже в нескольких плаваниях они, к обоюдному удовольствию, скрещивали шпаги в

словесных дуэлях. В характере доктора имелось фундаментальное противоречие, вызванное, как догадывался О'Мэлли, тем, что практика не всегда желала соотноситься с представлениями доктора, и наоборот. Заявляя, что ни во что не верит, он порой отпускал замечания, выдававшие веру в самые разные вещи, причем неортодоксального свойства. И тут же, подведя ирландца к признанию его собственной веры в фей и чудеса, он мог циничным оборотом обрубить разговор. В саркастической манере доктора О'Мэлли усматривал позу, принятую в защитных целях. «Ни один разумный человек в подобном не сознается — это невероятно глупо», — говорил он, однако сам задиристый тон, которым произносились эти слова, выдавал доктора: разум отрицал, но душа верила…

До чего живые впечатления о людях у этого ирландца, интересно только, насколько они правдивы? Но в данном случае, возможно, он был недалек от истины. То, что человеку, обладавшему знаниями и способностями доктора Шталя, требовалось прятаться за личиной обычного Schiffsarzt[18], требовало объяснений. Сам

[18] Примечания: 18
Судового врача (*нем.).*

же он объяснял такое поведение потребностью в досуге для размышлений и записей. Лысый, неряшливый, преждевременно состарившийся, с пожелтевшей от табака бородой, небольшого роста, обладая творческим научным подходом, помогавшим ему делать умозаключения вне пределов, описываемых готовыми формулами, он вызывал к себе необъяснимое уважение. Его наблюдательные темные глаза порой насмешливо блестели, порой смотрели с горечью, но гораздо чаще в них светилось добродушное любопытство, которое могло быть вызвано лишь сочувствием к человеческим слабостям. У него, вне всяких сомнений, было доброе сердце, что могли засвидетельствовать многие несчастные пациенты, искавшие у него помощи.

Беседа за столом текла вначале неторопливо. Она завязалась на дальнем конце стола, где болтали, черпая свой суп, французские туристы, затем она распространилась дальше, перескакивая через некоторых молчаливых едоков, не желавших в нее включаться. К примеру, продавец уборочной сельскохозяйственной техники не попал в сферу беседы, промолчали и крупный белокурый незнакомец с сыном. Со стола позади доносился ровный шум голосов — капитан щедро

обещал дамам, сидевшим по обе стороны от него, приятное путешествие. Под покровом его густого баса даже самые робкие находили в себе силы обмениваться репликами с соседями. Прислушиваясь к доносившимся обрывкам разговоров, О'Мэлли заметил, что его взгляд нет-нет да и останавливался на сидевших наискосок от него двух незнакомцах. Раз или два он перехватывал и взгляд доктора, направленный туда же, и каждый раз вопрос или замечание уже готовы были сорваться у него с языка. Но слова так и остались невысказанными. Он чувствовал, что и доктор Шталь испытывал сходное замешательство. Оба хотели заговорить — и всё же молчали, ожидая, что другой положит конец молчанию.

— Этот мистраль довольно утомителен, — высказал наблюдение доктор, когда предыдущая тема иссякла и требовалось переключить разговор. — Некоторым он действует на нервы.

И взглянул на О'Мэлли, но с ответом выскочил торговец мехами, растопырив руку, унизанную перстнями, ладонью вниз над тарелкой, чтобы почувствовать тепло.

— О, мне он прекрасно известен, — непререкаемым тоном напыщенно заявил он. — Обычно дует три, шесть или девять дней кряду. Но стоит

нам пересечь Лионский залив — и больше его не встретим.

— Вы так полагаете? Мм… я рад, — откликнулся священник, кротко улыбнулся и ловко поддел мясо вместе с похожими на дробь зелеными горошинами лезвием своего ножа. Его тон, улыбка и жесты были столь деликатны, что применение стали в любой форме казалось совершенно неуместным.

Тут снова разнесся самоуверенный голос торговца:

— Конечно. Я так часто ходил этим маршрутом, что знаю определенно. Из Санкт-Петербурга в Париж, пару недель на Ривьере и назад через Константинополь и Крым. Пустяки. Вот я помню, в прошлом году…

Он поплотнее воткнул перламутровую булавку в свой шелковый галстук с искрой и начал рассказывать историю в основном о том, в какой роскоши он путешествовал. Глазами он пытался втянуть весь их край стола в число своих слушателей, но если армянин еще вежливо слушал, улыбаясь и кивая, то доктор Шталь снова повернулся к ирландцу. Это был как раз год кометы Галлея, поэтому доктор принялся очень интересно рассказывать о ней.

— …в три часа ночи — любой ночи, да! — будет как раз самое подходящее время для наблюдения, — заключил он свой рассказ, — и я за вами пришлю. Вы должны сами это увидеть через мой телескоп. Скажем, в конце недели, когда мы выйдем из Катании[19] и повернем на восток…

В этот момент, вслед за взрывом смеха за столом капитана, последовала одна из тех неожиданных пауз, которые повергают в молчание всю залу. Все голоса притихли. Даже купец смолк, поставив на стол свой бокал с шампанским. Доносились лишь шум винтов, плеск волн за иллюминаторами и шарканье стюардов.

Поэтому завершение фразы доктора прозвучало неожиданно громко, и его услышали все:

— …пересекая Ионическое море к островам Греческого архипелага.

Слова звонко разнеслись вокруг, и в то же мгновение О'Мэлли поймал взгляд незнакомца-великана — тот поднял глаза и устремил их на лицо говорящего, будто эти слова призвали его.

Затем его взгляд переметнулся на О'Мэлли, но в следующую секунду загадочный незнакомец уже смотрел себе в тарелку. Комнату опять наполнил

---

[19] Примечания: 19
Катания — город на острове Сицилия.

гомон, купец возобновил свое самовосхваление, шитое золотыми нитками, а доктор продолжил обсуждать состав газов в хвосте кометы. Но пылкий ирландец внезапно ощутил, будто он перенесся странным образом в иной мир. Из бездны подсознания поднялся некий гигантский пророческий знак. Обычная фраза и перехваченный взгляд открыли великие врата чуда в его сердце. В ту же секунду он сделался «рассеянным», или, вернее, от нажатия нужной кнопки весь механизм его личности бесшумно и моментально сдвинулся, открыв совершенно иную грань мира. Его обычное, мелкое самосознание на миг погрузилось в величественный покой гораздо более обширного состояния, ведомого также и незнакомцу. Вселенная кроется в сердце всякого человека, и он с головой погрузился в тот архетипический мир, который залегает так неглубоко под видимой нами поверхностью. О'Мэлли не мог ни объяснить как, даже подступиться к объяснению, но дрейфовал во всеохватном чувстве красоты, где не было ни парохода, ни пассажиров с их разговорами, где остались реальными и зримыми лишь незнакомец с его сыном. Он видел это и никогда не забудет. Случай предоставил условия, и некие гигантские силы воспользовались

им. Нечто глубоко потаенное пылало в глазах незнакомца и манило. Пламя переметнулось от гиганта к нему и исчезло.

«Острова Греческого архипелага» — ничем не приметные эти слова одушевились, как показалось О'Мэлли, благодаря вызванному ими взгляду незнакомца и преобразились в жизненно важные ключи к загадке. Они коснулись краешка тайны, величественной и нездешней, некой трансцендентной психической драмы в жизни этого человека, чья «огромность» и чье «одиночество», о котором можно было лишь шептать, также были своеобразными ключами. Более того, он вспомнил, как, только заприметив их на верхней палубе несколько часов назад, сразу понял, что и его собственный дух силой своих особых и примитивных стремлений был связан с той же тайной и выступал частью той же скрытой страсти.

Этот небольшой инцидент великолепно иллюстрирует особое свойство О'Мэлли обнимать всё внутренним взором. Проблеском молнии его чутье соединило слова и взгляд и определило, как одно послужило причиной второго. Возникшая пауза сделала это возможным. Если это и плод воображения, то воображения творческого, а ес-

ли так действительно было, то это свидетельство духовного прозрения редкой глубины.

Тут он осознал, что сосед внимательно за ним наблюдает, посверкивая глазами. По всей видимости, он уже несколько секунд неподвижно глядел через стол. Тогда Теренс быстро повернулся к доктору и открыто посмотрел на него. На этот раз было уже невозможно избегнуть разговора.

— Не в силах оторваться от небесного света, затмевающего утро?[20] — хитро спросил доктор Шталь. — Вы куда-то унеслись мыслями. И не слышали ничего из моих последних объяснений.

Пользуясь тем, что купец по-прежнему что-то громко вещал, О'Мэлли отвечал пониженным тоном:

— Я следил за теми двоими напротив, которые сидят ближе к противоположному концу стола. Вижу, они и вас заинтересовали. — Он не хотел, чтобы его слова прозвучали вызовом, и если тон

---

[20] Примечания: 20

Доктор использует шекспировские строки из альбы в первой сцене IV акта «Меры за меру»:

Прочь уста – весенний цвет,
Что так сладостно мне лгали.
Прочь глаза – небесный свет,
Что мне утро затмевали.

Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник

был напорист, то только потому, что он предвидел — в этом вопросе они не сойдутся — и чуял предстоящую дискуссию. И ответ врача, выражающий согласие, его сильно удивил.

— Да, они очень меня заинтересовали. — В голосе Шталя не было ни тени несогласия. — Не думаю, что это для вас новость.

— А меня они просто зачаровали, — откликнулся О'Мэлли, которого всегда нетрудно было втянуть в беседу. — Что они такое? А что вы видите в них необычного? Вам они тоже представляются великанами?

Доктор ответил не сразу, и О'Мэлли добавил:

— Отец, конечно, крупный мужчина, но не это…

— Отчасти, — последовал ответ, — думаю, отчасти да.

— А что еще тогда? — Торговец мехами всё еще говорил, не закрывая рта, поэтому их никто не слышал. — Что в ваших глазах так отличает их от остальных здесь?

— И от всех прочих, — спокойно продолжил врач. — Но если человек с таким богатым воображением, как у вас, ничего не замечает, что может усмотреть мой бедный, любящий точность разум? — Он на секунду задержал на ирландце свой

взгляд. — Вы действительно хотите сказать, что ничего более не заметили?

— Некоторое отличие, несомненно, есть, и держатся они от всех в стороне. Кажутся какими-то отринутыми, я бы назвал это величественной изоляцией…

И тут О'Мэлли вдруг остановился. Как ни поразительно, но он случайно натолкнулся на верный ответ и одновременно понял, что не хотел бы обсуждать его с приятелем, ибо это означало бы обсуждать его самого или самую сокровенную его часть. Настрой его совершенно переменился. Тут он ничего не мог поделать. Вдруг показалось, что он раскрывает доктору некие самые потаенные свои мысли, причем такие, которые тот не пощадит, поскольку не сможет отнестись к ним сочувственно. Выходит, доктор стремился их выведать у него, прощупывал, используя для отвода глаз самые невинные выражения.

— А кто они, как вы считаете, — финны, русские, норвежцы? — спросил доктор.

Ирландец кратко высказал предположение, что они, скорее всего, русские… или, вероятно, с юга России. Но тон его переменился. О'Мэлли не хотел больше говорить о них. И при первой возможности переменил тему.

Странно, каким образом пришло к нему доказательство. Что-то у него в глубине души, дикое, как пустыня, нечто, связанное с его пристрастием к примитивной жизни, чем он делился всего с несколькими самыми близкими людьми, которые высказывали сочувствие, — именно эта сокровенная часть него оказалась так созвучна встреченным незнакомцам, что говорить о них означало предать и себя, и их.

Более того, теперь он сожалел, что они вызвали интерес доктора Шталя, поскольку тот заведомо станет подвергать всё критичному и научному анализу. А такой анализ обнажил бы их суть, обрек на уничтожение. В его душе шевельнулось инстинктивное чувство самосохранения.

И, ведомый таинственным глубинным сходством, он уже принял сторону незнакомцев.

V

Мифология заключает в себе историю мира архетипов. Она постигает Прошлое, Настоящее и Будущее.

Новалис. «Цветочная пыльца» [21]

Таким образом, между доктором и ирландцем возникла тема, которой оба избегали касаться, отчего невидимый барьер постепенно рос. О'Мэлли его воздвиг, а доктор Шталь уважал. Какое-то время ни тот, ни другой не касались вопроса русского великана и его сына.

В записи не обладавший выраженным литературным мастерством О'Мэлли выпустил бесчисленные мелкие детали, подтверждавшие справедливость его умозаключений. А на словах он сразу дал мне понять, что эта тайна существовала, поэтому свести воедино оба впечатления — нелегкая задача. Тем не менее было в том русском с мальчиком нечто, вызывавшее глубокое любопытство, но также и отталкивавшее

---

[21] Примечания: 21

«Цветочная пыльца» *(Blutenstaub,* 1798) — книга афоризмов Георга Филиппа Фридриха фон Харденберга, известного под псевдонимом Новалис (1772–1801), опубликованная в журнале йенских романтиков «Атенеум».

других пассажиров, которые держались от них в стороне; кроме того, существовало негласное соревнование меж двух приятелей раскрыть эту тайну, хотя и из противоположных убеждений.

Если бы кто-то из незнакомцев заболел, скажем, морской болезнью, то профессия доктора Шталя поставила бы его в выгодное положение, но поскольку они оставались здоровы, а внимания доктора постоянно требовали другие пассажиры, то именно ирландец выиграл первый ход и познакомился с ними лично. Тут, конечно, помогло подстегивавшее его личное желание, потому что, хотя со стороны незнакомцев не было никакой агрессии — они вели себя тише воды и не подавали ни малейшего повода для обиды, — нетрудно было заметить, что большая часть пассажиров их отторгала. Казалось, они обладали неким свойством, которое не подпускало к себе, а на небольшом судне, где путешественники постепенно налаживают некое подобие уклада жизни большой семьи, такая изоляция была неприятным образом приметна.

Она сказывалась во множестве подробностей, которые были заметны лишь тому, кто вел постоянное пристальное наблюдение. Шаги навстречу, любезности, обычные между путе-

шественниками и, как правило, приводящие к тому, что между людьми завязывался разговор, в их случае не вели ни к чему. Все пассажиры, как один, через несколько мгновений вежливо откланивались и более никаких контактов поддерживать не желали. И хотя поначалу это возмущало его, вскоре О'Мэлли почувствовал, что отец с сыном не только не поощряли контактов, но даже распространяли вокруг себя некую отталкивающую атмосферу. Каждый раз, наблюдая очередную такую сценку, ирландец укреплялся в своем представлении о них как об отвергнутых одиноких существах, за которыми охотится всё человечество и которые ищут убежища от своего одиночества, укрытия, показавшегося там, куда они направлялись наконец.

Лишь человек с очень живым воображением, сосредоточенным на этих людях, мог такое подметить, но для О'Мэлли всё казалось ясным как день. Но с уверенностью начало расти чувство, что убежище, к которому они стремились, окажется спасением и для него, с той лишь разницей, что они были твердо убеждены, а он еще колебался.

И всё же, несмотря на испытываемую тягу к ним, воображаемую или открытую в душе, ему

было нелегко подойти и заговорить с великаном. Полтора дня О'Мэлли лишь наблюдал. Столь сильное притяжение побуждало к осторожности, поэтому он выжидал. Но благодаря неослабному вниманию и наблюдательности он, казалось, всегда знал, где они находятся и чем заняты. Инстинктивно он чувствовал, в какой части корабля их можно найти: чаще всего они стояли, опершись на перила на носу, глядя на вспененную винтами парохода воду, либо мерили шагами корму поздним вечером или ранним утром, когда там никого, кроме них, не было, или же устраивались рядышком где-нибудь в уголке на верхней палубе и смотрели на небо и на море. Манера ходьбы также отличала их от прочих: свободная, раскованная, размашистая, тяжеловесная и в то же время необъяснимым образом грациозная и очень быстрая. И эта скорость перемещения как бы уравновешивала впечатление массивности. Их вид говорил, что палубы судна им страшно тесны.

И вот, когда миновали уже Геную и находились на полпути к Неаполю, наконец представилась возможность познакомиться ближе. Вернее, не в силах больше противиться, О'Мэлли нарочно подстроил встречу. Хотя она представлялась

столь же неизбежной, как восход солнца поутру.

Мистраль перестал дуть, но вслед за ним пришли дожди, море было неспокойно. Корабль окутал запах с берега — так пахнет мокрая дубовая листва, когда ветер раскачивает кроны деревьев после сильного ливня. В час перед ужином палубы были сырые и скользкие, поэтому там сидела под навесом только пара закутанных в плед пассажиров в шезлонгах. Следуя внутреннему импульсу, О'Мэлли вышел из душной курительной комнаты на воздух. Уже стемнело, после яркого света пелена моросящего дождя застлала взор. Но лишь на миг, потому что первое, что он увидел, — это русского с сыном, которые двигались в направлении кормовых компасов. Огромной и сумрачной монолитной фигурой они уносились во тьму со скоростью, которая, как обычно, была несопоставима с их походкой. Тяжелой поступью они уходили всё дальше. Уловив последний поворот широких плеч мужчины, О'Мэлли покинул навес и двинулся вслед. И хотя они не подали виду, он почувствовал, что они знали о его приближении и даже приветствовали его.

Когда он подошел совсем близко, поворот судна бросил их друг другу в объятия, и мальчик, по-

лускрытый плащом отца, выглянул из-под полы и улыбнулся. Свет из окна кают-компании слабо освещал его лицо. Ирландец увидел эту приветливую улыбку, после чего палуба качнулась снова и он полетел вперед. Поручни фальшборта не дали им упасть, а отец протянул руки, чтобы поддержать его. Все трое расхохотались. При ближайшем рассмотрении, как всегда, ощущение огромности исчезло.

А затем они, совершено не так, как бывает обычно, не сказали друг другу ничего. Мальчик подошел к нему и встал слева, ирландец оказался посередине — так они и стояли, опираясь на поручни, и наблюдали, как фосфоресцировало Средиземное море с пенными гребнями.

Над морем сгустились сумерки, берег Италии был довольно далеко, вне пределов видимости: туман, поздний час, пустынность палуб и что-то еще, безымянное, замыкали этих троих в отдельный мирок. В голове О'Мэлли возникли было одно или два предложения, но он их так и не высказал вслух, да это было и не нужно. Его приняли без лишней суеты. Между ними существовала глубокая естественная приязнь, интуитивно уловленная еще в ту первую встречу, в Марселе. Инстинктивная, почти как между животными.

А теперь жест мальчика, перешедшего к нему под бок, чему отец не воспротивился, выступил знаком полного доверия и привета.

А потом наступил один из тех великолепных, полных значения моментов, которые время от времени возникают в жизни, врываются, затопляют все барьеры и вспыхивают, растворяя в пылающем свете тысячи порождений тени, обступающих нас со всех сторон. Нечто, заточенное в нем, вырвалось наружу и поднялось, как волна, неся с собой расширение жизни, ее «понимание». Оно, конечно, исчезло в следующее мгновение, но он успел уловить его последний отблеск, осветивший загадки его сердца и оставивший по себе толику ясности. Само понимание исчезло, не успев облечься в мысли и слова, но этот отблеск остался. Свет проник в подземные ходы его существа, сделав на долю секунды видимым некий ключ к его скрытым стремлениям к примитивному. И он отчасти осознал их.

И вот, когда он стоял меж этими двоими, постижение оказалось полнее, чем когда-либо раньше.

Свойства отца — спокойствие, мирный настрой, неспешность, молчаливость — говорили о том, что его внутренняя жизнь протекает в иной области, необъятной и простой, накладывающей

даже на его внешние проявления отпечаток огромных размеров, той области, где расстройства вульгарной, тщетной суеты современного мира просто не могли существовать — ни сейчас, ни когда-либо вообще. Никогда прежде не осознававший в точности, отчего современная жизнь представлялась ему столь ужасной, ирландец теперь, в присутствии этого простого существа, распространявшего вокруг ощущение величественной силы, понял это отчетливо. Человек этот был как дитя, но дитя доисторической эпохи, теперь совершенно позабытой, он не нес определенных черт возраста, а лишь состояния, предшествовавшего всем другим, — простоты в том благородном концентрированном смысле чудесного, что внушала благоговение. Стоять рядом с ним означало находиться возле ровного, мощного и беззвучно горящего пламени, питающего все более мелкие светильники, оттого что он находился вблизи центрального источника огня. О'Мэлли он грел, освещал, оживлял — делал цельным. Присутствие незнакомца поглотило его как бы единым глотком и перенесло в Природу — Природу, которая была живой. И человек являлся ее частью. Никогда прежде не был он столь близок к ней. Города и цивилизация унес-

лись прочь, как сон, устыдившись. Солнце, луна и звезды придвинулись и коснулись его.

Это мгновенное понимание пришло к нему в присутствии великана, стоило вдохнуть атмосферу, окружающую его. Область, которой питался его дух, была в центре, а современные люди действовали, ведомые своим разрозненным поверхностным пониманием, на периферии. Он даже понял, как получалось, что внешне заметный размах их движений и походка выступали приметами этой внутренней сути. Неуклюжесть, неприспособленность, наполовину славная, наполовину жалкая, была физическим выражением отсутствовавшего стремления выучиться ужимкам духа, преподаваемым цивилизацией людям меньшего калибра. Она вызывала даже своего рода благоговение, потому что сейчас они на всех парах возвращались к себе домой, где их ждало убежище.

О'Мэлли почувствовал, что это движение захватывает и его, увлекая за собой…

И то исключительно глубокое удовлетворение, испытанное в компании этих двоих в первый же момент, О'Мэлли описывает как абсолютно новое ощущение для него — осознание своей «полноты». Мальчик коснулся его, и ирландец

дал его руке обнять себя. По другую сторону возвышался отец мальчика. На секунду О'Мэлли охватила тревога, но она почти сразу уступила место пронзительному ощущению счастья. И вот уже больше не пассажиры парохода и не нравы современности отторгали их, а они сами отвергали этот мир оттого, что знали лучший. Более того, они были в нем.

Затем, не оборачиваясь, великан заговорил, выговаривая каждое слово по-английски с сильным акцентом, медленно, словно прикладывая огромные усилия, чтобы сложить их в фразы.

— Ты… идешь… с нами? — будто заикаясь, произнес он. Вернее, это больше походило на попытку выразить словами то, что обычно в них не нуждалось.

Звуки голоса — густого баса — сливались с шумом моря внизу.

— Я направляюсь на Кавказ, — отвечал О'Мэлли, — в древние горы, чтобы там увидеть… найти…

Он хотел сказать намного больше, но слова замерли у него на устах.

Великан медленно наклонил голову. Мальчик слушал.

— А вы? — спросил ирландец, не понимая, от-

чего он весь внутри затрепетал.

Собеседник улыбнулся; невыразимая красота озарила в сумерках его бородатое лицо.

— Некоторые из нас… наши… — он говорил очень медленно, очень отрывисто, будто выламывая глыбы слов, — еще живут… там… А мы… теперь… возвращаемся. Так мало… нас… осталось… И ты… пойдем… с нами…

VI

В духовном Царстве Природы человек везде должен искать подходящую ему местность и климат, занятие, свое особое окружение, чтобы культивировать свой Рай в представлении; так должно быть. Рай рассеян по всей Земле, вот почему его стало столь трудно распознать.

Новалис

Человек начался с инстинкта и закончится им же. Инстинкт – порождение Рая, он предшествует периоду самосознания.

Он же

— Послушай, старина, — сказал он мне, — я расскажу тебе, потому что знаю — ты не поднимешь меня на смех.

Когда мы добрались до этого места его повествования, мы с ним лежали под большими деревьями на берегу Круглого пруда[22], при-

[22] Примечания: 22

Круглый пруд — искусственный пруд в Кенсингтонских садах, почти в центре Лондона.

чем его непосредственный рассказ выходил гораздо красочнее, чем я могу здесь передать. О'Мэлли был в состоянии редкой открытости, возбужденный, с непокрытой головой, краешек обтрепанного галстука выбивался из его еще более обтрепанного жилета. Один носок спустился неряшливо на ботинок, оставив незакрытую полоску голой лодыжки.

От берега пруда доносились детские голоса, будто совсем издалека, силуэты нянюшек и колясок с младенцами, казалось, тронуты какой-то нереальностью, лондонские башни были облаками на горизонте, а городской шум — шумом волн. Я видел перед собой лишь палубу парохода, серое туманное море и две неуклюжие фигуры, вместе с моим приятелем склонившиеся над волнами, опершись на парапет фальшборта.

— Ну же, продолжай! — подбодрил я его.

— Большинству людей это может показаться невероятным, но клянусь тебе всем святым, я просто ног под собой не чуял, никогда не ощущал ничего подобного. Сознание этого гиганта полностью меня обволокло. Благодаря ему весь неодушевленный мир — море, звезды, ветер, леса и горы — представился мне живыми. Вся благословенная Вселенная была сознательной,

и он выступил прямо из нее — за мной! Я понял о себе то, чего никогда не мог понять прежде, даже стараясь сделать вид, что этого нет вовсе, в особенности ощущение оторванности от рода людского, неспособности отыскать никого, кто говорил бы на моем языке. Понял, отчего я так отчаянно одинок, отчего так страдаю…

— Да, приятель. Ты всегда был нелюдим, — решил я чуть подбросить дровишек в костер его энтузиазма, который на самом пороге рассказа вдруг, судя по выражению его голубых глаз, едва не угас. — Расскажи. Обещаю, что не пойму тебя превратно, по крайней мере, попытаюсь разобраться.

— Благослови тебя Господь, — ответил он с пробудившейся надеждой, — верю, ты постараешься. Во мне всегда крылось нечто, примитивное, дикое, отталкивавшее от меня людей. Я же иногда пытался притушить его несколько…

— Разве? — рассмеялся я.

— Говорю «пытался», оттого что боялся: вот-вот оно вырвется наружу и разнесет мою жизнь в клочки — одинокое, неукротимое, чуждое городам, деньгам и всей удушающей атмосфере современной цивилизации. И спасался, уходя в дикие и свободные места, где ему открывалось

пространство для дыхания, а мне не угрожала опасность угодить в сумасшедший дом. — Тут он рассмеялся, но слова эти были совершенно искренни, так он и думал. — И знаешь, разве я тебе не говорил уже не раз? Дело тут вовсе не в упрямом эгоизме, а также не в «вырождении», как о том толкуется в их драгоценных научных трактатах, потому что будь я проклят, если для меня это не самая что ни на есть живая жизнь, там я чувствую себя просто великолепно и готов горы свернуть. Оттого я стал изгоем и… и…

— Значит, это куда сильнее Зова Дикой Природы, верно?

Он снова фыркнул.

— Так же верно, как то, что мы сейчас сидим тут на покрытой сажей лондонской травке, — воскликнул он. — Этот хваленый Зов Дикой Природы, о котором столько болтают, всего лишь желание чуть поразмяться, когда наскучивает городское прозябание и хочется покуролесить, чтобы выпустить пар. То, что чувствую я, — голос О'Мэлли посерьезнел и понизился, — явление совсем иного порядка. Это сущий голод, необходимость насытиться. Им требуется выпустить пар, а мне потребна пища, чтобы не умереть от голода.

Последнее слово он прошептал, приблизив

губы к моему уху. В воздухе повисло молчание. Я первым нарушил его.

— Значит, это не твой век! Это ты хочешь сказать? — кротко предположил я.

— Не мой век?! — С этими словами он принялся рвать пучки сухой травы и подбрасывать их в воздух, чем, признаюсь, удивил меня. — Да это даже не мой мир! И я всеми фибрами души ненавижу дух современности со всеми его дешевыми изобретениями, прессом фальшивой всеохватной культуры, убийственными излишествами и жалкой вульгарностью, когда недостает истинного чувства прекрасного понять, что маргаритка куда ближе к небесам, чем воздушный корабль…

— Особенно когда такой корабль падает, — рассмеялся я. — Полегче, приятель, полегче, не стоит преувеличениями портить борьбу за правое дело.

— Конечно, конечно, но ты ведь понимаешь, что я имею в виду, — рассмеялся он вслед за мной, хотя лицо его вновь посерьезнело, — да много чего еще можно было бы сказать… Так вот, эти русские прояснили для меня ту непонятную, бурлившую во мне до сих пор без всякого выхода тягу к дикости. Как — я и сам не могу объяснить, поэтому не спрашивай. Но всё благодаря отцу,

его близости, проникнутому сочувствием молчанию, его личности, полной жизненной силы, не усеченной из-за необходимости контакта с заурядными людишками, обходившими его стороной. Его простое присутствие пробудило во мне непреодолимую тягу к земле и Природе. Он казался живой ее частью. Такой великолепный и огромный, но черт меня побери, если я знаю как.

— Он ничего не говорил, что помогло бы это прояснить?

— Ничего, кроме того, что я уже пересказал, неуклюже выразив с помощью нескольких современных слов. Но в нем самом истинность моего стремления находила подтверждение тысячекратно. Благодаря ему я понял, что подавлять его было бы неестественно, более того, было бы проявлением трусости с моей стороны. Ведь, собственно, речевой центр в мозге — относительно недавнее образование в процессе эволюции, и говорят, что…

— Значит, это был не их век тоже, — снова перебил его я.

— Нет, причем он и не пытался притвориться, что имеет к нему какое-то отношение, как это делал я! — воскликнул О'Мэлли и резко сел, поднявшись с земли, где я остался лежать. — Он был

неподдельным, ему и в голову не могло прийти поддаваться на компромиссы, понимаешь? Только вот теперь он каким-то образом разузнал, где крылись его мир и его век, собираясь вскоре вступить в права владения. Именно это меня и захватило. И в себе я инстинктивно ощущал такое чувство с необыкновенной силой, вот только говорить об этом определеннее мы были не в состоянии, оттого что… я с трудом могу передать словами… Потому же, — вдруг заключил он, — почему не могу и тебе сейчас объяснить! Таких слов не существует… Мы оба искали того состояния, которое исчезло еще до возникновения слов и потому не поддавалось внятному описанию. И на пароходе с ними никто не разговаривал по той же причине, теперь был я уверен, по которой не могли найти общего языка во всем мире, — потому что никому не под силу освоить даже алфавит их языка. И всё выходило так странно и прекрасно, — продолжал он, — что, стоя подле него, окутанный его атмосферой, я ощущал, как воздушные и морские потоки проходят через нее, через фильтр его духа, и насыщают меня — в столь близком контакте с Природой он находился. Я погрузился в свою среду, что сделало меня счастливым, по-настоящему живым; наконец

я знал, чего хочу, хотя и не мог этого выразить словами. Весь этот современный мир, к которому я так долго пытался приспособиться, теперь превратился в смутное воспоминание, в сон…

— В твоем воображении конечно же, — счел нужным вставить я, видя, что поэтическое вдохновение заносит его в такие края, куда я не смогу последовать за ним.

— Конечно, — неожиданно кротко отозвался он, вновь сделавшись задумчивым, его возбуждение почти улеглось, — и именно поэтому давая истинное представление. Несовершенные органы чувств не вставали на пути к постижению. Это было непосредственное видение. Ведь что есть, в конце концов, реальность, как не то, во что убеждает нас поверить человеческое видение? Другого критерия не существует. И критика со стороны сознания другого типа есть лишь признание его собственных ограничений.

Поскольку мое сознание относилось именно к «другому типу», я, естественно, не стал спорить, но решил временно принять его полуправду. Да и останавливал его я время от времени лишь для того, чтобы не терять нить его чудесного повествования.

— Итак, та дикая часть моего «я», отринутая со-

временным миром, — продолжил он с кельтским воодушевлением, — пробудилась вполне. Взывая ко мне, подобно летучему духу в бурю, она хотела завладеть мною безраздельно. Но личность стоявшего рядом мужчины как бы сама собой вернула меня к земле, к Природе. Я понимал, что говорят его глаза. Слова «острова Греческого архипелага» служили намеком, пока не прояснившимся далее, я только знал, что мы с ним происходили из одного края, что мне хотелось последовать за ним, а он принимал мою готовность с восторгом, с чистой радостью. Она влекла меня, словно бездна склонного к головокружению. Мысли этого человека, — решил пояснить он, повернувшись ко мне, — достигали меня гораздо полнее, когда я просто стоял рядом с ним, погруженный в его атмосферу приятия, чем когда он пытался облечь их в слова. О, это помогает, похоже, лучше объяснить то, к чему я иду. Видишь ли, он скорее чувствовал, чем думал.

— То есть как животные? Инстинктивно?

— В определенном смысле, — чуть помедлив, ответил он. — Как очень ранняя, первобытная форма жизни.

— Как ни стараюсь, Теренс, вряд ли я вполне понимаю тебя…

— Я сам себя не вполне понимаю, — воскликнул он, — поскольку пытаюсь и вести, и идти вслед одновременно. Тебе ведь известно представление, на которое я где-то натыкался, что у первобытных людей чувства были существенно менее специализированны по сравнению с современным человеком, что ощущения поступали к ним скорее сгустком, а не разделенными аккуратно на пять каналов, то есть они чувствовали всем телом, и что все их ощущения, как при передозировке гашиша, сливались воедино? Сведение всех ощущений централизованно в головном мозге возникло относительно недавно, прежде оно могло происходить в других нервных узлах тела, к примеру в солнечном сплетении, либо вообще не иметь определенной локализации! Известно, что пациенты при истерии могли видеть кончиками пальцев и ощущать запахи пятками. Осязание по-прежнему рассредоточено по всему телу, только остальные четыре вида чувств обрели постоянное расположение в определенных органах. И посейчас существуют системы представлений, согласно которым основным средоточием считается солнечное сплетение, а не головной мозг. Да и само слово «мозг» ни в одном из древних Священных Писаний мира

не упоминается. В Библии ты его не найдешь: жилы, сердце и прочее — вот чем тогда люди чувствовали. Всем телом, вот… — оборвал он себя и подытожил: — Именно таким, думаю, и был тот приятель. Теперь понимаешь?

Я смотрел на него во все глаза, изумляясь. Мимо прошла няня, поддерживая малыша в коляске на пружинах и приговаривая по-дурацки: «Прыг-скок, прыг-скок!» О'Мэлли на волне своего настроения едва дождался, пока она пройдет. Затем оперся на локоть, придвинулся ко мне ближе и продолжил чуть тише. Думаю, мне не доводилось прежде видеть его столь растревоженным, так мало понимая причину охвативших его чувств. И всё же было совершенно невероятно, как мог он уловить столь много из нескольких обмолвок полубессловесного иностранца, если не допустить, что всё сказанное им было правдой и что этому русскому действительно удалось некой магией сочувствия пробудить таившийся в душе моего друга огонь.

— Знаешь, — говорил он едва слышно, — каждый, кому дано самостоятельно мыслить и живо чувствовать, рано или поздно обнаруживает, что живет в своем особом мире, и верит, что однажды обретет в книге или в человеке Пастыря, открою-

щего его смысл. Так вот, я своего обрел. Взвесить на точных весах свою убежденность или точно, как мясник отрубает заказанную часть, отделить ее я не в состоянии, но это так.

— И ты хочешь сказать, что всё это понял от простого его присутствия, почти без слов?

— Ибо речь была бы бессильна, — отвечал он, еще сильнее понизив голос и наклонившись ко мне еще ниже, почти касаясь лица. — Мы с ним оказались последними выжившими из мира, чей язык был либо вовсе не создан, либо *позабыт*…

Последнее слово он выделил особо.

— Значит, между вами произошла сложная и детальная передача мыслей?

— Почему бы и нет? — пробормотал он в ответ. — Вполне обычное дело.

— А прежде, до того как ты повстречал незнакомца, тебе не доводилось искать объяснений своему одиночеству и способов его избегнуть, удовлетворить свою потребность?

Последовал ответ, высказанный со всей искренностью:

— Всегда, старина, всегда, но это приносило мне страшные страдания, поскольку я не понимал причины. А разобраться страшился. И вот этот человек, явивший гораздо менее разбавленный и

выдающийся пример того же расположения духа, всё прояснил, сделав естественным и понятным. Мы с ним вместе происходили из одного и того же позабытого времени и пространства. И, следуя за ним, я мог вновь обрести дом, вернуться…

Я тихо присвистнул, глядя в небо. Потом сел и пристально поглядел О'Мэлли в глаза. Судя по его виду, он был не склонен шутить. Поднимать его на смех не хотелось, да и вышло бы несправедливо. Кроме того, мне нравилось слушать его. То, как он выстраивал самые баснословные конструкции из едва заметных происшествий, ища объяснения сложности своей натуры, несказанно увлекало. Словно непосредственно наблюдаешь работу творческого воображения, и этот процесс представлялся каким-то священнодействием. Некоторую неловкость я порой испытывал лишь от его убеждения, что каждое сказанное слово истинно.

— Я скажу проще, чтобы ты понял! — вдруг воскликнул он.

— Хорошо, значит, «проще говоря»…

— Он познал ужасное духовное одиночество жизни в мире, все интересы и вкусы которого шли вразрез с его собственными, в мире, в котором он был чужим и который постоянно отвергал

и отталкивал его. Любые шаги навстречу с обеих сторон были обречены на неудачу, ведь вода и масло не смешиваются. Не принятый не просто одной семьей, племенем или народом, но живущим на земле видом людей в целом и самим временем — всем современным миром, — изгой и чужак, несчастный одинокий пережиток далекого прошлого.

— Такому нельзя не ужаснуться!

— Я понимал его, — продолжал он, воздев руки к небу от избытка чувств, — ведь сам пережил нечто подобное в миниатюре: он являл собой крайнее выражение крывшегося в глубине моей души. В нем продолжало жить то, что современный мир давно отверг и отправил в ссылку. Человечество рассматривало его из-за барьера, не намереваясь приглашать к себе. Однако и поступи такое приглашение — он не смог бы его принять по внутренней своей сути. Будучи сам перекати-полем, я понимал его ужасное одиночество, бездомность души, лишенной видимой и осязаемой родины. Во мне пробудились нежность и симпатия к нему, позволившие примириться с собой. Для меня он предстал вождем всех неприкаянных душ в этом мире.

Задохнувшись от избытка чувств, он откинулся

на спину и лежал, наблюдая за облаками — этими мыслями ветра, успевающими перемениться, прежде чем удастся уловить их значение вполне. Столь же переменчива была и мысль, которую он пытался одеть в слова. Ужас, возвышенность и печаль этой великой мысли глубоко меня задели, хотя, несомненно, далеко не в той степени, как его, полностью убежденного в своей правоте.

— Есть такие души, лишенные пристанища, души-изгои, — неожиданно заговорил он вновь, перевернувшись на живот. — Они существуют. Они бродят по современной земле там и сям в телах обычных людей… и об их одиночестве даже нельзя говорить вслух.

— А у тебя сложилось какое-то понимание, пережитком чего он был? — решился я спросить, поскольку во мне начала крепнуть уверенность, что те двое, о которых он вел рассказ, должны были оказаться в итоге какими-нибудь беглыми революционерами или политическими беженцами, попавшими на пароход по вполне объяснимой причине.

О'Мэлли закрыл лицо руками и какое-то время не отвечал. Затем он поднял глаза на меня. Помню, щеку его перечеркнула полоса лондонской сажи. Откинув волосы со лба, он ответил ровным

голосом:

— Разве ты не видишь, насколько глуп твой вопрос, на который невозможно ответить, не прибегая к заведомой выдумке? Могу лишь сказать, — тут ветерок донес до нас возгласы детей, самозабвенно пускавших свои кораблики на Круглом пруду, — что во мне укрепилось желание следовать за ним, чтобы узнать ведомое ему, поселиться там, где жил он… навсегда.

— А как же тревога, которую ты ощутил?

Он чуть помедлил с ответом.

— То было ошибкой. Я страшился внутренней катастрофы, боялся, что, последовав за ними, могу погибнуть, лишиться тела, уйти куда-то вспять. А на самом деле они мне указали путь вперед, к Жизни.

VII

Мы как раз подходили к Неаполю, когда наш добродушный капитан, не ведая того, значительно подтолкнул события. Ибо он стремился включить в искусство безопасного судовождения также поддержание духа пассажиров. Ему нравилось видеть их довольными и представлять одной большой семьей, а тут он заметил — или, по всей вероятности, кто-то обратил его внимание на сей прискорбный факт, — что один или два члена теплой компании зябнут из-за прохладного к ним отношения остальной братии.

Вероятно (как предположил О'Мэлли, не справившись, впрочем, у капитана), деливший каюту с незнакомцами сосед попросил о переселении, но, так или иначе, капитан Бургенфельдер подошел к ирландцу вечером того дня на мостике и справился, не будет ли тот против делить с ними каюту до конца путешествия.

— Ваш теперешний сосет сходит в Неаполе. Возможно, вы не станете возрашать. Мне кашется, им одиноко. А вы друшелюбны к ним. Вдобавок, они тоше едут до Батума. Ну, как?

Предложение такого близкого соседства застало О'Мэлли врасплох. Несколько секунд он безотчетно колебался, не понимая почему. Затем, движимый сердечным порывом, не поддающимся голосу рассудка, согласился.

— Правда, может быть, стоило бы сначала спросить, не возражают ли они, — добавил он в следующую минуту, готовый пойти на попятную.

— Я уше спрашивал.

— Ах, уже! И как они — согласны, то есть не возражают? — добавил он, охваченный опасливой радостью.

— Напротив, вполне дофольны, — последовал ответ капитана, который передал ирландцу бинокль полюбоваться синеющей над волнами Искьей[23].

О'Мэлли чувствовал — соглашаясь, он всецело отдается новому повороту судьбы, поэтому решение выходило очень серьезным. Импульсивно он принял дружбу, таившуюся в притягательных глубинах, за опасность. Но он уже оттолкнулся и прыгнул.

Его захлестнул ход событий, вызвав смятение в

---

[23] Примечания: 23

Искья — самый большой остров Неаполитанского залива в Тирренском море, вулканического происхождения.

глубине души. Ирландец бездумно поднес к глазам бинокль, но увидел вовсе не Искью и не тот пролив, куда корабль должен был войти вечером, направляясь к Сицилии. Его глазам предстала совсем иная картина, поднявшаяся изнутри, будто ее набросили на внешний ландшафт. Линза страстного внутреннего стремления, которое не могло осуществиться, сфокусировалась на некоем далеком-далеком фоне, где переставали различаться пространство и время — то ли в будущем, то ли в прошлом. Там он увидел гигантские фигуры, туманные, но полные величия, свободно, подобно облакам, носившиеся по могучим холмам, где цвела жизнь молодого мира… Уследить за ними взглядом никак не получалось, ибо скорость и манера перемещения вводили в замешательство…

Хотя не удавалось определить их физические размеры, душу Теренса охватило ощущение странного узнавания — казалось, тут ему всё знакомо. Часть его скрытого «я», необузданная современным миром, радостно восстала и устремилась вслед, неукротимая, как ветер. Будто его сознание издало клич: «Я иду!» И он увидел себя, в человеческом обличье несущегося гигантскими скачками к ним, но так и не достигая, оставаясь

по-прежнему на пределе видимости. Их топотом в ушах пульсировала кровь…

Решение принять незнакомцев высвободило в нем некую сущность, которая сейчас впервые поднялась наружу, вырвалась из плена… И в его сознании это бегство обрело форму картины, вставшей перед глазами…

Голос капитана попросил вернуть бинокль, и с огромным трудом, испытав почти физическую боль, ирландец наконец оторвался от заворожившего зрелища, дав табуну Летучих Мыслей унестись в безразличный сумрак. Сожаление утраты было почти непереносимо — утраты несказанно далекого, давно минувшего…

Обернувшись, он вложил бинокль в протянутую мясистую ладонь, заметив, как розовые толстые пальцы сомкнулись на ремешке; на одном из них виднелось массивное золотое кольцо, на рукаве блеснул золотой шеврон. Это кованое золото, мясистые пальцы, гортанный голос, произнесший «Благотарю», — всё выступало символами усмиренного искусственного существования, вновь заключившего его в клетку…

Затем он спустился к себе в каюту и обнаружил, что непритязательный канадец, убеждавший озадаченных крестьян купить у него уборочную

технику, сошел на берег, и теперь в кающе на его койке и на диванчике под иллюминатором лежала какая-то одежда русского великана и его сына.

VIII

Я, со своей стороны, нахожу в этих ненормальных или паранормальных фактах самое сильное подтверждение возможностей сознания, поднявшегося на более высокую ступень. Сомневаюсь, что нам удастся постичь их, в буквальном смысле не прибегая к концепции Фехнера о гигантском хранилище памяти всех жителей Земли, откуда, стоит понизиться некоему порогу или открыться клапану, обычно сокрытая там информация просачивается в исключительные умы.

Уильям Джеймс. «Вселенная с плюралистической точки зрения»

Несколько часов спустя, когда судно вышло в открытое море, О'Мэлли как бы между делом поведал о новых соседях доктору Шталю, и тот неожиданно переменился в лице. Отступив на шаг от нактоуза, на который оба опирались, доктор положил руку на плечо ирландцу и вгляделся ему в лицо. К своему удивлению, О'Мэлли обна-

ружил, что обычная циничная недоверчивость доктора испарилась, сменившись интересом и добрым участием. И слова, прозвучавшие после этого, шли от сердца.

— Это правда? — спросил он, будто новость встревожила его.

— Конечно. Отчего это должно быть неправдой? Что-то не так?

Ему стало не по себе. Поведение доктора подтверждало поспешность его шага. Возникшая было преграда между ними рассыпалась, а чувство досады оттого, что новых друзей могут подвергнуть анализу, исчезло. Былая искренность отношений с доктором вернулась.

— Боюсь, — задумчиво проговорил Шталь, — это может повредить вам, поставить вас в несколько… — он поискал более точное слово, — затруднительное положение. Ведь это я предложил перемену.

О'Мэлли непонимающе поглядел на него.

— Не вполне вас понимаю.

— Дело в том, — продолжал доктор, не сводя с него глаз и тщательно выбирая слова, — что я, зная вас уже некоторое время, сформировал некоторое… э-э… мнение о вашем складе ума и личности. Он оказался весьма редким и глубоко

меня заинтересовал…

— Вот уж не знал, что угодил к вам под микроскоп, — встревожено рассмеялся О'Мэлли.

— Хотя вам такое внимание было не совсем приятно — и, замечу, вполне справедливо — и вы старались даже порой меня избегать.

— Как ученого, врача, — вставил было О'Мэлли, но доктор проигнорировал его ремарку и продолжал по-немецки:

— Я всегда питал тайную надежду, скажем, как «ученый и врач», что однажды мне доведется понаблюдать вас при таких обстоятельствах, которые проявят скрытые способности, наличие которых я предполагал в вас. Мне очень хотелось увидеть, как вы, вернее, ваша душевная суть поведет себя под давлением некоего искушения, создавая тем самым благоприятные условия для их проявления. Однако наши краткосрочные плаванья, к счастью скрепившие нашу дружбу, — он снова положил руку ирландцу на плечо, на что тот слегка кивнул, — никогда прежде не предоставляли такой возможности…

— Вот оно что…

— До сегодняшнего дня! — договорил доктор. — Да, до сегодняшнего дня.

Озадаченному О'Мэлли хотелось, конечно, что-

бы тот продолжал, но человек науки, в котором теперь взял верх судовой врач, казалось, засомневался. Ему явно было непросто высказать то, к чему он подходил.

— Вы имеете, вероятно, в виду, хотя я и не до конца вас понимаю, наших друзей-великанов, — подсказал ирландец.

Определение выскользнуло неосознанно. Выражение лица приятеля показало точность его ремарки.

— Значит, вы тоже видите их большими? — подхватил доктор. В его словах звучал искренний интерес, а совсем не желание выведать побольше.

— Да, порой, — отвечал ирландец, чье удивление всё росло. — Но только иногда…

— Вот именно. Больше их истинных размеров, будто иногда они источают некую… эманацию, расширяющую их контуры. Верно?

Теперь, весь во власти не до конца понятного удивления, О'Мэлли уже полностью доверился доктору и, схватив его за руку, подошел к поручням. Опершись на них, они теперь стояли и глядели на море. За спиной у них прошагал какой-то пассажир, занимающийся вечерним моционом. Стоило шагам удалиться, как ирландец

заговорил приглушенным тоном:

— Но, доктор, вы высказываете вслух то, что я полагал существующим лишь в моем воображении, а в обычном смысле — вашем смысле — не совсем соответствующем реальности, как же так?

Некоторое время доктор не отвечал. Обычный насмешливый огонек в его глазах исчез, взгляд стал решительным. Когда же Шталь наконец заговорил, то будто продолжил давно продуманные рассуждения, которые, однако, содержали нечто, чего он наполовину стыдился, но всё же хотел высказать без утайки.

— Существо сродни вам, — сказал он негромко, — но значительно более развитое, Повелитель ваших краев, человек, чье влияние на близком расстоянии не сможет не пробудить дремлющую умственную бурю. — Последние слова он произнес, запнувшись, будто искал более подходящие и, не найдя, решил всё же употребить их. — Ту, что постоянно собирается за горизонтом вашего сознания.

Повернувшись, он пристально вгляделся в лицо спутника. О'Мэлли был слишком потрясен, чтобы испытывать досаду.

— И? — спросил он, ощущая, как атмосфера

приключения сгущается вокруг него. — И что же дальше? — громче повторил он. — Прошу вас, продолжайте. Я не в обиде, однако заинтригован. А вы пока держите меня в тумане. Полагаю, я имею право на большее, чем туманные намеки.

— Вполне, — ответил доктор прямо. — Этот человек обладает столь редко встречающимся качеством, что для него даже не изобрели названия, не придумали точного описания, по сути, оно, — поскольку они в разговоре снова перешли на немецкий, Шталь употребил немецкое слово, — unheimlich[24].

Ирландец вздрогнул. Он признал истинность этих слов. В то же время в нем всколыхнулось прежнее негодование, проникнув в его ответ.

— Значит, и его вы пристально изучали, и его поместили себе под микроскоп? И когда только успели за такое короткое время?

Последовавший ответ на этот раз его не удивил.

— Друг мой, — услышал он, в то время как собеседник перевел взгляд на туманный морской простор, — ведь я не всегда был судовым врачом. Эти обязанности я выполняю только

---

[24] Примечания: 24
Жуткий, страшный, тревожный *(нем.)*.

потому, что спокойствие и значительный досуг на корабле позволяют мне довести до конца одну работу, систематизировать записи. Долгие годы я трудился в Х., — он назвал немецкий аналог лечебницы для душевнобольных Сальпетриер, — ведя исследования поразительных странствий человеческого разума и духа, причем некоторые результаты натолкнули меня на дальнейшие изыскания, которые я проводил уже независимо. Именно их данные я сейчас и обрабатываю. Но среди множества случаев, которые могли бы поразить чье угодно воображение… — тут он снова чуть помедлил, — я натолкнулся на один, вероятность встретить который была одна на миллион, признаюсь, и теперь целый раздел моей книги под названием «Urmenschen»[25] отведен именно ему.

— Первобытные люди, — быстро перевел О'Мэлли. К охватившей его озадаченности добавилось растущее ощущение неловкости, странным образом пронизанное восторгом. Интуитивно он понимал, к чему клонилось дело.

— Существа, — поправил его доктор, — не люди. Приставка «Ur» имеет для меня более глу-

---

[25] Примечания: 25
Долюди, пралюди *(нем.)*.

бокий смысл, чем обычно подразумевается в словах «Urwald», «Urwelt» и им подобным. Слово «Urmensch», первобытное существо, обозначает в современном мире выжившего представителя почти невероятного вида, необъяснимого со строго материалистических позиций…

— Языческих времен? — перебил ирландец, которого накрыла волна радости, смешанной с ужасом.

— Куда, куда древнее, — последовал едва слышный ответ.

Скрытый смысл этих слов теперь полностью овладел сознанием О'Мэлли. В его душе поднялись силы, призывающие в друзья море, ветер, звезды — бурные и прекрасные. Но он не вымолвил ни слова. Впервые высказанное доктором вслух представление овладело всем существом ирландца без остатка. Для слов не осталось сил. Он понимал, что доктор наблюдает за ним глазами, в которых зажглась страсть открытия и веры. Их горение зажигало и его самого. Приоткрылась новая сущность Шталя.

— Того вида, позвольте сказать, — продолжал он окрепшим голосом, уверенность которого еще сильнее взволновала слушателя, — чьи самые развитые представители в мире сегодняшнего

дня должны будут испытывать одиночество полных изгоев. Они означают собой возврат к человечеству, так сказать, нерастраченной силы мифологических ценностей…

— Доктор!

Его на мгновение охватила дрожь. Вновь море вокруг обрело великолепие, в рокоте волн слышались голоса, а среди пены морской виделись контуры чьих-то фигур и очертания лиц, непередаваемо манящих, но неуловимых, как мечты. Услышанное глубоко потрясло его. Он помнил, как само присутствие незнакомца оживило весь мир вокруг.

О'Мэлли чувствовал, что должно произойти, и прямо спросил, хотя и страшился задать этот вопрос:

— Значит, моего друга, этого «русского» великана…

— Я знал прежде, верно, и тщательно изучил.

IX

Нельзя ли предположить, что возможен способ существования, настолько же превосходящий Разум и Волю, как они превосходят механическое движение?

Гербет Спенсер. «Первые принципы» [26]

Приятели отошли от перил и пошли вдоль по палубе, негромко переговариваясь.

— Его привел к нам хозяин небольшой гостиницы, где ему случилось остановиться, в связи с выпадением памяти, скорее — с полной амнезией. Он был не в состоянии сказать, ни кто он, ни откуда, ни у кого служил. Не смогли мы также выяснить, из какой он страны. Словом, ничего о его прошлом установить не удалось. Какой язык ему был родной, тоже осталось неясным, те несколько слов, которые мы от него слышали, представляли собой набор из совершенно разных языков. Ему вообще с огромным трудом давалось

---

[26] Примечания: 26

Герберт Спенсер (1820–1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма, основатель «органической» школы в социологии. «Первые принципы» *(First Principles)* опубликованы в 1869 г.

любое словесное выражение. Видимо, долгие годы он скитался по миру в одиночку, совсем без друзей, пытаясь отыскать родственную душу и нигде не находя приюта. Казалось, все, как мужчины, так и женщины, старались держаться от него подальше, а доставивший его хозяин гостиницы был крайне напуган. Людей отталкивало то свойство, которое я только что упомянул. Оно проявлялось и в лечебнице, и именно оно заставляло его чувствовать себя абсолютно одиноким среди любого многолюдья. Свойство это встречается реже, чем… — он поискал подходящее слово, — чем непорочность, которую в наши дни почти не встретишь; такого в точности мне не доводилось наблюдать ни у кого… почти ни у кого, — уточнил он, многозначительно посмотрев на спутника.

— А мальчик? — тут же спросил О'Мэлли, не желая переводить разговор на свою особу.

— Тогда с ним никакого мальчика не было. Он его отыскал уже позже. Вполне возможно, он смог бы найти и других.

После этих слов ирландец чуть подался назад, выставив перед собой руку. А может, это набежавший с моря ветерок заставил его вздрогнуть.

— И вот два года спустя, — продолжал доктор

Шталь как ни в чем не бывало, — его выпустили, сочтя не представляющим угрозы для окружающих… — на последних словах он сделал небольшой акцент, — если не исцелившимся. Он должен был являться на осмотр к нам каждые пол года. Но ни разу не появился.

— Как думаете, он вас помнит?

— Нет. Совершенно ясно, что он вновь погрузился в то же… э-э… состояние, в каком поступил к нам, в тот неведомый мир, где он провел юность среди себе подобных, но о котором ни он сам не смог ничего рассказать, ни нам не удалось разузнать ничего определенного.

Они остановились под навесом, прислонившись к стене курительной комнаты, поскольку туман теперь сменился дождем. Мысли и чувства О'Мэлли пришли в полное смятение. Ему с огромным усилием удавалось держать себя в руках.

— Значит, вы считаете, — спросил он с видимым спокойствием, — что мы с этим человеком одного племени?

— Я сказал «сходного». Полагаю…

Но О'Мэлли не дал доктору договорить:

— Значит, вы придумали поселить нас вместе в одной каюте, чтобы снова поместить его… нет, нас обоих себе под микроскоп?

— Научный интерес в этом случае очень силен, — осторожно начал отвечать доктор Шталь. — Но еще не поздно отказаться. Я предлагаю вам место у себя в просторной каюте на верхней палубе. И прошу у вас прощения.

Хотя сила воображения ирландца была велика, услышанное смутило его, повергнув едва ли не в ступор. Он прекрасно видел, к чему вел Шталь и что впереди лежали новые откровения. Новость постепенно открывалась во всем величии, которое завораживало и лишало дара речи. Получалось, что его стремление к «первобытности» коренилось куда глубже, чем представлялось ему в самых смелых грезах. И если бы он не оборвал Шталя, тот развернул бы ему свое квазинаучное объяснение. Эти речи о «возврате к человечеству нерастраченной силы мифологических ценностей» просто сразили наповал. Доктор попал в точку. За этим красивым выражением крылась гениально распознанная истина. И она подрывала сам фундамент его личности, душевного здоровья, всей его жизни — всего существования в современном мире.

— Я прощаю вам, доктор Шталь, — услышал он свой спокойный голос, когда они стояли, почти касаясь друг друга плечами в темном простен-

ке, — ведь, собственно, прощать и нечего. Черты этих Urmenschen, описанные вами, меня сильно привлекают. А ваши слова только снабдили мое воображение рекомендательным письмом к собственному рассудку. Они подрывают самые основы моей жизни и существования. Однако вы тут не виноваты…

Он знал, что слова, исходившие из его уст, были порывисты, бессвязны, но лучших он отыскать не мог. Больше всего ему хотелось теперь скрыть нараставший в душе восторг.

— Благодарю вас, — просто сказал Шталь, хотя его замешательство еще не прошло. — Я… чувствовал, что обязан объясниться и… э-э… признаться вам.

— Вы хотели предостеречь меня?

— Скорее предупредить. И повторяю — будьте осторожны! Я приглашаю вас разделить со мной каюту до конца путешествия и призываю принять мое предложение.

Оно явно шло от сердца, хотя ученый внутри доктора наполовину рассчитывал на то, что ирландец откажется.

— Вы думаете, мне угрожает опасность?

— Не физического свойства. Этот человек безвреден и кроток во всех смыслах.

— И всё же опасность существует, по вашему мнению? — настаивал О'Мэлли.

— Существует…

— Что его влияние сделает меня также Urmensch?

— Что он сможет… забрать вас, — последовал после короткой паузы странный ответ.

И вновь эти слова пронзили наполовину испуганную, наполовину ликующую душу О'Мэлли насквозь.

— Вы действительно так считаете? — снова спросил он, — То есть как врач и ученый?

И Шталь отвечал со всей серьезностью и даже торжественностью:

— Я хочу сказать, что вы обладаете тем свойством, которое делает близость этого «существа» опасной для вас, короче говоря, он может забрать вас… э-э… с собой.

— То есть обратить в свою веру?

— Захватить всецело.

Они двинули дальше по палубе и шагали несколько минут молча, но чувства ирландца, возбужденные длительными недомолвками приятеля, теперь бурлили, и он не мог их долее сдерживать.

— Давайте определимся! — воскликнул он, воз-

можно излишне горячась. — Вы хотите сказать, что я могу потерять рассудок?

— Не в обычном смысле слова, — последовал без промедления спокойный ответ, — но с вами может произойти нечто… чему наука не имеет определения и против чего медицина окажется бессильна…

Тут у О'Мэлли вырвался самый важный для него вопрос, прежде чем он успел подумать, осмотрительно ли его задавать:

— Так кто же он на самом деле, этот человек, это «существо», «возврат к прошлому» или «пережиток», как вы его называете, из-за которого вы страшитесь за мою безопасность? Скажите мне, кто же он такой!

К этому времени они как раз подошли к каюте судового врача, и Шталь, толкнув дверь, пригласил ирландца войти внутрь. Усевшись на диване, он предложил гостю сесть в кресло напротив.

X

Предрассудок лежит вне пределов разума, как и откровение.

Старинная пословица

О'Мэлли понимал, что подвел доктора к необходимости признаться в убеждениях, которых ему было даже неловко придерживаться, к которым его подтолкнул необычный жизненный опыт, хотя вся научная подготовка побуждала сурово от них отречься. Понимал он и то, что Шталь на протяжении всего разговора внимательно наблюдал за его реакцией.

— Он вовсе не человек, — почти шепотом продолжил доктор, и такая манера еще сильнее подчеркнула серьезность питаемого им убеждения, — в том смысле, в каком обычно употребляется этот термин. Его внутренняя сущность, как и само тело, сформирована не вполне по-человечески. Он — Космическое Существо, непосредственное выражение жизни космоса. Кусочек, небольшой фрагмент Мировой Души и в этом смысле пережиток, отражение ее юности.

При этих совершенно неожиданных словах в

сердце ирландца поднялась непонятная волна, грозившая разорвать его. Радость ли то была или ужас или странная смесь того и другого вместе, он не понимал. Будто вот-вот он наконец услышит — причем из уст человека науки, а вовсе не такого же мечтателя, каким был сам, — нечто, прольющее наконец свет на то, как устроен мир, он сам и все его безумные стремления. Он и жаждал, и страшился этого. Втайне он всегда был уверен, невзирая на все усилия современного образования и манеры жизни, что Земля — разумное, живое Существо, обладающее сознанием. И пусть он не осмеливался признаться в этом даже самому себе, убеждение было инстинктивно и неистребимо.

Он всегда грезил о Земле как о живом организме, матери человечества и, питая любовь к Природе, находился в той близости к ней, которую прочие люди давно позабыли или презрели. Теперь же речи Шталя о Космических Существах как фрагментах Мировой Души, «отражении ее юности» прозвучали как громогласная команда его душе раскрыться навстречу, перестав таиться.

О'Мэлли закусил губу и ущипнул себя, глядя прямо перед собой. Затем взял протянутую ему

черную сигару, зажег ее пляшущими пальцами и принялся так усердно дымить, словно сама крепость рассудка зависела от того, успеет ли он докурить ее в предписанный срок. Лицо окутали густые клубы дыма. Но душа внутри ликовала…

Прежде чем кто-либо заговорил, на кончике сигары образовался внушительный столбик пепла. Стараясь не промахнуться мимо бронзовой пепельницы, ирландец сосредоточенно прицелился, будто из ружья. Маленькая операция прошла без осечки, пепел сбросился ровно. «Должно быть, это очень хорошая сигара», — подумалось ему, вкуса он не ощущал. Заметил О'Мэлли и то, что пепельница была выполнена в виде нимфы, причем пепел падал в подол хитона. «Надо бы обзавестись, — промелькнуло в голове. — Интересно, сколько такая стоит?» И продолжал дымить с тем же усердием. Доктор встал и неторопливо прохаживался возле красной шторы, которая закрывала койку. О'Мэлли рассеянно следил за ним, а в голове всё еще немолчным рокотом отдавались услышанные слова.

В комнате стояла тишина, но тут вспыхнуло воспоминание — в один момент, хотя на рассказ уходит существенно больше времени, — о

читанном у немецкого философа Фехнера, что Вселенная повсюду обладает сознанием, что она живая, сама Земля — живое Существо, а понятия Мировая Душа или Космическое Сознание намного важнее, чем лишь красочные представления древних…

Доктор вновь стал на якорь, устроившись на диване напротив. К величайшему облегчению ирландца, он заговорил первым, потому что О'Мэлли просто не имел ни малейшего представления, с чего начать.

— Теперь мы знаем — по крайней мере, вам это точно известно, так как я читал верное описание в ваших книгах, — что личность человека способна расширять свои пределы при некоторых обстоятельствах, называемых отклонениями от нормы. Она может направлять на расстояние часть себя и там являться, действуя в отрыве от центрального тела. Таким же образом Земля, как Существо, могла прежде отделять от себя, проецировать свои фрагменты. И вполне возможно предположить, что ныне остались существовать пережившие время проявления сознания Земли в формах, которые она почти совершенно вобрала в себя перед лицом наступающего человечества и которые остались жить лишь в легендах и по-

этических видениях, успевших уловить память о них и нарекших богами, чудовищами, всевозможными мифическими существами…

И тут, будто вдруг пожалев, что дал волю воображению, доктор сменил тон и заговорил суше и бесстрастнее. Как будто переключился на другой аспект своих убеждений. Он вкратце описывал опыт, обретенный в крупных и небольших частных клиниках. По сути, он излагал ни много ни мало те убеждения, к которым в свое время пришел сам О'Мэлли и открывшие путь к более глубинным вещам. Насколько ирландец мог разобрать в своем, всё никак не проходившем возбуждении, доктор говорил о теории, что у человека есть некая текучая, или эфирная, часть, повинующаяся сильным желаниям, которая при определенных условиях могла отделяться — проецироваться — в форме, диктуемой этим желанием.

Доктор использовал свою терминологию, поэтому О'Мэлли лишь потом смог так сформулировать его мысли для себя. Шталь спокойно излагал, какие наблюдения в лечебницах и частной практике подтолкнули его к таким выводам.

— Я убедился, что в поразительно сложной человеческой личности есть некий компонент, —

продолжал он, — часть сознания, способная покидать тело на непродолжительное время, не вызывая смерти; что она иногда наблюдается другими людьми; что она может поддаваться мысленному и волевому воздействию, в особенности интенсивному неутоленному желанию, и что она даже способна приносить облегчение тому, частью которого является, субъективно удовлетворяя те самые глубинные желания, что вызвали ее появление.

— Доктор! Вы говорите об астрале?

— Я не знаю, как это можно назвать. По крайней мере, я не могу дать ей имени. Другими словами, эта часть сознания способна создать подходящие условия для такого удовлетворения — возможно, призрачные, напоминающие сон, но вполне реальные в момент восприятия. К примеру, такое состояние вызывается сильными переживаниями, что объясняет появления людей, находящихся на расстоянии, и сотни иных проявлений, истинность которых мои собственные исследования отклонений личности от нормы заставили меня признать. И ностальгия порой становится таким средством исхода, каналом, по которому все внутренние силы и сокровенные желания устремляются к своему осуществлению

в каком-либо человеке, месте или мечте.

Шталь отринул все условности и свободно говорил об убеждениях, редко находивших выражение. Это совершенно явно приносило ему облегчение — дать себе волю. В конце концов, в нем всё же жил настоящий поэт бок о бок с наблюдателем и аналитиком, что интересным образом раскрывало фундаментальное противоречие его натуры. О'Мэлли слушал, будто в полусне, не понимая, что общего имеют эти рассуждения с недавно упоминавшимся Живым Космосом.

— Более того, внешнее обличье этого эфирного Двойника, сформированное мыслью или страстным желанием, находится в непосредственной связи с этой мыслью или желанием. Сами формы, когда они обретаются, могут быть самыми разнообразными — весьма разнообразными. Их можно ощутить при ясновидении как эманацию, а не зримо видимое физическое тело, — продолжил он. А затем, пристально взглянув на собеседника, сказал: — А в вашем случае этот Двойник, как мне всегда казалось, способен намного легче отделиться от тела.

— Без сомнения, я творю свой собственный мир и легко погружаюсь в него отчасти, — пробормотал ирландец, которого разговор занимал всё

сильнее, — сны наяву и всё такое… до некоторой степени.

— Вот именно, в грезах — до некоторой степени, — подхватил Шталь, — но во сне, когда сознание впадает в транс, полностью! В этом и коренится опасность, — серьезно добавил он, — потому что тогда уже ничто не будет удерживать от возможности потери контроля в бодрствующем состоянии, а тогда наступит не столько расстройство, сбой, а уже переориентация, перенастройка, которую почти невозможно будет удержать под контролем рассудка. — Тут он сделал паузу. — Стоит выпасть из реальности в бодрствующем состоянии — наступит бред наяву. А это уже имеет название, пусть и не совсем корректное, с моей точки зрения, — безумие.

— Этого я не боюсь, — оскорбленно рассмеялся О'Мэлли от такого неверия в его силы. — Мне уж как-то пока удавалось с собой справиться.

Интересно, как успели перемениться роли. Теперь уже О'Мэлли выступал в виде критика.

— Тем не менее я советую быть осторожным, — последовал серьезный ответ.

— Лучше приберегите свои предостережения для медиумов, ясновидящих и другой подобной публики, — съязвил ирландец. Однако, говоря

это, он испытывал смутную тревогу. Наибольшую досаду вызывал поворот дела на личности. — Именно они склонны терять голову, как мне кажется.

Тут доктор Шталь поднялся со своего места и встал перед ним, словно ждал именно этих последних слов, предоставивших недостающий кусочек головоломки.

— Большинство самых ярких случаев и наблюдалось как раз у людей разряда медиумов, хотя я ни на секунду не относил вас к их числу. И всё же все мои «пациенты» без исключения демонстрировали свои особые свойства по одной и той же причине — из-за того особенного расстройства, которое я только что упомянул.

Некоторое время они мерили друг друга взглядами. Нравилось это О'Мэлли или нет, но доктор Шталь произвел внушительное впечатление своими речами. И теперь, глядя на его тщедушную фигуру, растрепанную бороду и лысый череп, отражавший свет от лампы, ирландец терялся в догадках, что будет теперь, к чему вело это признание необычных убеждений, столь смутившее его. Ему хотелось услышать больше о той Космической Жизни и о том, каким образом страстное желание могло помочь ей сделаться реальной.

— Ведь все сколько-нибудь достоверные феномены, происходившие на сеансах медиумов, — услышал он дальше, — возникали именно под воздействием той изменчивой, отделяемой части личности, о которой мы тут говорили. Она — проекция личности, автоматическая проекция сознания.

Вслед за чем, словно гром среди ясного неба, на смятенный ум О'Мэлли обрушился вызывающий вывод этого поразительного человека, недвусмысленно увязавший воедино все темы, которых они сегодня коснулись. Доктор с упором повторил.

— Таким же образом, — падали его слова, — великое сознание Земли проецировало вовне непосредственное выражение своей космической жизни — Космических Существ. И вполне возможно предположить, что некоторое число этих древних доисторических проявлений в тех редких местах, которые человечество не успело запятнать, могло сохраниться. Этот человек — одно из них.

И доктор зажег позади себя два электрических светильника, словно ставя точку в поразительной их беседе. После этого он заходил по каюте, поправляя стулья и стопки бумаг на столе. Вре-

мя от времени он бросал на приятеля быстрый взгляд, как бы проверяя воздействие своей атаки.

Ибо именно так О'Мэлли воспринял произошедшее. Этот бешеный поток неортодоксальных идей, изложенных без особой последовательности, был выплеснут на него явно с какой-то целью. А неожиданная кульминация и резко оборванный финал продуманы заранее, чтобы подтолкнуть его к горячему признанию.

Но слова бежали от О'Мэлли. Он сидел в кресле, запустив пальцы во взъерошенные волосы. Внутреннее смятение пересиливало любые слова, не давало даже сформулировать никакого вопроса, и вот, когда за дверью каюты громко раздался удар гонга, призывавший к ужину, ирландец резко встал и без единого звука вышел. Шталь проводил его взглядом и, слегка улыбнувшись, удовлетворенно кивнул.

Но О'Мэлли направился не к себе в каюту. Какое-то время он побродил по палубе, а когда добрался до столовой, то увидел, что Шталь уже успел поужинать и ушел. На противоположном конце стола, наискосок от него, сидел русский великан, который время от времени поднимал на него глаза и улыбался, отчего у ирландца ста-

новилось одновременно тревожно на сердце и настолько маняще, словно его ожидало величайшее из чудес света. Вновь открылись врата жизни. Оковы, сдерживавшие его сердце, лопнули. Он вырвался из тюрьмы мелкой индивидуальности. Столь угнетавший его мир померк. Люди превратились в марионеток. Торговец мехами, священник-армянин, туристы и все прочие стали лишь механическими куклами, выполненными в одном — мелком и незначительном — масштабе, на удивление скучные, неотличимые друг от друга, ненастоящие, лишь наполовину живые.

А корабль тем временем, отметил он с почти страстной радостью, шел по синему морю, которое покрывало вздымающуюся грудь круглой и вращающейся Земли. И он, и русский великан тоже лежали у нее на груди, прижимаемые так называемой силой притяжения, но помимо нее иной силой. И с этим пониманием его неутолимый голод лишь возрос. Вольно или невольно откровения Шталя утроили его.

XI

В терминах науки можно сказать так: сознание разлито повсюду, оно просыпается там и тогда, когда телесная энергия, подлежащая духовной, превосходит определенную степень силы, называемую нами порогом. Таким образом, сознание можно локализовать во времени и пространстве.

Фехнер. «Книжечка о жизни после смерти» [27]

Тем не менее предложение доктором места в его каюте оставалось открытым. Оставшись один — а ему явно требовалось побыть одному этим вечером, — О'Мэлли некоторое время уделил обдумыванию этого предложения, хотя и сознавал, что не сможет его принять.

Как у истинного кельта, воображение О'Мэлли насытило массу слов Шталя собственным живым темпераментом. В глубине души шевельнулась

---

[27] Примечания: 27

Густав Теодор Фехнер (1801–1887), немецкий психолог и философ. Сочинение «Книжечка о жизни после смерти» *(Buchlein vom Leben nach dem Tode)* опубликовано в 1836 г.

безымянная, беспокойная радость, незамедлительно сотворившая себе Тело из материала, почерпнутого за пределами мыслей — в той безграничной эмпирической области, что всегда наготове у человека с богатым воображением. Получившуюся картину он воспринял внутренним зрением, одел в собственные мысли, восхитился и конечно же очень скоро придал еще больший масштаб. Если возникала некая тень критики, то лишь в виде фраз типа: «Надо же, а приятель-то просто поэт! Да у него живейшее воображение!» Получить вдруг ободрение, даже почти объяснение своим интуитивным догадкам со стороны человека с умом иного склада было внове. И удивительно укрепляло реальность внутреннего мира, в котором он жил.

Объяснение воздействия русского великана на него было просто великолепным, а то, что оно исходило из уст ученого, особенно замечательным. То, что некая часть человеческого духа могла обретать мысленную форму и проецироваться вовне, становясь видимой, представлялось вполне возможным. Собственно, для него это представление даже перешло уже в разряд «фактов» благодаря его темпераменту и уже не занимало воображение. Но вот второе предпо-

ложение поразило его своим особым величием. И теперь он любовно поворачивал его то так, то этак.

Представление о Земле как о живом организме было просто божественно по охвату и по простоте, а мысль, что сами боги и мифические образы — проекция ее сознания, величественно гремела у него в мозгу, не смолкая. Всепобеждающая, небесно прекрасная и столь же благосклонная. Он видел формы и фигуры, запечатленные в древних легендах, живыми, в прекрасных первозданных садах, в затерянном уголке мира, который человечеству еще не удалось запятнать уродством. Наконец он совершенно по-новому осознал сущность своих глубинных устремлений, прежде тщетно пробивавшихся к его сознанию. Значит, он был так близок Земле, что ощущал биение ее пульса как свой собственный. Мысль потрясла его до основания.

Все эти годы сама Душа Земли взывала к нему.

Дозволяя душе купаться в парящей красоте такой идеи, Теренс не забывал и о череде странных фактов. Он мысленно выстроил их перед собой, чтобы рассмотреть пристальнее: увиденная сквозь капитанский бинокль картина прекрасных фигур, уносившихся вдаль; пробужденный

в нем присутствием русского новый лик живой Природы; отрывистая речь, прозвучавшая из уст нового друга, когда они стояли в сумерках, глядя на море; вспыхнувшая в глазах того надежда, зажженная случайно прозвучавшими за обеденным столом словами, И, наконец, особое впечатление громадных размеров, производимое им, как если бы некая часть него, та отделяемая часть, сформированная духовным представлением о своей сущности, становилась видимой.

Так постепенно О'Мэлли начинало становиться понятнее, сколь неизбежно было одиночество этих двоих, что заставляло других людей избегать их компании. Казалось, они перемещались в некоем особом пространстве, где отец неуклюже, а мальчик — с вызовом, шествовали, и их отстраненное величие не подпускало к себе прочих.

Той же ночью на подходе к островам Липари[28] целая последовательность чрезвычайных событий подтолкнула ирландца двигаться туда, куда направили его речи доктора. В то же время намеренное и, как ему казалось, неоправданное вмешательство Шталя помогло ему определиться

[28] Примечания: 28

Острова Липари, или Эолийские острова, — группа вулканических островов у северного побережья Сицилии, самый известный из которых — Стромболи с действующим вулканом.

по ряду других моментов.

Первое «событие» было из того же разряда, что и «огромность», то есть его весьма нелегко было подвергнуть физическому определению.

К тому времени было уже часов десять вечера, доктор Шталь, скорее всего, находился у себя в каюте, а большинство пассажиров — на импровизированном концерте в кают-компании, когда ирландец, покинув наконец свое уединение, решил тоже спуститься вниз, но заприметил на корме русского с мальчиком, двигавшихся так быстро, что именно энергичность и скорость привлекли его внимание. Никогда прежде впечатление огромной величины и скорости перемещения не были столь выражены. Словно рядом пронеслось облако летней ночной тьмы.

Когда же он осторожно приблизился, то обнаружил, что они вовсе никуда не шли и тем более не бежали, как ему вначале показалось, а вовсе стояли бок о бок на палубе совершенно неподвижно. Однако впечатление движения не было полным обманом глаз, потому что, приглядевшись, он заметил, что, хотя сами они и стояли на месте, как мачта и спасательные шлюпки за ними, вокруг них витало и металось нечто похожее на тень, лишь приблизительно повторявшее их

очертания, но значительно большего размера. Оно то заслоняло их, то отстранялось. Сильнее всего это напоминало пляску клубов дыма вокруг темных статуй.

Насколько он мог сфокусировать взгляд на этих «тенях», отбрасываемых без какого бы то ни было света, те извивались и пульсировали над палубой в ритме… какого-то скачущего танца.

Как и в первый раз, когда он заметил их «огромность», О'Мэлли разглядел всё это боковым зрением.

Взглянув же прямо, он увидел лишь неподвижно стоящие две фигуры у парапета.

Так бывает: зайдешь в пустую комнату ночью — и точно знаешь, что все вещи замерли за секунду до твоего появления. Твое прибытие положило конец их активной деятельности, и стоит выйти — она возобновится. Стулья, столы, шкафы, даже рисунок на обоях только что разлетелись по своим обычным местам, где с нетерпением дожидаются, пока ты наконец выйдешь за дверь со своей свечой.

На этот раз О'Мэлли со своей свечой застал не в комнате, а на палубе, только не вещи, а двоих людей. И эти скачки теней, этот Танец Эманаций, огромных, но грациозных, напомнил ему Ветры,

летящие без преград над холмами, или Облака, величаво проплывающие через голубые танцзалы небес, повинуясь первозданным ритмам. Гигантские образы в его сознании были неясны, но величественны. Вновь ему вспомнились виденные через бинокль капитана фигуры. И теперь в его душе вздымалось то, что он называл «неукротимым желанием кинуться к ним», и даже больше — уверенность, что он должен был по праву быть с ними с самого начала и танцевать вместе, отдавшись тому естественному, инстинктивному и ритмичному движению, которое он отчего-то позабыл.

Эмоция, видимо, одержала над ним верх, и он сделал шаг вперед, в горле уже зарождался призыв, и в следующую секунду он бы уже плясал вместе с новыми друзьями на палубе, но тут кто-то схватил его сзади за руку. Кто-то удержал его. А в ухо гортанно зашептали по-немецки.

Явно возбужденный, за ним на корточках сидел доктор Шталь, который теперь немного потянул его вперед.

— Осторожно, не упадите! — шепнул он; их каучуковые подошвы скользили по влажной палубе. — Отсюда мы всё увидим, ведь так? Наконец увидим своими глазами! — Он продолжал что-то

шептать дальше.

Вспыхнувший было гнев О'Мэлли улегся. Нельзя было дать ему выход, не производя шума, а он сильнее всего на свете сейчас хотел именно увидеть. Осталось лишь некое недоумение — интересно, как давно Шталь тут наблюдает?

Они спрятались за корпусом шлюпки. Контуры корабля поднимались и опускались на фоне звездного неба: мачты, рангоут, такелаж. Слабый свет исходил от нактоуза, где под стеклом находился компас. Штурвал за ним и бухты свернутых канатов тоже поднимались и опускались вместе с судном, виднеясь на фоне то звезд, то фосфоресцирующего за кормой пенного следа, словно кружево развернувшегося за пароходом. Но человеческие фигуры теперь ровным счетом ничего не делали, даже не ходили теперь по палубе; и никакими особыми размерами не отличались. Отец с сыном спокойно стояли рядом, опираясь на поручни, не виновные ни в чем более предосудительном, нежели разглядывание морских просторов. Как мебель в пустой комнате — успели замереть!

Несколько минут доктор с ирландцем выжидали, не шевелясь, в полной тишине. Иных звуков, кроме глухого шума винтов и посвиста ветра от

хода корабля в снастях, не доносилось. Все пассажиры находились на нижних палубах. Вдруг оттуда донесся взрыв музыки — видимо, кто-то приоткрыл иллюминатор в кают-компании и так же быстро закрыл: мужской голос тенором выводил какую-то сентиментальную песенку под фортепьяно. На фоне моря и неба эти звуки вызвали почти физическую боль — словно шарманка в греческом храме, подумалось О'Мэлли.

В ту же секунду отец с сыном сдвинулись с места, словно звуки спугнули их, и медленно пошли по палубе дальше, в темноту, а доктор Шталь с такой силой сжал руку ирландца, что тот едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. Но перед тем как они двинулись, их высветил луч из открывшегося иллюминатора. Было совершенно явственно видно, что они стояли, перегнувшись через перила, сдвинув головы, подавшись плечами и туловищем вниз.

— Господи, глядите! — хрипло шепнул Шталь, когда они отошли. — Там третий!

Он показал рукой. Там, где только что стояли отец с сыном, действительно осталось что-то еще. Заслоненная прежде их корпусами, третья фигура теперь вырисовывалась яснее — очень крупная. Она задвигалась. Начала перелезать или

каким-то иным образом преодолевать перила, нависнув наполовину над волнами. Двигалась она свободно, чуть раскачиваясь, вполне ловко, но очень большая.

— Теперь скорее! — зашептал доктор возбужденно, уже по-английски. — На этот раз я уж точно узнаю!

Он рванулся было вперед с электрическим фонариком в руке, но яростно обернулся, когда почувствовал, что О'Мэлли крепко держит его. Последовала безобразная борьба, длившаяся целую минуту; в молодом человеке инстинктивно вспыхнуло желание защитить члена своего племени от обнаружения, а то и от поимки и уничтожения.

Попытки Шталя вырваться не увенчались успехом, поскольку более молодой противник явно превосходил его в силе, какими немецкими проклятиями он ни осыпал его; незажженный фонарик выпал из его руки и покатился по палубе, скользя от небольшой качки к левому борту. Но даже в пылу схватки глаза О'Мэлли ни на секунду не отрывались от того места, где он заметил то движение и фигуру, и, когда светлый фальшборт качнулся вниз, контрастно выделившись на фоне темного моря, ирландцу показалось, что

она быстро прыгнула в волны. Когда же корабль выправился, поручни были свободны.

Доктор Шталь поднял фонарик и склонился над какой-то отметиной на палубе, изучая широкую мокрую полосу в его луче. Чувство антагонизма между мужчинами было слишком сильно, не позволяя заговорить. О'Мэлли испытывал некоторую неловкость перед приятелем, однако не сомневался, что в другой раз поступил бы так же, ибо действовал инстинктивно. С этой минуты он до смерти будет противиться любому пристальному изучению, поскольку в круг изучаемых теперь попадал и он сам.

Наконец доктор поднял глаза. Они ярко сверкали в свете фонарика, но речь доктора была спокойна, словно он ставил диагноз:

— Слишком много воды, это усложняет задачу обнаружения следов. — Он осмотрелся, поводя по сторонам фонариком. Двоих, за которыми они следили, нигде не видно. Они были одни. — Оно постоянно находилось за поручнями и на палубу до конца не перебиралось. — Шталь снова наклонился над мокрой полосой. Словно волна перехлестнула через борт и оставила пенный след. — Ничто не указывает на его точную природу. — В шепоте, которым он сказал последние

слова, сквозила смесь досады и благоговения. Еще раз посветив фонариком во все стороны, он продолжил: — Оно пришло к ним из… э-э… моря, это можно сказать точно, да, именно так. Это, по крайней мере, установлено.

По-видимому, так он себя успокаивал.

— И вернулось в море! — с восторгом воскликнул О'Мэлли, будто сообщая о собственном побеге.

Теперь мужчины стояли друг напротив друга. На лице доктора Шталя не отражалось ни следа досады, он смотрел прямо в глаза. Потом положил фонарик в карман. Когда же наконец он заговорил в ночном мраке, то совсем не о том, о чем ожидал ирландец. Под воздействием слов доктора всё возбуждение улеглось Теперь О'Мэлли даже было неловко за проявленное насилие.

— Конечно же я прощаю вам ваше поведение, — говорил Шталь, — поскольку оно вполне подтверждает, можно сказать, блестяще подтверждает мою гипотезу, и тем ценно. Однако, я всё же настоятельно рекомендую вам снова, — он подошел ближе, и его слова звучали почти торжественно, — принять мое предложение занять койку в моей каюте. Примите его, мой друг, примите сегодня же.

— Для того чтобы вы могли наблюдать вблизи?

— Нет, — последовал сочувственный ответ, — оттого что вы подвергаетесь опасности, особенно во сне.

Чуть помедлив, О'Мэлли вежливо, почти церемонно ответил:

— Вы очень добры, доктор Шталь, но я не боюсь, поэтому не вижу причины менять свое решение.

А поскольку теперь уже поздно, — заговорил он чуть быстрее, чтобы его не перебили и не стали переубеждать, — то позвольте сейчас же откланяться и отправиться к себе.

Доктор Шталь промолчал. О'Мэлли был уверен, что он провожал его взглядом до лестницы возле кают-компании, потом снова достал из кармана фонарик и склонился над мокрым следом на палубе. Скорее всего, он изучал его еще долго.

Но, спускаясь вниз по жаркой и душной лестнице, О'Мэлли осознал с растущим в душе восторгом, что тот «третий» намного превосходил великолепием маленькие фигурки людей и что он сам сродни этому великолепию. Связь со Вселенной установилась на подсознательном уровне, закрепилась и настроилась. От Природы, дышащей в ночи вокруг, к нему и незнакомцам прибыл прекрасный и могучий посланник. Наконец

Природа осознала его существование на своем древнем лике. С этой минуты любое явление Прекрасного поведет его прямиком к источнику Красоты. Никакого посредника не потребуется, даже искусства. Врата открываются. И он уже успел бросить один взгляд внутрь.

XII

Добравшись к себе в каюту, он к некоторому удивлению обнаружил, что новые соседи уже отошли ко сну. Занавеси на верхней койке были задернуты, а мальчик уже спал на диване под открытым иллюминатором. Постояв в тесном пространстве рядом с ними обоими, О'Мэлли почувствовал, что начинается новая стадия его жизни. Уверенность эта поднималась изнутри, как теплое сияние. Теперь он уже весь дрожал, не просто от возбуждения, а под воздействием прилива неудержимого восторга. Его прежняя мелкая личность не в силах была вместить такие чувства. Она требовала расширения, которое уже началось. Границы его личности раздвигались.

Словами он описать этого не мог. Лишь знал, что терзавшие его долгие годы желания теперь улеглись. Утихли муки неутолимого голода, терзавшие его на протяжении всей жизни, — того ненасытного голода по красоте и чистоте первозданности, прежде чем людские толпы не запятнали мир своими склоками и тяжбами, не нарушили покой громкими воплями. Великоле-

пие этого мира теперь сияло внутри него.

Важно было и то, как он описывал это себе. Он прибегал к аналогии с детством. Его обуяло щемящее чувство, заставляющее мальчишек убегать на край света. Он вновь испытал волнения тех минувших дней, когда «воля мальчишки — что ветер»[29], когда весь мир сладко благоухает и сияет, как летний день, а деревенская улица уходит прямо в небо…

Именно таковы были чувства, дающие намек на истинную причину неугасимо горевшего в его сердце стремления к существованию наедине с Природой. Но Зов, который он слышал, был зовом не только его юности, но юности всего мира. Настрой сознания Земли — некое великанское выражение ее космического переживания — захватил его. А русский великан служил каналом передачи и переводчиком.

Прежде чем лечь, О'Мэлли осторожно заглянул через щелку, чуть отведя занавеску на верхней койке. Занимавший ее новый сосед спал, похо-

---

[29] Примечания: 29

Строки из стихотворения «Моя утраченная юность» *(My Lost Youth,* 1855) американского поэта-романтика Генри Лонгфелло (1807–1882):
And a verse of a Lapland song
Is haunting my memory still
„A boy's will is the wind's will,
And the thoughts of youth are long, long thoughts".

жие на гриву волосы покрывали всю подушку, а по крупному добродушному лицу растекалось выражение покоя, которое становилось всё более глубоким и постоянным по мере приближения парохода к месту назначения. Больше минуты О'Мэлли не мог отвести глаз от этого лица. Тогда спящий, видимо, почувствовал его взгляд, его веки дрогнули и открылись. Большие карие глаза глянули прямо на ирландца. Не успев вовремя отвести взгляд, тот теперь застыл как пригвожденный. Кротость и притягательность взгляда проникли ему в самое сердце, до краев наполнив его тем, что ведомо было этому человеку, насыщая истощенный внутренним голодом организм.

— Я пытался… предотвратить… вмешательство, — заикаясь, чуть слышно, бормотал О'Мэлли. — Я удержал его. Вы видели меня?

Огромная рука протянулась с кровати, останавливая его. Ирландец импульсивно ухватился за нее. Едва коснувшись этой руки, он вздрогнув, испугавшись. Но она была так напитана чудесной мощью. Словно порыв ветра или морская волна.

— Посланник… приходил, — пророкотал незнакомец, с трудом произнося слова, — из… моря.

— Да, да… из моря, — повторил едва слышно

О’Мэлли, хотя ему хотелось закричать или даже пропеть это. — Я… понимаю, — сказал он шепотом, заметив, что и сам говорит с трудом, спотыкаясь на каждом слове.

Казалось, язык, на котором они должны были бы общаться, позабыт или еще не родился. Но если новый друг не обладал даром красноречия, то сам он ощущал себя вдруг отупевшим. Все эти современные слова были столь неточными и неподходящими. Современная речь годилась лишь для современных же вещей.

Великан наполовину приподнялся на кровати, будто собираясь спрыгнуть с нее. На секунду он накрыл руки ирландца второй ладонью, но вдруг убрал ее, указав на другую часть каюты. По лицу расплылась счастливая улыбка. О’Мэлли обернулся. Там лежал, разметавшись во сне, мальчик; ветерок из иллюминатора обвевал его обнаженную грудь, а на лице сияло то же покойное выражение, что и у отца, вся тревога исчезла, его дух был свободен во сне. Отец показал сначала на мальчика, потом на себя, а затем на нового друга, стоящего возле койки. Жест, включивший всех троих в свой круг, обладал особой властью — он содержал одновременно приглашение, приветствие и повеление. Более того, необъяснимым

образом жест этот вышел царственным. В голове у О'Мэлли на секунду возник образ крепкой дубовой ветви, покачивающейся на ветру.

Затем, прижав палец к губам, еще раз обведя взглядом О'Мэлли с мальчиком, он снова опустился на узкую койку, с трудом вмещавшую его, и закрыл глаза. Волосы снова легли на подушку, их пряди смешались с бородой, достигая плеч. И вместе с ним опустилось отдыхать что-то огромное и величественное, вновь напомнив о впечатлении массивности. Из глубины его горла вырвался какой-то неопределенный звук, не похожий ни на какое слово, но выразительнее многих речей; великан повернулся под одеялом, которое на нем казалось жалким лоскутком, задернул занавеску и вновь погрузился в мир снов.

XIII

Может так случиться, что тело Земли в одном из отношений уснет настолько крепко, что позволит ему в других отношениях пробудиться полнее, превзойдя обычные пределы, и вместе с тем не настолько глубоко, чтобы не пробудиться вовсе. Либо субъективно возникнет яркая вспышка, приносящая земному чувству впечатление с расстояния, обычно недостижимого до преодоления некоего порога. Тут начинаются чудеса ясновидения, предчувствий и предзнаменований в снах – сущие выдумки, если будущее тело и будущая жизнь есть выдумка, а если нет, то знаки одного и предсказание второй; но имеющее знаки существует, а обладающее предсказаниями придет.

Фехнер. «Книжечка о жизни после смерти»

О'Мэлли лег на койку, не раздеваясь, но сон бежал от его глаз. Он уже слышал, как Роговые

Врата и Врата Слоновой Кости[30] поворачиваются на своих петлях, но уголок увиденного за ними сада сделал саму мысль о сне теперь невозможной. Он вновь видел те облачные формы, бегущие с ветром наперегонки по длинным холмам, а то имя, которыми их можно было бы назвать, неизъяснимо прекрасное, тоже стремилось по таинственным переходам его существа возникнуть, проявиться, но никак не давалось.

Может быть, он даже был рад, что откровение вышло неполным. Размеры открывающихся видений несколько пугали его, и теперь он лежал без сна, размышляя о том, что означает полная покорность руководству другой души, которой он доверился.

Предостережения Шталя давно с хохотом разбежались. Ему даже пришло в голову, не играл ли с ним Шталь, ведь, возможно, он намеренно употребил те знаменательные слова, которые неминуемо должны были обострить его вообра-

---

[30] Примечания: 30

Вергилий. «Энеида», VI:

Двое ворот открыты для снов: одни – роговые,
В них вылетают легко правдивые только виденья;
Белые створы других изукрашены костью слоновой,
Маны, однако, из них только лживые сны высылают.

Перевод С. А. Ошерова

жение и тем помочь доктору изучить необычный «случай» в крайнем проявлении. Но он подумал об этом лишь мельком.

Как бы то ни было, теперь уже поздно нажимать на тормоза. Он внутренне был готов идти до конца, к чему бы это ни привело. И радовался этому. Он уже забрался на маятник, который уносил его в невероятно далекое прошлое, но своим обратным ходом маятник должен был вернуть его обратно. Пока же Теренс стремительно несся в то безымянное пристанище свободы, отыскать которое всегда жаждала примитивная часть его души, туда, где он наконец сможет утолить свой голод. А снаружи жизнь уже прекрасно преобразилась. Теперь уже не стальные моторы, но стремительное чувство прекрасного влекло корабль по морю на крыльях синей тьмы. Вместе с ними по небу летели звезды, спустив золотые поводья, чтобы еще ускорить полет — в душе! — к тем незапамятным дням, когда мир был еще юн. Ирландец распространил жар своей молодой души на всю жизнь, достигнув наконец и того далекого-далекого мира. И тогда он ступил туда, и душа мира ступила туда вместе с ним.

Он лежал, прислушиваясь к звукам корабля — постукиванию машины, отдаленному шуму

винтов под водой. Время от времени по коридору проходили стюарды, с палубы над головой доносились шаги припозднившегося пассажира. Иногда раздавались голоса или хлопала дверь чьей-то каюты. Пару раз ему показалось, что кто-то крадучись подходил к двери и замирал возле нее, но проверять он не стал, поскольку оба раза звуки естественным образом снова вливались в общую мелодию корабельных шумов.

И всё питало единственную мысль, не отпускавшую его. К примеру, все эти внешние звуки не имели никакой связи с основной целью парохода, которая была связана с невидимыми винтами и двигателем, работавшими безостановочно, чтобы привести корабль в порт. Так же и у него, и у спящих его соседей по каюте. Их неизбежно сблизили невидимые двигатели, работающие в подсознании. Интересно, как долго дух этого одинокого, чуждого всем вокруг «существа» посылал послания в пустоту, где ни одна станция не была настроена на его частоту? Сила, накопившаяся в его спутниках, была велика, исходящие от них потоки огромны. Разве не предстали они перед ним в ту же секунду, как он поднялся на борт, вызвав симпатию с первого взгляда?

Неукротимые стремления, всегда пробуждав-

шиеся в нем в бурю, когда он шел по лесу либо попадал в безлюдные места, наконец должны были найти удовлетворение — в некоем «состоянии», где всё, что они собой представляли, должно было получить объяснение и отдачу. А где обнаружится это «состояние» — на земной ли тверди, в объективном мире либо в текучих глубинах внутреннего «я», мире субъективном, — совершенно несущественно. Главное, что оно будет истинным. Крепко спящий на верхней койке великан нес в себе выход подземных струй, соединявших не только с Грецией, но с областями, далекими от этой зачарованной земли, с тем состоянием, которое в легендах Древнего мира символизировались Раем или Золотым Веком…

«Вы в опасности, особенно во сне!» — шептал мудрый доктор. Но ведь сейчас Теренс не спал. Он лежал и думал, думал, думал, постепенно выстраивая путь, по которому готово будет устремиться его страстное желание.

По мере продвижения ночи, когда все незначительные шумы успокоились, оставив лишь фон разговора корабля с морем, он ощутил, что в каюте начали происходить изменения — сначала едва заметные, а потом всё быстрее. Ее бесшумно наводняла волна Красоты. Не в силах описать

точнее, О'Мэлли определил, что она распространялась от спящей фигуры вверху и, в меньшей степени, от мальчика, лежавшего на диване. Чем глубже они погружались в сон, тем в большей мере исходило от них то, что порой на палубе возникало по волевому импульсу. Освобожденный во сне от оков, их дух изливался наружу. В бессознательном состоянии начинала действовать их жизненная сущность.

Нарастая вокруг, эта волна вскоре мягко поглотила его, одев внутреннюю его сущность в оболочку красоты. В самой сокровенной его сути ожили дремлющие парапсихические силы, словно невидимые пальцы играли на нем как на музыкальном инструменте. И силы — звуки, которых никто не слышал, потому что не знал прежде, как вызвать их к жизни, — помогали взмыть ввысь. Затем стало казаться, что в побеленных стенах маленькой каюты снуют некие формы более интенсивной жизни, занятые его трансформацией. В нем шла быстрая и сложная перемена. О'Мэлли описал ее как безмолвный Вызов Духа, которому невозможно противиться.

Ни один из его органов чувств не подвергся непосредственному воздействию: в обычном смысле слова он ничего из ряда вон не видел

и не слышал, но казалось, вот-вот все вместе они пробудятся и передадут сознанию что-то потрясающее. В самом грубом приближении он чувствовал, будто раздается вширь, отчего боялся посмотреть на себя в зеркало, страшась найти там подтверждение испытываемому чувству, увидеть, что расширился не только внутренне, но и внешне.

Долгое время он так лежал, не оказывая никакого сопротивления, позволяя потокам субъективной бури омывать его. Ощущение завораживающей красоты и восторга усилилось. Внешний мир стал казаться далеким и тривиальным, пассажиры — ненастоящими: все — священник, велеречивый купец, жизнерадостный капитан — вращались, как неживые предметы, где-то на периферии, а он продвигался к Центру. Шталь! Мысль о докторе Штале вторглась как некая помеха, ведь он хотел остановить, помешать. Но постепенно и доктора Шталя унесло, словно опавший лист порывом ветра…

Затем подключился один из внешних органов чувств — он услышал нечто. С верхней койки донесся слабый звук, заставивший замереть его сердце, хотя и не от обычного страха. Он вслушался. Кровь запульсировала в ушах, и ее шум

поначалу мешал разобраться. Звук доносился издалека, затем стал чуть ближе — так ветер навевает звук колокола в горах, а затем относит прочь. Пробежав по горам и долам, он вновь возвращается, теперь чуть ближе, чуть громче. И вместе с ним возвращается ощущение прекрасного, распирающее сердце и поднимающее его до той степени, которая когда-то была привычна, но давно позабыта…

На диване заворочался во сне мальчик.

«О, только бы попасть к нему туда, где он сейчас! — воскликнул ирландец. — В край вечной юности и вечной дружбы!» Возглас был совершенно инстинктивным; и всё его существо сконцентрировалось в этом стремлении, подталкивало его и подгоняло. Тот край, дружба, юность — всё это окажется беспредельным, вечно питающим, вдали от современного мира, который держал его взаперти…

И тут непрошеное лицо Шталя вновь мелькнуло перед его умственным взором, отвлекая и мешая. С усилием он отогнал видение, потому что оно несло с собой более мелкое понимание, содержащее страх.

«Будь он проклят!» — промчалась в сознании гневная мысль, и ее яростность словно разбила

некий стеклянный многоцветный шар, фокусировавший его внутреннее жаждущее зрение. Звук всё еще продолжал раздаваться. Но его призывная сила ослабела. Мысль о Штале в его критической ипостаси приглушила призыв.

Взглянув на матовую лампочку над дверью, О ’ Мэлли смутно почувствовал, что будет видеть и слышать лучше, больше понимать, если выключит ее; и именно это практическое соображение, косвенно вызванное мыслью о Штале, впервые помогло ему понять, что на самом деле скован страхом. Для того, чтобы покинуть относительную безопасность своей койки и ступить в центр каюты, где, как он точно знал, вились невидимые энергии, требовалось усилие воли. Стоит поддаться — и его унесет прочь от всего, что он знал, от него самого. А Шталь своими трусливыми речами посеял сомнения в его готовой раскрыться душе. Без него он, возможно, смог бы уже добраться до тех синеющих вдали холмов, где танцевали облачные фигуры и пели…

Пели! Вот в чем дело! Доносившиеся до него звуки были пением — негромким пением, раздававшимся поблизости. Это великан напевал во сне.

Столь обыденное объяснение «чудесного звука»

вернуло его на землю и придало смелости. Он осторожно спустил ноги с кровати, отодвинул занавеску, придерживая рукой, чтобы кольца не звякнули о медный стержень, и медленно поднялся на ноги. И затем через щель в верхней занавеске увидел… Губы спящего великана чуть шевелились, и борода вместе с ними, а те едва слышные рулады, которые, как ему казалось, доносились издалека, оказывается, сладостно выводились у него над головой. Поразительнее всего, что звуки лились. Легко, естественно, почти сами собой продолжали они негромко литься, и ирландец понял, почему принял их за эхо от дальних холмов. Образ был совершенно точным. Их невозможно было отличить от легкого посвиста ветра, когда он дует сквозь замочную скважину или в печной трубе или же шевелит траву на склоне. Часто случалось слышать, как ветер огибал скалы, так посвистывая, без определенного тона, но словно ища чего-то. Он тоже, казалось, намекал на некую тайну, смутное величие, лежащее глубже, чем мог проникнуть любой человеческий звук. Ужас великой свободы охватил О'Мэлли, столь далекой от его мелкого современного существования. Этот звук вызывал в нем благоговейное чувство, являя собой то пер-

возданное выражение, что существовало прежде речи или возникновения языка, когда эмоции были слишком неопределенны и могучи, чтобы улечься в отрывистые слова, а существа, близкие к сердцу великой Матери, стремились выразить эти несложные чувства большей жизни, которую они разделяли с ней как ее проекция.

Тут вдруг его осенило — ведь это не его мысли! Натиск непривычных чувств переборол рассудок своим великолепием. Его уже увлекало и уносило, само ощущение индивидуальности было под угрозой, он почти полностью сдался.

Стоило сейчас глазам спящего открыться, и он безвозвратно бы перешел туда, где находились эти двое. Тесное пространство маленькой каюты уже было до предела заряжено, переполнено притягательностью диких и простых вещей: красотой звезд, ветров и цветов, ужасом морей и гор, странными сияющими фигурами богов и героев, нимф, фавнов и сатиров, яростным сиянием неиспорченного Золотого Века, нетронутого края, теперь настолько позабытого, что само его существование отрицается, — словом, тем великолепным миром, которого все эти годы он тщетно старался достичь и перед лицом которого жизнь сегодняшнего дня казалась страшным

сном.

Прамир звал его к себе…

С огромным внутренним усилием он оторвал взгляд от век великана, которые, к счастью, не открылись. В ту же минуту, хотя он их прежде не слышал, чьи-то шаги остановились перед дверью каюты, и ручка двери начала поворачиваться. Движение на верхней койке и на диване у него за спиной показало, что он очнулся как раз вовремя. Видение, которое он еще страшился признать, приближалось к своей кульминации.

Теренс быстро отвернулся, скинул крючок и выскользнул в коридор, испытывая непонятную слабость. Движение за спиной стало энергичнее, отец с сыном уже были на ногах. Одновременно «пение» переросло в приглушенный хор, словно ветры, которым не преграждали путь стены городов и других человеческих жилищ, неслись вскачь по широким долинам, царственно перекатываясь вдали, божественно свободные. О, что за поразительная поступь жизни в открытом мире! Золотящемся на ветру! Просторном! Мире Космической жизни!

О'Мэлли задрожал, услышав ее поступь. На секунду выхваченная внутренним огнем, истинная порода взяла в нем верх. Почти — еще чуть-чуть,

и он повернет назад.

И тут ирландец заметил в тусклом свете припавшую к стене его каюты фигуру Шталя, который, сидя на корточках, прислушивался к звукам, что доносились оттуда. Контраст вызвал почти непереносимую боль. Словно после органных аккордов вдруг раздалось дребезжание пустых консервных банок. О'Мэлли моментально понял, что за сила удерживала его всё это время: скептицизм Шталя, его страх.

— Вы! — воскликнул он шепотом, но почти в голос. — Что вы тут делаете?

Он с трудом помнил, что тогда говорил. Доктор выпрямился и на цыпочках подошел к нему. Движения его были поспешны.

— Пойдемте отсюда, — настойчиво и торопливо заговорил он. — Ко мне в каюту, на палубу, куда угодно, только пойдемте, пока не поздно.

Доктор весь побелел, а голос его дрожал. И рука, ухватившая О'Мэлли за рукав, тоже дрожала.

Они быстро направились по пустому коридору к лестнице. Ирландец не сопротивлялся, двигаясь как во сне. В ноздрях его витал слабый запах — немного терпкий и пряный, как от разгоряченного коня. Ветер на палубе придал бодрости. С удивлением О'Мэлли заметил, что небо на во-

стоке уже начало светлеть. Значит, там, в каюте, часы спрессовались в минуты.

Пароход уже зашел в Мессинский пролив. Справа смутно проступали конусы Этны, посылавшей привет курящемуся на Эолийских островах брату Стромболи. А слева, над синевой Ионического моря, разливался нежный безоблачный рассвет.

Волшебный час вновь захватил и потряс его. Где-то за этими голубыми волнами лежало то, чего он так страстно желал. Внизу, в душной каюте, сейчас плескалась сама суть очарования столь притягательных для него вещей. И по сию пору уставший мир каждое утро на рассвете вновь вспоминает сияние юности. С трепетом священного восторга ирландец ощутил, что нужно вырваться и полететь навстречу восходу и морю. Устремления его тысячекратно усилились, они должны были осуществиться, отсрочка не могла длиться долго.

По скользким от росы палубам они добрались до каюты доктора, где О'Мэлли бросился на широкий диван — спать! Усталость свалила его, и сон пришел сразу же, а пока он спал, Шталь сидел рядом, укрыв приятеля толстым одеялом.

XIV

Самым глубинным желаниям, инстинктам, стремлениям духовного человека отвечает приятное представление, что восторг духа должен находить отражение во внешнем мире, что в умственном единении с Богом мы должны обрести и ощутимое единение с природой, а когда верующие соборно радуются, то птицы и звери, холмы и леса должны не просто присутствовать при этом, но зримо радоваться вместе с ними. На самом деле это не так. Какие бы ни существовали связи между нами и нашим окружением, именно этого недостает. Но жажда обрести такой отклик, то страстное желание, заставившее Вордсворта воззвать к чему угодно, хоть к языческому воображению, лишь бы ощутить себя «менее покинутым», вполне естественны, поэтому так велико искушение принять приятную выдумку об отклике природы. И нет лучшего повода для союза духовного с предрассудками, чем повседневное отчаяние искателей истины.

Доктор Верролл

Хотя О'Мэлли проспал несколько часов, доктор не отходил от него ни на минуту, сидя рядом с карандашом и блокнотом наготове, чтобы точно записать те слова, что срывались время от времени с губ ирландца, правда безрезультатно. Лицо доктора горело от интереса, похожего на нездоровое возбуждение. Даже рука, державшая карандаш, дрожала. Так мог бы вести себя человек, столкнувшийся наконец с подтверждением великой теории, выведенной исключительно умозрительным способом.

К полудню ирландец проснулся. На пароходе, в трюм которого всё еще грузили апельсины и мешки с серой в бухте Катании, было пыльно и шумно. Большинство пассажиров сошли на берег и спешили, вооружившись путеводителями и биноклями, либо увидеть статую на могиле Беллини, либо понаблюдать, как течет лава. Над маслянистыми волнами лежала палящая, удушающая жара, и курившаяся вершина вулкана, казалось, плыла в голубой дымке.

На замечание Шталя «Вы спали восемь часов» О'Мэлли ответил:

— А мне показалось, что я проспал все восемь веков.

Он выпил предложенный ему кофе с булочкой и закурил. Доктор зажег свою сигару. Красные занавески на иллюминаторе не пускали в каюту яростное солнце, отчего внутри было прохладно и сумрачно. Крики грузчиков и помощников капитана, следивших за погрузкой, мешались со скрежетом лебедки. А О'Мэлли прекрасно понимал, что, несмотря на видимую непринужденность перемещения Шталя по комнате, который время от времени обращался к своим книгам и бумагам, доктор не выпускал его из-под наблюдения.

— Да, — продолжал ирландец, наполовину про себя. — Будто бы я заснул в одном мире, а проснулся совершенно в другом, где жизнь тривиальна и незначительна, где люди трудятся как проклятые ради приобретения никчемных вещей, которые они собирают в огромных уродливых домах без передышки, словно дети, не сознающие, что творят, копят и копят имущество, которым не могут до конца обладать, — вещи внешнего мира, не стоящие ничего и ненастоящие…

Доктор Шталь спокойно подошел и сел рядом с ним. Затем мягко заговорил — доброжелательно и серьезно, — положив руку ему на плечо.

— Но, дорогой мой мальчик, — сказал он без

тени критики, — не стоит полностью давать себе волю. Это порочные мысли, поверьте мне. Все частности важны — здесь и сейчас, — духовно важны, если такой термин предпочтительнее. Лишь обозначения переменяются от века к веку, вот и всё. — Затем, поскольку ответа не последовало, он добавил: — Держите себя в руках. Ваш опыт имеет чрезвычайно важное значение, а возможно, и ценность, причем не только для вас самих, но и… э-э… для других. А то, что случилось этой ночью, стоит записать, если вы способны сделать это, не погружаясь в описание всей душой без остатка. А некоторое время спустя, надеюсь, вы найдете в себе силы рассказать мне немного подробнее… — Совершенно очевидно, что в его душе боролась острая потребность знать с желанием защитить, исцелить, предотвратить опасность. — Если бы я был уверен, что вы в достаточной мере восстановили контроль, я мог бы взамен рассказать о результатах своего исследования некоторых случаев в клинической практике, которые, видите ли, могли бы пролить дополнительный свет на… на ваш удивительный опыт.

О’Мэлли так резко повернулся, что сигарный пепел упал ему на одежду. Наживка была очень

заманчивой, но пока былое доверие к доктору еще не восстановилось.

— Я не могу обсуждать то, во что верю, абстрактно, как вы, — через некоторое время с горячностью заговорил он. — Для меня это слишком реально. Ведь бессмысленно обсуждать с рациональной точки зрения то, что любишь, верно? Теперь все кругом спорят, умствуют, строят гипотезы, никто не верит. Дай вам волю, вы изъяли бы мою веру и заместили бы ее какой-нибудь несчастной научной формулой, ошибочность которой доказало бы уже следующее поколение. Помните историю с N-лучами[31], открытыми кем-то из вас?

Их ведь, как выяснилось, не существовало вовсе. — Он рассмеялся. Затем его раскрасневшееся

---

[31] Примечания: 31

В конце 1903 г. профессор Р. Блондло, глава физического факультета в университете в Нанси, член Французской академии, широко известный исследователь, экспериментировавший, как и почти все физики в то время, с рентгеновскими лучами, провозгласил открытие новых лучей, которые он назвал N-лучами в честь родного города. Обнаруженный им эффект сводился приблизительно к следующему. Блондло обнаружил, что если у вас есть нагретая платиновая проволока, или катод Нернста, или какое-либо другое тело, очень сильно нагретое и помещенное внутрь железной трубки, в которой вырезано окошко, закрытое куском алюминия толщиной около 73 дюймов, то через окошко проходят какие-то лучи. Толщина алюминиевого окошка может быть два или три дюйма, и лучи эти через него всё равно пройдут, но не через железо. Если лучи, проходящие через окошко, падают на слабо освещенный предмет, то можно их различить. Правда, они едва заметны. Для наблюдения нужно сидеть в темной комнате в течение

длительного времени. Блондло пользовался сернисто-натриевым экраном, который можно было освещать и который начинал очень слабо светиться, что можно было заметить в темной комнате. Эксперименты с этими лучами, описанные в Comptes Rendus Академии, основном научном журнале Франции, пытались повторить многие ученые, но за пределами Франции это так никому и не удалось. Английский физик Р. Вуд денонсировал это открытие: в лаборатории он незаметно спрятал призму прибора в карман, а Блондло продолжал отмечать спектр лучей. Так было похоронено это открытие, а Блондло вскоре сошел с ума и умер, не вынеся позора.

лицо снова стало серьезным. — Верования глубже открытий. Они вечны.

Шталь посмотрел на него с восхищением и подошел к письменному столу.

— Я гораздо в большей мере на вашей стороне, чем вы думаете, — сказал он примиряюще. — Лишь сильнее раздвоен, вот и всё.

— В духе современности! — воскликнул ирландец, только теперь заметив пепел, попавший на одежду, и принявшись его энергично стряхивать. — Вы всё объясняете с материалистической точки зрения, забывая, что постоянно движущаяся материя — наименее реалистичное из всех представлений.

— У нас с вами различная подготовка, — перебил его Шталь простым замечанием. — Я пользуюсь иными терминами, выражаю свои мысли по-иному. Но в основе мы не настолько отличаемся, как вам представляется. Наш вчерашний разговор доказывает это, если вы не запамятовали. Именно такие люди, как вы, снабжают таких, как я, материалом, помогающим продвигаться в их рассуждениях, или умствованиях, как вы с пренебрежением говорите.

Эти слова смягчили ирландца, хотя некоторое время он еще сопротивлялся. И доктор не ме-

шал ему выговориться, понимая, что без этого приятель не успокоится. О'Мэлли не особенно заботился о выражениях, но Шталь не прерывал и не уточнял: нелегко было выразить сокровенную веру современным языком. Впрочем, это не останавливало ирландца, и он рассказал о многом. То, что Шталь, не разделяя его убеждений, всё же понимал его, сильно воодушевляло. Не раз О'Мэлли запутывался по ходу рассказа и начинал тонуть, но доктор каждый раз помогал ему вновь обрести опору под ногами.

— Возможно, самая большая разница между нами заключается в том, что вы бросаетесь вперед, не раздумывая и пропуская по дороге многие важные детали, а я поднимаюсь медленно, считая ступени и ставя ногу только тогда, когда убеждаюсь, что очередная ступенька не провалится. Вначале я не доверяю и подвергаю сомнению, но если ступенька выдерживает такое отрицание, значит, она надежна. Я воздвигаю леса. Вы летите вверх.

— Летать быстрее, — вставил ирландец.

— Но это подходит немногим, — последовал ответ, — а по лесам могут забраться все.

— Несколько дней назад вы говорили о странных вещах, — без обиняков сказал О'Мэлли, —

причем вполне серьезно. Пожалуйста, расскажите об этом подробнее. — Ему хотелось отвести разговор от своей персоны, чтобы не выдать себя полностью. — Вы говорили о том, что Земля живая, что она живое существо, а ранние легендарные формы жизни могли быть ее эманациями, проекциями, отсоединившимися фрагментами ее сознания или чем-то в этом роде. Могут ли существовать люди, которые на самом деле такие дети земли, плоды ее страсти, Космические Существа, как вы намекали? Этот предмет меня глубоко интересует.

Казалось, доктор Шталь не может решиться.

— Для меня это всё не внове, конечно, — настаивал ирландец, — но мне хотелось бы знать больше.

Шталь всё еще колебался, но наконец медленно начал:

— Порой я высказываю не совсем обдуманные наблюдения. Скорее всего, лучше пока не обращать на них внимания и забыть.

— Помилуйте, отчего же?

Ответ был хорошо рассчитан, чтобы подстегнуть его аппетит.

— А оттого, — сказал доктор, подойдя вплотную и наклонившись к нему, — что с такими мыслями

опасно заигрывать, это опасно для человечества в его современном состоянии, тревожит душу и потрясает самые основы душевного здоровья. — Он пристально поглядел на О'Мэлли и добавил чуть мягче: — А ваше сознание, как мне кажется, уже двинулось по их следу. Понимаете вы или нет, но в вас живет страстное желание, способное реконструировать эти сущности, сделать реальными для вас, если вы вырветесь.

О'Мэлли сияющими глазами вгляделся ему в лицо.

— Реконструировать… сделать реальными… если я вырвусь! — повторил он, заикаясь, боясь выказать снедавший его огонь, что могло заставить собеседника остановиться. — Вы, конечно, хотите сказать, что тот Двойник внутри меня тогда вырвется и построит собственный рай?

Шталь мрачно кивнул:

— Вызванный к жизни интенсивностью вашего желания. — И, помолчав, добавил: — Начавшийся уже у вас в душе процесс тогда завершится.

Ах вот оно! Доктору явно хотелось услышать от него рассказ о том, что произошло в кающе.

— Временно? — спросил ирландец, затаив дыхание.

Не получив ответа, он повторил свой вопрос.

— Да, временно, — сказал Шталь, снова повернувшись к своему столу, — если только… желание не будет слишком сильным.

— И тогда…

— Тогда пути назад не будет. Потому что оно увлечет за собой всю личность без остатка.

— То есть душу?

Шталь склонился над своими книгами и записями.

Ответ прозвучал еле слышно:

— Тогда — смерть!

Произнесенное шепотом, это слово будто повисло в густом воздухе перегретой на солнце каюты.

Однако шепот был едва слышен, поэтому ирландец не был уверен, слышал ли он его на самом деле или оно сгустилось у него в мозгу. Лишь, уловив некий живой ток мыслей доктора, понимал, что это отделение жизненно важной части его существа, на которое намекал Шталь, способно повлечь за собой потерю личности в ее современном виде, однако эта мысль не несла для него ничего ужасного, если одновременно означала обретение цели его стремлений.

А в следующий момент его осенило: удивительный этот доктор совершенно уверен в истинности своих слов, а поразительная его «гипотеза» была

для него отнюдь не теоретическим построением. Возможно, он и сам пережил нечто подобное, в чем не осмеливался признаться, а то, что он подавал как результат наблюдения над пациентами, наделе испытывал сам? Не было ли это результатом его работы с «великаном» два года назад? И не крылось ли именно тут объяснение, почему он сменил место ассистента в клинике Г. на должность судового врача? Не таил ли этот «современный» человек внутри себя вулкан древней веры, сродни пламеневшему в его собственной душе, который Шталь, однако, постоянно стремился погасить?

Мысли метались у него в мозгу, пока он следил за доктором через клубы сигарного дыма. Скрежет лебедки, крики грузчиков, глухие звуки падения мешков с серой — как бессмысленно все они звучали, принадлежа к тщетному существованию, где люди тратили время на собирание ничего не значащей ерунды для своих физических тел, живущих среди пыли считаные годы, после чего распыляющихся навсегда.

Он вскочил с дивана и подошел к доктору. Тот по-прежнему склонялся над бумагами.

— Значит, вы тоже, — воскликнул О'Мэлли, вернее, попытался воскликнуть, но голос не под-

нялся выше шепота, — вы тоже, должно быть, несете Urmensch в крови и в сердце, иначе откуда бы вам обо всем этом знать? Расскажите мне, доктор, расскажите же!

Он едва удержался, чтобы не добавить: «Присоединяйтесь к нам! Приходите и присоединяйтесь!», но тут низкорослый немец медленно повернул к нему лысую голову и буквально облил возбужденного ирландца таким холодным взглядом, что тот моментально пожалел о своем порыве, ощутив себя дураком, если не наглецом.

Он буквально рухнул в кресло, в то время как доктор опустился на вращающийся стул, привинченный к полу рядом со столом. Руки его разгладили бумаги. Затем он наклонился вперед, всё еще не сводя с собеседника холодного взгляда, который не позволял и мысли о фамильярности.

— Друг мой, — отчетливо сказал он по-немецки, — вы только что просили изложить вам теорию — это теория Фехнера — о Земле как о живом существе, обладающем сознанием. Если желаете, я вам ее изложу. Времени у нас достаточно. — Он окинул взглядом затененную каюту, снял с полки перед собой книгу, затянулся своей черной сигарой и начал читать. — Это из Хиббер-

товской лекции[32] в Манчестерском колледже вашего соотечественника Уильяма Джеймса. Там дается представление о теории Фехнера. Так выйдет намного понятнее, чем если бы я стал передавать своими словами.

Значит, и Шталь, в свою очередь, не пожелал быть «вовлеченным». Вскоре оправившись от резкой перемены в собеседнике, О'Мэлли полностью сосредоточился на лекции. Неприятное чувство, что с ним заигрывают, дабы он по собственной воле занял наиболее выгодное место под микроскопом, прошло под воздействием стройной и прекрасной концепции, которая облекла все его смутные стремления в совершенную форму.

[32] Примечания: 32

Хиббертовская лекция — серия публичных лекций, касающихся воззрений на религию, названная так в честь английского торговца Роберта Хибберта (1770–1849), креола по происхождению и унитарианца по вероисповеданию, основавшего в 1847 г. фонд для поддержки «распространения христианства в самой доступной форме и отправления права людей на формирование личных суждений в отношении религии». Лекция Уильяма Джеймса «О Вселенной с плюралистической точки зрения» состоялась в 1908 г.

XV

К этому моменту захватывающего повествования О'Мэлли тени сентябрьского вечера почти дотянулись до нас от Круглого пруда. Под деревьями стало прохладно, и многочисленные «прыг-скок-детишки», как он их обозначил, отправились уже по домам распивать чаи или что они там еще пьют-едят в шесть часов вечера в Лондоне.

Мы двинулись пешком домой, в Найтсбридж[33], Теренсу пришлась по душе мысль самим приготовить ужин. Для этого у него тоже было свое название — «вечера у горшка с варевом». Они отдаленно напоминали нам поездки на природу, хотя, надо признаться, в комнатке, похожей на клетку, «варево» никогда не имело того неповторимого вкуса, как на лесной опушке, когда на пологе палатки собиралась роса, а дым от костра мешался с запахами земли и палой листвы.

Мы миновали гротескное сооружение на-

---

[33] Примечания: 33
Найтсбридж — район в центре Лондона к югу от Гайд-парка.

против Альберт-холла[34], ярко высвеченное последним лучом заката; О'Мэлли содрогнулся. Мы еще находились под очарованием сияющего сицилианского полдня в каюте парохода, и двойной конус Этны, казалось, возвышался за золочеными шпилями безвкусного мемориала. Я бросил взгляд на приятеля. Его голубые глаза сияли отражением иного заката — над забытыми, древними, далекими сценами юности мира.

Облик друга таил в себе во время этой молчаливой прогулки до дома особую магию, мы оба не проронили ни слова, чтобы не нарушить ее. Из-под его широкополой старой шляпы выбивались нестриженые волосы, а выцветший сюртук серой фланели был словно тронут сумеречными тенями от диких олив. Заметил я и заостренную форму его ушей, кончики которых исчезали под волосами. Походка Теренса была пружинистой, легкой, неслышной, как если бы он двигался по травянистому покрову, а отпрыгнув в сторону, попал бы не под колеса автобуса, а в заросли папоротников на мягком мху. Разворот его плеч совсем не подходил квадратам улиц и домов.

---

[34] Примечания: 34

Мемориал принцу Альберту возведен знаменитым архитектором Викторианской эпохи сэром Джорджем Скоттом в 1876 г. в стиле неоготики.

По прихоти фантазии перед моим умственным взором предстал фавн, который пробирался по лесным полянам попить из озерка, а в памяти всплыли строки Элис Корбин[35], которые я стал нашептывать вслед О'Мэлли:

Аркадии какие знавала я луга,
Где словно ниоткуда ветер веял
И, отклоняя тьмы покров,
Являл он мне фиалковое море —
И фавновы глаза глядели
Из-под твоих кудрей?

Всё это оттого, что, пока его ноги шагали по Хилл-стрит и Монпелье-сквер, мыслями и духом он витал в призрачном саду из древних времен, которого неизменно жаждал. А я подумал о завтрашнем дне — о своем столе в страховой компании, клерках с напомаженными волосами, зачесанными назад, неотличимо одинаковых, с аккуратно подвернутыми брюками, чтобы виднелись цветные носки, недавно купленные

[35] Примечания: 35

Элис Корбин (1881–1949) — американская поэтесса. Получила образование в Чикагском университете. Со времени основания журнала *Poetry: A Magazine of Verse* в 1912 г. была его редактором вместе с Гаррият Монро, а также антологии современных американских и европейских поэтов *The New Poetry*.

на распродаже, с карманами, полными дешевых сигарет, и головами, забитыми мыслями о размалеванных актрисах и именах лошадей на скачках! Страховая компания! Весь Лондон выплачивает ежегодный взнос, чтобы предохранить себя от самого интересного момента в жизни. Откуп от свободы и избавления!

Вне всякого сомнения, именно магия личности моего приятеля обернула обычные приметы действительности делового мира в наших противников в этой гротескной и довольно мрачной игре. Завтра, конечно же, всё вновь станет реальным и зримым, без всяких шуток, а история О'Мэлли обернется поэтической выдумкой. Но в тот момент я проживал ее вместе с ним и находил великолепной.

Когда горшок с «варевом» опустел, мы сидели и курили на узком карнизе крыше его дома-тюрьмы, ибо он всегда стремился на воздух, отчего, захватив подушки, мы нередко устраивались на крыше возле одной из покрытых сажей труб под звездами; и разговор этот я не забуду никогда. Жизнь создавалась заново. Меня окутала сила величайшей волшебной сказки в истории человечества, многократно умноженная. И я уловил след реальности — страшной реальности

— в представлении, что тот величественный шар, где мы, словно насекомые, выглядываем каждый из своей ячейки в сотах, может быть телом божественного Существа, мощным каркасом, вместилищем непостижимо огромного Всеобщего Коллективного Сознания, намного превосходящего человеческое и совершенно отличного от него.

В записанной на бумаге истории, обнаруженной позже в пыльной комнатке в Пэддингтоне, О'Мэлли несколько тяжеловатым стилем излагал, как мне показалось, те отрывки, которые выбрал для него доктор Шталь. Несомненно, в виде мысленного очерка они были весьма интересны и наталкивали на важные соображения, однако рассказ о приключениях перегружали, и корабль воображения под их грузом заметно оседал. Однако, чтобы полнее воспринять всё последовавшее, возможно, стоит отчасти пропитать ими разум. Читатель, которому не хочется задаваться размышлениями и которому достаточно ничем не обоснованного полета воображения, может свободно пропустить следующую главу, однако, чтобы отдать должное выстроенным ирландцем лесам, каркасу, на который опирается его поразительная греза, я обязан попытаться передать

вкратце суть его разговора с доктором Шталем.

XVI

Насколько нам известно, любая часть видимой Природы может служить частью некоего организма, отличного от наших тел… Собственно, мы совсем немного знаем о том, что именно может, а что не способно быть частью организма. Мы судим о других телах и душах лишь по сходству и аналогии с собственными… Некоторое сходство внешней формы, а также определенное сходство действий позволяют нам сделать заключение о наличии душевной жизни. Однако неспособность обнаружить подобные признаки недостаточна для доказательства ее отсутствия. В этой связи необходимо обратиться к энергичным аргументам Фехнера.

Ф. Брэдли. «Явление и реальность»[36]

Надо признать, что я начал слушать его с внут-

---

[36] Примечания: 36

Фрэнсис Герберт Брэдли (1846–1924) — английский философ-идеалист, глава школы абсолютного идеализма (британского неогегельянства). Сочинение «Явление и реальность» *(Appearance and Reality)* опубликовано в 1893 г.

ренним сопротивлением или, по крайней мере, с предубеждением. Земля, конечно же, была лишь давно остывшим шаром, огромным комом грязи без признаков жизни. Как могла она быть живой в любом из возможных смыслов этого слова?

Однако постепенно, по мере того как О'Мэлли продолжал говорить на той крыше, среди прокопченных труб старого Лондона, меня всё полнее начало охватывать ощущение иной реальности — новой, странной и прекрасной, слишком могучей, чтобы спокойно улечься в сознании. Смеяться больше не хотелось. На мир вдруг снизошла новая красота, словно настал прекрасный рассвет. И осеннее небо над нами, щедро усеянное звездами, опустилось к нам ниже, осыпав золотом и сиянием скучные коридоры моего житья-бытья. Даже стол в страховой конторе в Корхилле, где я служил, положительно заблистал под стать алтарю или даже трону.

Поразительная красота и масштабность теории Фехнера зажгли всё вокруг своим светом; она была величественна и в то же время проста. Хотя в словах ирландца заключался, конечно, лишь ее отблеск — собственно, это была смесь лекции профессора Джеймса и мыслей доктора Шталя, сильно приправленная манерой изложения Те-

ренса О'Мэлли, — но сама по себе она заронила мне в душу настолько действенные образы, что божественный смысл открывается и по сей день в самых обычных вещах. Горы, моря, просторы полей и лесов — всё я теперь воспринимаю с удивлением, восторгом и благоговейным трепетом, неведомым прежде. Цветы, дождь, ветер, даже лондонский туман обрели для меня новый смысл.

Я не понимал прежде, что сами размеры нашей планеты могли помешать увидеть ее в истинном свете, ее масса не дала зародиться в сознании мысли о том, что она может быть в каком-либо смысле живой. Наделенный нашей способностью к рассуждениям микроб мог бы таким же образом отрицать возможность жизни у слона, в теле которого он находится, а какой-нибудь атом-резонер на основании своих ощущений пришел бы к твердому убеждению, что чудище, в чьей плоти он обитает, есть «небесное тело» мертвой, инертной материи, — и в том, и в другом случае размеры «мира» заслонили бы понимание проявлений Жизни.

Причем Фехнер, как представляется, был отнюдь не праздным мечтателем, забавы ради развившим некий поэтический образ. Будучи

профессором физики Лейпцигского университета, он нашел время на разработку своей теории, хотя выполнял множество работ по электрохимии, а большинство его исследований по гальванизму стали классическими. Вклад Фехнера в развитие философии также весьма значителен. Среди прочих трудов также классическая книга по теории строения атома, четыре тома со множеством математических выкладок и результатов экспериментов по «психофизике», как он ее называл (многие считают, что в первом из них Фехнер практически заложил основы современной научной психологии); книга об эволюции органического мира и две работы по экспериментальной эстетике, в которых, по авторитетному мнению ученых, высказываются самые фундаментальные принципы новой науки. Когда он умер, весь Лейпциг оплакивал его смерть, ибо он являл собой идеал немецкого ученого, столь же оригинально и дерзко мыслящего, сколь скромен и щедр был он в повседневной жизни, трудолюбивый раб истины и обретенья знаний… Его разум поистине был одним из таких перекрестков истины, в высшей степени организованных, куда лишь изредка добираются дети рода человеческого, но откуда всё делается

одинаково доступным и всё можно рассмотреть с верной перспективы. Буквально все способности достигли в этом человеке наивысшего развития без видимого ущерба друг для друга: наитерпеливейший наблюдатель, точнейший вычислитель, острейший анализатор, он в то же время был способен к самому тонкому сопереживанию и человеческому участию. Поистине, это был философ в самом великом смысле.

— Да, — негромко сказал О'Мэлли мне на ухо, когда мы сидели, прислонившись спиной к печным трубам, и смотрели, как кольца дыма поднимаются к звездам, — и воображение именно такого человека полностью завладело стариной Шталем, выведя его из равновесия. Признаться, мне не удалось до конца разобраться в характере доктора. У него, верно, аналитический аппарат и воображение малость смешались в голове, ведь он то порицал меня за то, что я сомневаюсь и задаю «недоверчивые вопросы», то вдруг, когда я давал волю своему полету воображения, изливал на меня сарказм. Он никогда не открывался до конца, и мне оставалось лишь строить догадки, отчего ему вдруг стало настолько неуютно у себя в клинике, что пришлось оттуда уйти. Поистине, он был птицей редкого полета. Но как бы я ни це-

лился, попасть мне в него не удавалось, всё мимо. Он же непрестанно меня подогревал: то побуждал меня сблизиться с моим русским, повествуя о космических сущностях, о своих пралюдях, чтобы понаблюдать за моим разрушением, то, не проходило и часа, предпринимал всяческие усилия, дабы защитить мой рассудок. — Смех Теренса огласил окрестные крыши. — В результате, — добавил он, запрокинув лицо к звездам, будто излагал всё скорее небесам, чем мне, — он подтолкнул меня к величайшему из испытанных мною приключений. И я действительно верю, что в моменты беспамятства — вернее, полубеспамятства — я покидал свое тело, унесенный наподобие Моисея — или то был Иов или Павел? — на Третье Небо, где мне удалось коснуться чудесной реальности, которая поистине сделала меня непередаваемо счастливым.

— Ну а что же Фехнер и его великая идея? — вернул я его к предмету нашего разговора.

Он бросил сигарету вниз, на задний двор, прилегавший к парку, проследив взглядом огненный зигзаг.

— Вкратце можно сказать так: не только земля, но вся Вселенная, на всех возможных диапазонах и длинах волн, повсюду живая и сознающая.

Он принимает духовное проявление за закон Природы, а не за исключение. У профессоров философии нет воображения. Фехнер возвышается над ними. Он не боялся отпускать воображение в полет. Наградой ему были открытия, — он присвистнул, — и еще какие открытия!

— На которые современные ученые даже не находят нужным откликаться?

— А, — рассмеялся он в ответ, — эти напыщенные интеллектуалы, с их ограниченными представлениями, атрофированным воображением и витиеватыми аргументами? Может, и так! Но во Вселенной Фехнера есть место самым разным духовным существам меж человеком и Богом. И у огромных тел сознание также гораздо сильнее развито. Он страстно верит в Душу Земли, считает ее нашим ангелом-хранителем, мы вполне можем молиться Земле, как молятся святым. Земля — Объединяющее, Коллективное Сознание. Мы на Земле подобно зыби на поверхности океана. Растем из ее почвы, как листва на деревьях. Иногда мы расширяем рамки своей жизни и понимаем, что являемся частью общего сознания, но чаще остаемся отъединенными, носителями индивидуального сознания — и только! Моменты единения с космическим сознанием

весьма редки. Они наступают в любви, иногда приходят во время страдания, при восприятии музыки, но чаще всего при созерцании красоты пейзажа, Природы! Люди слишком мелочны, суетны, эгоистичны, они привыкли цепляться за свою драгоценную индивидуальность. — Он набрал в грудь воздуха и продолжил: — Фехнер сравнивает нас по отдельности с органами чувств земной души, они обогащают ее ощущениями на протяжении нашей жизни. Все наши чувства она впитывает в момент возникновения и включает в общую сферу знания. Когда один из нас умирает, словно навсегда закрывается один из глаз, откуда поступали ощущения.

— Продолжай! — воскликнул я, понимая, что он, вероятно, дословно цитирует отрывки из Джеймса, над которыми немало размышлял, после чего совершенно сжился. — Расскажи подробнее. Это просто поразительно.

— Конечно, я скоро продолжу, — сказал он, — если ты пообещаешь иметь в виду, что Землю Фехнер рассматривал вовсе не как человека-великана. Если она Существо, то совершенно иного рода, чем мы, в согласии со своим строением. Планетные существа отличаются от всех прочих, известных нам. Фехнер лишь возражает против

свойственного людям высокомерия, когда, вооруженные пока далеко не совершенным знанием, мы беремся отказывать в сознании и даже наличии жизни столь прекрасно организованной форме, как Земля! Он полагает, что небесные тела — существа, намного превосходящие людей по развитию разума. И высмеивает чванство двуногих, обитающих на этой планете, считающих себя верхом совершенства. Теперь понимаешь?

У меня даже перехватило дыхание. Раскурив большую трубку, я стал слушать. На сей раз он уже совершенно явно излагал страницу из Хиббертовской лекции, о которой упоминал Шталь, — ту, где профессор Джеймс стремится дать слушателям представление о масштабе и цели концепции Фехнера, признавая, что «неизбежно умаляет ее ценность, резюмируя и упрощая».

— Давным-давно Землю называли животным, — отважился я вставить слово. — Это общеизвестно.

— Но Фехнер настаивал, что планеты относятся к более развитому классу существ по сравнению как с человеком, так и с животными, это существа, чьи огромные размеры требуют иного плана обитания.

— Это обитатели… эфира?

— В точку, — с энтузиазмом подхватил он. — У каждого природного элемента есть свои обитатели. И у эфира тогда должны быть свои — планеты. «Океан эфира, чьи волны — свет, также имеет жителей более высокого порядка, поскольку их элемент выше: они плывут без плавников, летят без крыльев, движутся, гигантские и безмятежные, будто питаемые наполовину духовной силой в наполовину духовном мире, где обитают», отзываясь на малейшее притяжение друг друга. Это поистине существа, во всем превосходящие нас. Любой, знаешь ли, мог заигрывать с этой идеей, — добавил он, — она стара как мир. Но этот парень показал, как и почему она может соответствовать истине.

— Только вот вопрос с превосходством, — усомнился я. — Я бы предположил, что их стадия развития скорее предшествует нашей и потому ниже.

— Они другие, — ответил он. — В этом всё дело.

— Вот как!

Я проследил взглядом прочерк метеора в нашей плотной, насыщенной влагой атмосфере и поймал себя на мысли: интересно, произвели ли жар и вспышка от визита мимолетного гостя какое-либо воздействие на Коллективное Сознание

огромного Тела, на котором мы сидели и болтали, и куда он потом осядет мельчайшей пылью?

— Именно настаивая в равной мере на признании как различий, так и сходства, — возбужденно кинулся дальше доказывать О'Мэлли, — Фехнер и добивается столь конкретной картины жизни Земли. Задумайся на минуту. К примеру, наше соответствие по строению животным проистекает от более низкой организации. Необходимость переходить с места на место, потягиваться, наклоняться — есть лишь недостаток строения.

— Недостаток! — воскликнул я. — Но мы ведь так этим гордимся!

Он в ответ рассмеялся:

— Что такое наши ноги, как не костыли, с помощью которых, тратя уйму усилий, мы нескончаемо рыщем ради обретения недостающих вещей? Земле такое несовершенство неведомо — к чему ей, и без того обладающей всеми предметами наших желаний, иметь конечности, аналогичные нашим? Какой прок ей в руках, когда ей не к чему тянуться? Или в шее, если нет головы? Либо в глазах и носе, если в космосе она находит путь без их помощи, а у себя располагает миллионами глаз животных, направляющих их перемещения по ее поверхности, и всеми их носами, чтобы

ощутить аромат каждого цветка, произрастающего из нее?

— Значит, мы в буквальном смысле части ее, как бы проекции ее гигантской жизни, одна из многих проекций, по крайней мере?

— Да, так и есть. А поскольку мы сами — часть Земли, — продолжил он, тут же подхватив мою мысль, — то и наши органы чувств — ее органы тоже. Она как бы огромный глаз и ухо — всё, что мы видим и слышим по отдельности, она воспринимает сразу и вместе.

О'Мэлли встал рядом со мной, протянув руки к звездам над деревьями и дорожками парка, распростершегося внизу, где по вечерней прохладе прогуливалось и беседовало множество мужчин и женщин. По мере того как воображение немецкого гиганта мысли захватывало его полнее, он исполнялся всё большего воодушевления.

— Она вызывает к жизни бесчисленное количество существ на своей поверхности, а их многообразие сознательных взаимодействий поднимает на более высокий и общий уровень своего сознания.

Опершись на парапет, он привлек меня ближе к себе. Мы вместе смотрели на силуэт Лондона на ночном небе, думая о том, какой отсвет, какое

количество тепла он отбрасывает, и о том, сколь отчаянно борются миллионы его жителей за успех денежный, за обретение власти и славы и сколь невелико число тех, кто хочет достичь успеха в духовном развитии. Грохот уличного движения доносился до наших ушей настоящей какофонией. Подумал я о других городах мира, о деревнях, одиноких пастухах на пустошах, несчетных диких созданиях лесов, полей и гор…

— И всё это она принимает в свое большое сердце как часть себя! — пробормотал я.

— Всё, — тихо ответил он, когда до нас долетели звуки оркестра, игравшего на другой стороне Серпентайн, — сознание всех людей во всех городах, всех племен и народов, животных, цветов, насекомых — всё без исключения.

Раскинув руки, Теренс глубоко вдыхал ночной воздух. Вдалеке над башнями Вестминстера поднималась желтая луна и звезды делались тусклее. До нас донеслись девять гулких ударов Биг-Бена. Непроизвольно я сосчитал их.

— И то, что мы воспринимаем подсознательно, тоже ее, — сказал он, вновь угадав мои мысли, — все не до конца понятые сны, полувысказанные стремления, наши слезы, желания, наши… молитвы.

В тот миг мне показалось, будто наши мысли слились, захваченные потоком Сознания куда более мощным, чем разум каждого из нас. Словно мы получили подтверждение высказанных им только что мыслей и почувствовали неприметное биение пульса земной души, на удивление воспрянув духом.

— Значит, любая форма жизни тогда важна, — услышал я свои мысли вслух, ибо уже не понимал, думаю ли я про себя или говорю. — И любая попытка свершения, даже непризнанная, даже тщетная.

— Даже неудачи, — донесся ответный шепот, — даже те мгновения, когда мы перестаем верить в нее.

Какое-то время мы постояли молча. Затем, не снимая руки с моих плеч, он направился к коврикам возле трубы, где мы лежали до этого.

— Но среди нас есть такие, — продолжал он негромко, в голосе его трепетала огромная радость, — кто познал более тесные отношения с великой Матерью.

Через так называемую Любовь к Природе или благодаря безыскусной простоте души, совершенно несовременной, конечно, и свойственной по большей части детям и поэтам, они приника-

ют к глубинным источникам жизни, им ведомо мудрое руководство ее могучей души, священное материнское чувство, отвращающее от борьбы за материальные приобретения, от горячки, называемой наслажденьем[37], — бесхитростные дети ее юной силы… потомство чистой страсти… каждый ощущает ее вес и поддержку за собой…

Его слова перешли в шепот, почти, а потом совсем бессвязный, но мысленно я каким-то образом продолжал его слышать.

— Простая жизнь, — сказал я негромко, — Зов Дикой Природы, многократно усиленный?

Однако О'Мэлли чуть изменил мое предложение.

— Скорее призыв, — ответил он, не поворачиваясь ко мне, обращаясь к ночи вокруг, — призыв

---

[37] Примечания: 37

Строка из поэмы Перси Биши Шелли (1792–1822) на смерть поэта Джона Китса «Адонаис» *(Adonais,* 1821), строфа 40:

He has outsoared the shadow of our night;
Envy and calumny and hate and pain,
And that unrest which men miscall delight,
Can touch him not and torture not again
Он воспарил над нашим наважденьем,
В котором оставаться мы должны,
Горячку называя наслажденьем
В ночи, где ложь и злоба так сильны,
И жизнью безнадежно мы больны…

Перевод К. Д. Бальмонта

детства, истинного, чистого, живительного детства Земли, Золотого Века, когда люди еще не отведали запретного плода и не познали одиночества, когда лев с ягненком ходили вместе и дитя водило их[38]. То есть того времени и состояния, символом которых служат эти строки.

— А любопытные пережитки которого могут еще скитаться в нашем мире? — высказал я предположение, вспоминая слова Шталя.

Глаза его засверкали.

— Именно с таким я повстречался на том туристском пароходике!

Ветер, обвевавший наши лица, прилетел скорее всего с северо-запада, из бесплодного Бейсуотера[39]. Но он дул также с гор и садов Аркадии, утраченной почти безвозвратно…

— Древнееврейские поэты называли его временем до грехопадения, более поздние — Золотым Веком, сегодня его отблеск заметен в выражениях *Желанная Страна, Страна Обетованная, Рай земной* и множестве других, но в сознании мистиков и святых оно выступало страстно желаемым

---

[38] Примечания: 38

Ис. 11:6.

[39] Примечания: 39

Бейсуотер — северо-западный район Лондона, прилегающий к Гайд-парку.

временем слияния с их божеством. Ибо такое возможно и открыто для всех, любому сердцу, не ослепленному ужасом того материализма, что загораживает все пути избавления и заключает личность в камеру скучной иллюзии, признающей за реальность лишь внешнюю форму, а всё многоцветье внутренней жизни…

Тут до нас снизу донеслись хриплые крики двух пьянчуг. Мы снова подошли к парапету и посмотрели на поток конных экипажей, машин и пешеходов, видневшихся на Слоун-стрит. Обуреваемые гневом от искусственного стимулятора в их мозге, пьяницы, шатаясь, скрылись из виду. За ними медленно прошествовал полисмен. Ночная жизнь огромного сверкающего города текла внизу нескончаемым потоком душ, каждая из которых была влекома своим путем к вожделенному забытью, когда можно будет не думать о прутьях своей клетки, о тысяче мелких терзаний и прикоснуться хотя бы к краешку счастья! Все такие самоуверенные, они бежали в прямо противоположном направлении — стремились вовне, к внешним целям, а не внутрь себя, боялись быть простыми…

Мы снова вернулись туда, где лежали раньше. Долго никто не находил, что сказать. Наконец

я первым спустился вниз по скрипучей лесенке внутрь, и мы вошли в душную гостиную небольшой квартиры, которую Теренс тогда снимал. Я включил электрическое освещение, но О'Мэлли попросил меня притушить его. Глаза ирландца всё еще светились внутренним одушевлением. Мы сели возле растворенного окна. Он достал потрепанный блокнот из кармана своего еще более потертого сюртука, но было слишком темно, чтобы читать. Однако он мог говорить, не заглядывая в записи, так как знал всё наизусть.

XVII

Он привел еще ряд причин, по которым Фехнер полагал Землю выше человеческого уровня развития, но в сердце у меня надолго остался другой отрывок — описание радости дерзкого немецкого мыслителя от осознания ее прелести и от его первого простого видения. Сам я вполне земной человек в самом расхожем смысле слова, однако красота его мыслей живет во мне по сей день, способная преобразить даже неприглядную страховую контору, витая надо мной, когда я сражаюсь с наискучнейшими, удручающими делами. Признаться, это не раз освежало и придавало сил в трудную минуту.

«Какая форма лучше помогла бы ей нести свой драгоценный груз через долгие дни и времена года, чем теперешняя, ведь она себе и конь, и колеса, и повозка одновременно. Только подумать, до чего она прекрасна: сияющий шар, небесно-голубой, залитый солнцем с одной стороны и купающийся в звездной ночи — с другой, во всех водах отражается небо, в складках ее гор и извивах долин идет бесконечная игра света и теней,

в окоем помещается только часть, даже с горных вершин, но если бы удалось увидеть ее целиком, воистину Земля предстала бы в радужной красе. Тогда бы все виды пейзажей предстали бы перед взором одновременно: всё нежное и исполненное изящества, всё тихое и бурное, романтичное, заброшенное, радостное, пышное и роскошное или бодрящее. Пейзаж — ее лицо, причем он включает в себя и людей, их глаза сверкают бриллиантами среди капель росы. Зеленый цвет преобладал бы в портрете, но голубизна атмосферы и облачный покров окутывали бы ее, как невесту фата, чьи влажные туманные полупрозрачные складки земля с помощью своих слуг-ветров никогда не устает по-новому укладывать вокруг себя».

— Ей как разумному организму, — продолжал О'Мэлли, поведя рукой в сторону занавесившей окно синей ночи, — не потребны ни сердце, ни мозг или легкие, как нам, ибо она устроена по-другому. Вместо них у нее есть мы! Собственных конечностей или мускулов у нее тоже нет, вне Земли находятся только звезды. К ним она применяется всем своим телом, неуловимо меняя походку или еще более тонко отзываясь на уровне вибраций. Океаны могучим зеркалом отражают свет небес, атмосфера, подобно гигант-

ской линзе, собирает и преломляет его, облака и снежные равнины сливают в белизну, а леса и цветы разбрызгивают пестрым покрывалом… Люди издавна слагали сказки об ангелах, которые обитают среди света, не нуждаясь в земной пище и питье, о посланниках между людьми и Богом. И вот перед нами существа, живущие в области света, которым не нужны еда и питье, посредники меж Богом и нами, повинующиеся вышней воле. Значит, если небеса действительно обитель ангелов, небесные тела как раз и должны быть теми ангелами, ибо иных нет. Да! Земля — общий великий ангел-хранитель, ибо наблюдает за всеми нашими интересами. А теперь, — прошептал ирландец, видя мой неослабевающий интерес, — послушай о том, какое видение посетило Фехнера. Заметь простоту и силу убеждения.

«Как-то весенним утром я вышел на прогулку. Поля зеленели, птицы пели, на траве поблескивала роса, там и сям поднимался дымок, изредка встречались люди, и на всем лежал свет преображения. Это был всего лишь уголок земли, лишь миг ее существования, однако, по мере того как мой взгляд обнимал ее всё шире, я всё больше укреплялся в мнении, что она действительно ангел, что это не некое представление, а явный факт:

ангел столь щедрый, ободряющий и цветущий и вместе с тем столь неуклонно совершающий свои круги по орбите, в мире с собой, обернув свое живое лицо к Небесам… А вместе с Землею я тоже уносился к Небесам. И я спросил себя: неужели люди могли настолько отвернуться от жизни, чтобы вообразить Землю сухим комком грязи и заняться поисками ангелов над нею в небесной пустоте, чтобы не обнаружить нигде?»

Строй признаний был нарушен заполошным трезвоном пожарных машин, пронесшихся внизу, последние слова заглушены криками…

Однако жизнь внутри тесных стен гостиной обрела чудесное свойство благодаря величию концепции, которая воодушевляла. Вера обрела глубину и ширь симфонии. Мы оба подпали под очарование всепобеждающей красоты. Ее силой мог не воспользоваться разве что внутренне умерший. Истинно великие идеи укрепляют волю. И те жизненные неудобства, которые приходится переносить, вовсе не должны ни умалять истинную радость, ни обесценивать усилия.

— А теперь пойдем, — негромко сказал О'Мэлли, прерывая мои мечтания, полные надежд, — давай прогуляемся до твоего дома по парку. Уже поздно, а тебе, я знаю, рано вставать… раньше,

чем мне.

Миновав статую Ахиллеса, мы ступили на траву, ощутив под ногами частицу живой планеты посреди придавившего ее своей громадой Лондона. Вокруг нас и внутри витало благоговение, вызванное всеохватностью идеи. По полоске живой травы мы двинулись к Мраморной арке, живо чувствуя, что ступаем по коже Существа, физического воплощения великого Ангела, живого, разумного, сознающего. Более того, оно знает, что мы сейчас по нему ступаем, заботится о наших маленьких отдельных личностях, чувствует нас, понимает и — любит, как мать любит своих детей… «Которой можно молиться, как молятся святым».

Эта концепция, пусть набросанная лишь в общих чертах, смутно и сумбурно воспринятая, принесла с собой совершенно новое восприятие жизни как чего-то поразительного и вечного. Всё живое на поверхности земли было эманацией ее души, всё — от знавших о ней богов и фей стародавних времен до современных мужчин и женщин, о ней позабывших.

Богов!

Значит, и они были проекциями ее личности, ее аспектами и гранями, эманациями, кото-

рые она теперь вобрала опять в себя? И теперь, дремлющие внутри, не существуют ли они как настроения и силы природы — настоящие, живые, вечные, но непроявленные до конца? Но всё еще ощутимые для людей простых, для Детей Природы?

Не такова ли была великая правда, выведенная Шталем из теории Фехнера?

Казалось, всё вокруг нас — деревья, воздух, пространство парка — сливается в огромную единую фигуру, становясь одним невыразимо прекрасным богом из всех, что выжил с тех времен, — вечным и величественным Паном, настроением жизни Земли, ее проекцией, одетым светом звезд, туманом, страстью ночи, волнением царственного всеохватного Расположения Духа.

И прочие витали недалеко — те частицы Сознания Земли, существование которых древние греки и те народы, что предшествовали им — простые, примитивные, по-детски восприимчивые люди на заре истории, — ощутили и поименовали «богами»… и которым поклонялись… чтобы в экстатическом порыве и через видения причаститься их силе…

Нельзя ли тогда и сейчас вызвать их поклонением? Возможно, истинной веры даже един-

ственного человека достанет, чтобы коснуться хотя бы одной грани могущественного Сознания Земли и вызвать к жизни древние формы прекрасного? И не может ли это представление о «богах» быть вечно истинным и живым? Удастся ли познать и почувствовать их сердцем, если не в какой-либо определенной форме?

Я лишь знаю, что по пути из пристанища Теренса О'Мэлли в Пэддингтоне, с его пропыленными книгами и бумагами, до моего дома потрясающее великолепие того, о чем он говорил, навсегда поселилось у меня в голове. Сами слова позабылись, как, впрочем, и то, каким манером он ухитрился заставить меня выслушать его рассуждения. Но они и по сию пору волнуют мне кровь, словно только-только впитались. Когда же конфликт меж долгом и желаниями делает жизнь совсем невыносимой и пустой, память вызывает на подмогу силы, намного превосходящие мои собственные. Земля способна лечить и утешать.

XVIII

Наш пароходик пыхтел себе не спеша по Ионическому морю. Когда мы обогнули каблук итальянского сапога, пирамида Этны еще долго синела на западе, но затем и она растаяла в дымке. Кругом ни паруса.

Стоило нам миновать Калабрию, как весна сразу перепрыгнула в лето; нас ласкали те же ветры, что некогда обвевали щеки и волосы возлюбленной Зевса, Ио, когда она устремилась на юг, к Нилу. Лишенные привлекательности прекрасной дочери Аргоса, пассажиры корабля, у которых в крови приключения не бурлили, а вяло пошевеливались, нежились на солнце, но для тех, чьи сердца были готовы к странствиям, море не теряло таинственной привлекательности. По крайней мере, ирландец выскользнул за пределы своего тела, подобно Ио наблюдая за происходящим сверху. Сфера его сознания расширилась, чтобы принять в себя эту картину.

Кашалоты пускали фонтаны, дельфины разных размеров танцевали, словно повинуясь буйным ритмам Дионисовых флейт, всплывая

из прозрачных волн почти у самого борта, но успевали нырнуть и спасти свои блестящие носы; а туристы на протяжении всего дня, вопреки развешанным по стенам расписаниям захода в порты, то и дело обращали свои бинокли на восток, пытаясь различить берега Греции.

Тем временем О'Мэлли ступал по палубе иного корабля. Теперь для него море и небеса были населены вдвойне. Ветер принес весть о том, что освобождение грядет, а тепло жемчужно-сияющего солнца согрело те центры его существа, которые прежде непрестанно зябли. О'Мэлли знал, что страна, куда стремился пароходик, лишь оболочка, откуда некогда оживлявший ее дух красоты уже улетел. Но она оставалась ключом. Древняя красота, выражавшая настрой юного сознания земли, была сокрыта, похоронена, но не уничтожена. Она еще где-то пламенела. И прежде, задолго до расцвета Древней Греции, она проявлялась еще сильнее, сомнений не было: непередаваемо потрясающий Настрой Души Земли, слишком могучий для человеческой истории и настолько иной, что лишь самым выдающимся мыслителям, тем, что не побоялись пустить свое воображение в полет, оказалось под силу его представить. И, по признанию Шталя, это

настроение Прамира, даже в самом призывном варианте, современному человеку не могло не представиться опасным.

А его собственная Личность под руководством бессловесного незнакомца наконец двигалась к моменту воссоединения.

И всё же, пока он медленно вместе с пароходом полз по уголку вращающегося глобуса, ощущая, что в то же время приближается к месту, где каким-то образом станет возможен доступ к выражению нераздельности первожизни, во что он действительно верил, говоря робким языком современности? Даже в наших лондонских беседах, при всей их проникновенности, когда слова подкреплялись жестами, мимикой и говорящим молчанием, полностью определить значение было сложно. «Нет таких слов, нет слов, — повторял он, пожимая плечами и приглаживая нестриженые волосы. — В глубине моей души всё ясно и просто, но язык не способен передать образ жизни, сложившийся прежде него. Если же и ты не можешь уловить суть моих мыслей, я с отчаянием должен отказаться от дальнейших объяснений». А при бесструктурном письменном изложении результат выходил довольно сбивчивый.

Но если передать вкратце, хотя бы по тому, что сохранилось у меня в памяти, когда я пытаюсь рассказать эту историю другим, то О'Мэлли ощущал, переживал и верил на протяжении своего приключения примерно в следующее.

Что Земля, как живое, разумное Существо, некогда производила видимые проекции своего сознания, сходные с теми проекциями человеческой личности, какие современные психологи полагают возможными; что простота его натуры и неутолимое стремление к дикой природе, неразрывно связанные с ней, на самом деле проистекали из глубинной связи с жизнью Земли; если физическое удовлетворение этих стремлений было невозможно, то он не терял надежды, что духовно сможет соединиться с душой планеты и так достичь цели. Далее, что та часть личности, способная войти в субъективно созданный рай, которую Шталь называл «подверженной влиянию желаний и устремлений», во сне иногда отделялась от тела на время, а со смертью — навсегда. И более того, что состояние, в которое он тогда бы вошел, означало бы квазислияние с жизнью Земли, частичным выражением которой он являлся.

Подобная близость Природе в наши дни столь

редка, что даже возможность ее мало кем признается. Те же, кто ею обладает, по словам доктора, были «Космическими Существами… почти неотделимыми от жизни Духа Земли». Прямое выражение жизни Земли, атавизм тех времен, когда подобные выражения еще не обособились от нее и не стали человеческими личностями. Но часть самых ранних проявлений или проекций сознания Земли, воплотивших в своих пугающе огромных формах простую гармонию и величие ее существа, всё же сохранилась. Они попадают под определение «богов» в интерпретации ограниченной человеческой способности, именуемой Воображением.

Зов простой жизни, безыскусной невинности и чуда, всегда переполнявшие сердце ирландца, прежде непонятные для него, могли бы с годами в текучке дел уснуть и атрофироваться совсем, если бы ему не повстречался еще более непосредственный пример, более выраженный, чем он сам. Мощная сущность «русского» пробудила все чувства О'Мэлли, усилив их многократно простым своим присутствием. Объяснений, слов вообще не потребовалось. Он мог еще противиться призыву. Но мог и принять. Возможно, «внутренняя катастрофа», которой он страшился, не была

неизбежной и перемена — безвозвратной.

В конце той памятной беседы доктор Шталь повторил свое предложение: «Не забывайте, вы можете занять койку в моей каюте до самого Батума». Однако, поблагодарив, О'Мэлли всё же стряхнул заботливо удерживавшую его руку, зная, что больше не воспользуется предложением приятеля.

Потому что русский незнакомец с сыном его каким-то образом освободили.

Весь день он провел, то спускаясь к себе в каюту, то поднимаясь на палубу. Там, внизу, он рассказывал, насколько они продвинулись, подбирая наиболее подходящие короткие предложения, и в то же время давал волю своему растущему восторгу. А мальчик тем временем не мог усидеть на месте: он то играл в одиночку, как дикарь, то без шляпы стоял на носу, всматриваясь вдаль из-под руки, а то уже на корме, опираясь на перила и глядя на вспененную винтами воду, несущую их вперед. Время от времени он также забегал в каюту, принося отцу вести.

— Завтра на рассвете покажется мыс Матапан, — заметил ирландец. — После этого мы проведем в Афинах несколько часов, а оттуда пойдем через Циклады, на небольшом отдалении

от материка.

Притворяясь, что занят перекладыванием вещей в чемодане, он бросил взгляд на верхнюю койку и увидел, как на широком лице соседа разливается счастливая улыбка, словно восходит солнце…

С приближением к Греции попутчики начали меняться. Особенно это было заметно у отца. Наполнявшая его радость, слишком большая и искренняя, чтобы считать ее простым возбуждением, не могла удержаться внутри и исходила от него почти видимыми волнами. Несомненно, так воспринимало происходящее сознание О'Мэлли, визуализируя духовные черты расширявшейся Личности соседа. Как бы то ни было, но тот на глазах становился крупнее. Внутреннее он стал намного активнее и энергичнее, а это примечательное восхождение духа зримо распространило вокруг него ощущение редкого достоинства.

Такое проявление вызывалось внутренним расширением от счастья. Малозаметные черты характера, которые они выказывали обычно, были лишь одной из множества граней, лишь верхушкой цельной личности. В глубине таилось намного больше. Как и у прочих людей, сильные переживания вызвали их ближе к поверхности.

Совершенно ясно, что для обоих Греция знаменовала отправную точку их скрытой страсти. Там их ожидало нечто важное, оттуда должна была явиться помощь.

И, как отраженный свет, в Теренсе начала нарастать сходная перемена. Его охватила радость — радость возвращения домой, куда он давно стремился…

В то же время на подсознательном уровне предупреждения доктора Шталя всё же не остались без внимания. О'Мэлли чаще бывал среди других пассажиров. Приходил поболтать с капитаном, который был так доволен благополучием своей большой семьи на корабле, словно самолично обеспечил эту ясную погоду, что привела всех в хорошее расположение духа; беседовал с армянским священником, который рад был показать, что «начитан в Те'крее и Киплнге», и того больше — с хвастливым московским купцом, «завладевшим» всеобщим вниманием в курительной комнате и самоуверенно изрекавшим тривиальные суждения на шести языках, — воплощенным провинциалом. Последний в особенности не давал ирландцу оторваться от человечества, источая густую атмосферу эгоизма и незатейливости, простоты самого обыденного толка,

свойственную большинству людей. Купец действовал на О'Мэлли вроде успокоительного, и в те дни ирландец принимал его в больших дозах, аллопатически, поскольку болтовня москвича составляла мощный антидот стрессу негаснущего возбуждения, которое, согласно Шталю, грозило разрушением личности.

Вряд ли в том смысле, на который рассчитывал, но купец был совершенно великолепен — занятен, как ребенок, ибо среди прочих качеств он обладал безошибочным инстинктом сноба, отчего становился желанным для друзей, чьи имена или положение могли расцветить его собственное ничтожество, причем сыпавшиеся из него как из рога изобилия истории служили красноречивой иллюстрацией полезности такого навыка. О'Мэлли выслушивал его излияния с серьезной миной, время от времени подогревая невинными вопросами. Остальные вели себя сходным образом, ощущая созвучие своим устремлениям. Даже священник с регулярностью пулемета выстреливал порции мелкой гордости оттого, что в венецианском монастыре жил в той же комнате, где когда-то останавливался Байрон. И наконец, сам О'Мэлли ощутил нарастающую потребность поделиться рассказом о недавно

обнаруженном родстве с превосходящей душой и сознанием. Ведь, по сути, отметил он про себя, слушая чужие речи, грубое и неразвитое желание сноба сродни стремлению мистика слить свое «я» с более великим!

Затем, устав от них всех и их мелких устремлений, он вышел из курительной и присоединился к мальчику в его диких перебежках с носа на корму, играя с ним в прятки на палубах и даже в шаффлборд[40]. Они жарились на солнце и наблюдали за тем, как танцует море, с радостным криком ловили ветер в лицо и указывали друг другу пальцем на быстро меняющиеся очертания редких облаков, которые плыли в голубизне над ними. Безмолвно оба чувствовали, что невидимые, быстрые существа, обитавшие за пределами ощутимого, вступили с ними в игру. И тогда курительная с ее завсегдатаями, жадными до вещей, пахнущих деньгами — мехов, шампанского, сигар и весомых приобретений, символизировавших личную значимость, которую они так ценили, — показалась ирландцу сущим склепом,

[40] Примечания: 40

Шаффлборд — первоначально игра, во время которой по размеченному на секторы участку палубы с помощью клюшек перебрасывали деревянные или металлические диски. Впоследствии получили распространение настольные варианты.

где умирающие сидят и в слепой гордыне составляют список своего достояния, которое им всё равно не унести с собой.

Поистине, это был контраст между Жизнью и Смертью. Ибо сейчас с ним рядом, в этом играющем молчаливом мальчике, бурлила сила преобразующей прелести, дышавшая над миром, еще не знавшим человеческой суеты. Земле не требовалось ничего приобретать, поскольку она была самодостаточна. А он… он был ее сыном. О, что за радость! Невероятное счастье!

XIX

Невежество считать личность независимой.

***Джосайя Ройс*[41]**

Наподобие явственного сна, когда ничему почти не удивляешься, а слово «чудо» служит надежным пропуском, припоминалась ирландцу последовательность событий следующего дня.

И всё же его возбуждение не походило на горячку: оно охватывало весь организм, не сосредоточиваясь лишь в мозге или крови, будто проистекало из обычно не задействованных, а у большинства и вовсе атрофированных слоев личности, соединявших его с Природой и Землей тонкой сетью нитей-щупалец. Постепенно

---

[41] Примечания: 41

Джосайя Ройс (1855–1916) — американский философ-идеалист. С 1892 г. профессор истории и философии Гарвардского университета. Находился под сильным воздействием идей немецкого классического идеализма, главным образом философии И. Канта и Г. Гегеля, а также английского философа-неогегельянца Т. Грина. Ройс развивал концепцию «абсолютного волюнтаризма», согласно которой отдельные личности в совокупности составляют «универсальное сообщество», выполняющее волю «абсолютной личности», влекущей нас в потусторонний мир «божественной» гармонии. Долгие годы полемизировал с Уильямом Джеймсом, их спор получил название так называемой «битвы за Абсолют». Философия Ройса оказала влияние на американский неопрагматизм и персонализм.

он научился вычленять это состояние, подобно человеку, которого отклонение от нормы заставляет осознать процессы, обычно протекающие в теле безотчетно.

Пожелай он получить более точную информацию, Шталь мог бы ему сказать, что причиной неугасающего беспокойства и стремлений служила область подступов к более широкому сознанию, обнимающему звезды, ветер и Землю. Та часть, что признавала Землю матерью и стремилась обрести сладость необузданной свободы, которую О'Мэлли по причине бедности современной речи называл примитивной. Каналы к Космическому Сознанию, единению с жизнью Земли были теперь прочищены и промыты силами, источаемыми его соседями по каюте.

И по мере того, как это новое состояние овладевало им, остальные душевные силы подстраивались, а другие части погружались на время в состояние ожидания. Несмотря на внутреннюю тревогу, искушение было слишком велико, чтобы противиться. О'Мэлли серьезно и не пытался ему противостоять, хотя отлично понимал: тогда тому, что люди гордо именуют Разумом и Здравым Смыслом, остается отойти в сторону.

Подобно животным, птицам и насекомым,

непосредственно связанным с Природой, он совершенно явно начал ощущать те токи Земли, благодаря которым в глубинах моря определяют направление тюлени, в небесных просторах голуби находят дорогу домой, перелетные птицы безошибочно устремляются на юг, дикие пчелы уверенно снуют по своим делам и всякая жизнь — от краснокожих индейцев до рыжих муравьев — признает руководство материнского всеохватного сердца. Космическая жизнь наполняла собой его жилы, повсюду зажигая бакены, предлагая помощь, зовя за собой.

Однако вместе с тем личность не исчезла. Напротив, интенсивность индивидуального восприятия жизни усилилась, и у О'Мэлли впервые зародилась надежда достичь большей полноты, что в гармоничном единстве сольет древнюю простоту души, обнимающую Землю, и сложность современности, которая сама по себе делает мир столь уродливым и мелким! Его душа, или elan vital[42], говоря словами Бергсона, получила невероятной силы импульс.

---

[42] Примечания: 42

Жизненный порыв *(фр.).* Бергсон писал о жизненном порыве как творческом начале обновления мира, силе, пробивающей все нагромождения косных форм в культуре, экономике, политике, религии, чтобы породить обновленные формы, с которыми жизнь вскоре вновь вступит в борьбу.

Правда, первый заряд нового открытия был более чем смущающим, поэтому неудивительно, что ирландец потерял равновесие. Натиск опрокинул его. Собственно, виной тут экзальтация, наложившаяся на радость. К примеру, он вообразил, что одно появление на горизонте Греции вызовет кульминацию, откровение, станет ясно, к какому именно типу ранних духов относились его соседи, и, более того, их истинная сущность откроется всем вокруг после их исхода или какого-то несдержанного поступка — короче, всем пассажирам станет ясно, кто они такие, а доктор навсегда зафиксирует их под своим микроскопом.

Тем не менее, когда светлый абрис Греции поднялся из моря, его соседи по-прежнему мирно спали на своих койках. Предполагавшейся развязки не произошло. Вообще ничего не случилось. Простого вида какой-либо земли, лежащей на прохладной щеке моря, не могло быть достаточно для приключения такого рода. Ибо оно оставалось духовным. О'Мэлли просто спутал два пласта сознания. Как обычно, свойственным лишь его воображению способом он видел всё в целом, отсюда и его ошибки.

Но тот момент навсегда остался для него пол-

ным волнующего великолепия, соизмеримого с жизнью и смертью. Тогда, припоминал О'Мэлли, выйдя ранним утром на палубу, он увидел, как рассвет начал заниматься над островами, принося с собой свежий соленый ветер, и тот волшебной музыкой проник в самое сердце. Взошло ясное золотое солнце, а под ним, словно лепестки гигантского архетипического цветка, из которого оно поднялось, раскинулись на берегу и островах голубые холмы. Мимо скользнули обрывистые скалы Матапана, за ними — голые склоны древней береговой линии: безлесные вершины и отроги, отдельные пики и горные хребты, окрашенные нежными розовыми лучами. Он видел Грецию и раньше, но такой — никогда, и теперь чувства, охватившие всё его расширившееся сознание до последнего уголка, были значительно глубже псевдоклассического возбуждения прежних лет. Теперь он видел, чувствовал, узнавал ее изнутри, а не как внешний наблюдатель. Настроение просыпающейся Земли передалось ему. Он просыпался вместе с Землей, и это его душу, как голубые зубцы гор, омывала и румянила волна света. И видел он это тоже вместе с нею через ее открытое око, одно из многих.

Жара на стоянке в гавани Пирея была еще

утомительнее, а грохот разгрузки-погрузки оглушительнее, чем в Катании. Пока туристы суетливо собирались сойти на берег поболтать среди развалин древних храмов, оснастившись путеводителями и фотоаппаратами, он в одиночку бродил по палубам, погруженный в свою мечту, сознавая, что сумел преодолеть безмерные просторы под водительством великого Существа, которое всё более овладевало им. За лесом мачт и корпусами кораблей, которые пришли сюда изо всех портов Средиземноморья и Леванта, О'Мэлли видел, как к вокзалу в тени храма Тезея медленно подходил паровоз, но в то же время взгляд ирландца сквозь дымку достигал Элевсинского залива, а топот участников длинного факельного шествия не мешал различить силой высшего сознания формы витающих здесь богов — выражений всеобъемлющей личности Великой Матери, с которой древние люди могли, по их верованиям, слиться при богослужении. Его разум заполнили важные истины Таинств высшего порядка, с тех пор выродившиеся, позабытые и неверно толкуемые. Ибо главным деянием этого мудрого культа, отвергнутого более грубыми временами, когда «современнее» связываться с небесами по телефонной линии, было слияние

ученика со своим божеством: поклоняясь на протяжении жизни, тот наконец воссоединялся с Личностью божества во время смерти через своеобразный брачный обряд.

«Боги! — вновь пронеслось в охваченном страстным восторгом мозгу, когда вернулся к нему смысл прежних штудий, одушевленный впервые обитающим здесь духом. — Боги! Аспекты ее безмерного существа, проявления расширяющегося Сознания, Силы жизни, правды и красоты!»

И всё это время доктор Шталь, порой издалека, порой подходя ближе, следил за ним — наполовину по-отечески, наполовину как врач, — а ирландец принимал его внимание без всякой досады, почти безразлично.

— Сегодня я буду на палубе между двумя и тремя часами ночи наблюдать комету, — как бы между прочим заметил немец, когда они повстречались ближе к вечеру на мостике. — Возможно, увидимся…

— Конечно, доктор, скорее всего, так и выйдет, — отвечал О'Мэлли, осознав, как пристально за ним следят.

Но в голове у него крутилась совсем другая мысль, и к вечеру он вполне в ней укрепился:

«Всё произойдет сегодня — внутренняя катастрофа, сродни смерти! Я услышу призыв к бегству, к избавлению…»

Он знал вполне определенно, словно кто-то разъяснил ему в подробностях, что его соседи проспали весь день, готовясь к побегу. Текучие их проекции тем временем где-то еще неутомимо вели подготовку. Тела глубоко спали, а поднявшийся дух был бодр. Пробужденный теми непонятными лучистыми силами, которые слово «Греция» вызывает даже у людей самого прозаического склада, он уже почти высвободился. Вновь О'Мэлли увидел те облачные тени, свободно несущиеся, словно ветер, среди голых длинных холмов. Образ возвращался с упорным постоянством. А ночью и его личность может высвободиться. Предупреждение Шталя огненными буквами проступило у него перед внутренним взором. Поэтому ирландец с некоторой неловкостью, но с облегчением проводил взглядом фигуру доктора, который, шаркая, спускался вниз по лестнице. И остался один.

XX

Человек всему, что делает, должен отдавать всё внимание безраздельно, или всё свое эго. Стоит так поступить – и вскоре начинают возникать мысли либо даже чудесным образом приходит новый метод постижения...

Самое примечательное: окунувшись в эту игру внутренних сил, человек впервые осознаёт особую свободу, будто, очнувшись от глубокого сна, понимает, что наконец попал домой, будто в душе впервые занялся рассвет… Сущность, оказывающую на нас воздействия, которые, в свою очередь, вызывают впечатления, мы называем Природой, поэтому Природа непосредственно связана с теми функциями нашего организма, которые мы называем чувствами. Поэтому неведомые и таинственные связи и взаимоотношения внутри организма намекают на сходные соответствия с Природой, и оттого Природа являет собой то чудесное братство, куда мы входим благодаря своему телу и которое познаем через его строение и способности.

Новалис. «Ученики в Саисе»

И вот наконец опустилась ночь, полная звезд тьма с мягкими синими тенями и фосфоресцирующим морем, из которого едва видными контурами поднимались холмы Циклад, словно похожие на цветы клубы дыма, которые ветер мог отнести на небо.

Далеко за кормой остались долины Марафона, слегка подрумяненные алыми цветами тамариска. Необычно-пурпурный закат над Гиметтом[43] давно погас. Тишина стояла над морем, налившимся чудесной кобальтовой синевой. Земля безмятежно уснула. Половина всей ее жизни погрузилась в бессознательное состояние.

Откликаясь на вечные чары грез Земли, О'Мэлли заново испытал магию ее Ночи. Ему труднее, чем прежде, стало воспринимать те мелкие существа, что сновали в верхнем слое тьмы, по отдельности. С уверенным жужжанием серебристые крылья несли его душу всё выше, ближе и ближе к Дому.

Два мира странным образом перемешались. Те снующие «внешние сущности» обратились в более-менее ясные символы. Они несколько отличались друг от друга в зависимости от сложности. Некоторые из них служили каналами, которые вели прямо туда, куда он направлялся; другие же совершенно потеряли связь с источниками жизни и центром существования. К первым относились моряки, дети, уставшие от долгого перелета на север и опустившиеся на корабль

---

[43] Примечания: 43
Гиметт — гора в Аттике.

птицы — ласточки, голуби и другие маленькие путешественницы с пестренькой желтой грудкой, присевшие передохнуть на оснастку; даже в определенной мере мягкий кареглазый священник. Ко второй же — шумные, вульгарные, постоянно пьющие пиво туристы, а в особенности торговец мехами. Шталь, как переводчик и посредник, располагался где-то посередине, воплощенный компромисс.

Через некоторое время, ускользнув от всех, ирландец пришел на нос судна и там, под звездным пологом, стал ждать. Чего он ждал? Того, о чем предупреждал Шталь, — отъединения части своей личности. И ощущение, что это вот-вот произойдет, нарастало, охватывая волной как жар или холод, столь же всеобщее и не сосредоточенное нигде конкретно. Та часть его личности, где росли и зрели его устремления все эти годы, теперь медленно и целенаправленно высвобождалась. Она несла тоску по Прамиру, и этот Прамир теперь был готов вобрать ее в себя. Призыв был услышан.

Значит, здесь, неподалеку от островов Греческого архипелага, пролегал путь к юности Земли, канал, по какой-то причине оставшийся незакрытым. Его соседи по каюте знали это, да он и сам

наполовину угадал. Их повышенная психическая активность на подходе к Греции теперь нашла объяснение. Но каким будет тот знак — звук, свет, касание? Скоро он узнает и последует за ним.

Вечером Шталь сказал:

— Греция их выявит.

— Их истинный вид? — уточнил ирландец.

И вместо ответа доктор весьма выразительно наклонился до полу, почти встав на четвереньки.

О'Мэлли живо помнил эту сцену. Но нужное слово никак не приходило. Ибо оно на самом деле лишь отчасти описывало форму и контуры, означающие нечто большее — свойства Природы и Божества в совокупности.

Итак, подобно человеку, страшащемуся отправиться навстречу великому приключению, которого он жаждет, ирландец стоял в одиночестве, окутанный тьмой. Тонкие золотые нити, соединяющие звезды и море, соткали вместе с тьмою покрывало, за которым мир с его грубыми чертами скрылся от глаз. Воспоминания о современных преходящих реальностях, столь бередящих ему душу, тоже отодвинулись далекодалеко. А мир архетипов, душа Земли, придвинулся ближе и обступил, безмерно-огромный

и бесхитростно-простой. Казалось, Теренс совсем один в укромном уголке ночи, который Время просмотрело, и его баюкают на гигантских и вечных руках силы моря и воздуха. В этом уголке, в этой складке лежал вход туда, куда он вскоре может перенестись: в сад юной красы Земли, в ее Золотой Век, в тот канал, откуда должен прийти властный Призыв… «О, что за сила ясной простоты!»[44]

Сюда его принесли крылья из прошлого, тихие и легкие, в мир древнего покоя, куда не достигают дрязги сегодняшних дней. Несомненно, он цвел задолго до Древней Греции, но ее жители успели уловить часть его духа, прежде чем тот исчез из мира людей, и даже пытались воскресить его силами поэзии, но не все ей верили. Над доли-

---

[44] Примечания: 44

Строка из стихотворения Джона Китса «Сонет, написанный на последней странице поэмы Чосера „Цветок и лист“» *(Sonnet. Written on the Blank Space of a Leaf at the End of Chaucer's Tale of «The Floure And The Lefe»*, 1817):

This pleasant tale is like a little copse:
The honied lines so freshly interlace,
To keep the reader in so sweet a place,
So that he here and there full-hearted stops;
And oftentimes he feels the dewy drops
Come cool and suddenly against his face,
And, by the wandering melody, may trace
Which way the tender-legged linnet hops.

Oh! what a power has white Simplicity!
What mighty power has this gentle story!
I, that do ever feel athirst for glory,
Could at this moment be content to lie
Meekly upon the grass, as those whose sobbings
Were heard of none beside the mournful robins.

нами и холмами Эллады этот дух задержался на время, но потом всё же канул навсегда, а те, кто грезит о нем, скитаются бесприютно, в тщетных поисках, потерянные граждане исчезнувшей страны, отвергнутые кругами более тщеславной и деятельной жизни, пришедшей на смену.

Да, сам Дух Земли шептал ему на ухо об этом, пока он ждал, укрытый ночью и звездами. Земля взывала к нему, словно через все леса на ее груди пронеслись сладкозвучные ветры, шепча его имя. С неудержимой страстью Прамир призвал его к себе. Пока он лежал на свернутых бухтах просмоленного каната, почти божественные потоки жизни Земли нежно, как могут только ручки маленьких детей, притягивали к себе высвобождающуюся часть его личности, словно побуждая его припасть губами к мощной груди Великой Матери. Он вновь увидел те похожие на облака фигуры, скачущие по длинным голым холмам… и почти ощутил себя среди них, несущимся наперегонки с ветром, на свободе, в окружении старинных товарищей, для которых он не был больше чужим, и соседи по каюте тоже были тут. Древняя память Земли проникла в него, став частью Земли, он разделял с ней и память.

Прамир величественно сомкнулся вокруг.

Гигантские фигуры нечеловеческой красоты и мощи, некогда бывшие его друзьями, но отринутые мелочностью более поздних времен, теперь преодолели ложные барьеры времени и пространства и пели великую Песнь Земли ему навстречу. Шепот перешел в призывную песнь… Дух Земли подлетел вплотную, и не услышать его было нельзя!

Но тут Теренс очнулся от своей удивительной грезы — к нему кто-то крадучись, но стремительно приближался из темноты. О'Мэлли вздрогнул и сел, озираясь по сторонам. Одежда и волосы были покрыты росой. Он заметил, что звезды переменили свое положение.

До ушей донесся плеск волн, рассекаемых носом корабля. Берег с обеих сторон был недалеко. Сверху О'Мэлли различил темные контуры снастей, подрагивавших от движения, раскачивающийся на мачте фонарь, неопределенные сгустки темноты там, где висели шлюпки, смутно круглившиеся дымовые трубы, и совсем неподалеку, между канатов и якорной лебедкой, торопливую фигуру, чье появление прервало его потрясающий сон.

О'Мэлли безошибочно определил, что, выйдя из сновидения, в некотором роде фигура эта

принадлежала к тому же миру, что и длинный этот пароход, влекущий его по морю. Будто фрагмент сна оторвался и выпал вместе с ним в более грубый мир, где его тело лежало на бухтах просмоленного каната. Мальчик подошел и, постояв какое-то время молча, наклонился к его лицу и сказал:

— Идем! Мы тебя уже давно ждем!

В голосе его звенела радость.

Слова, словно музыка, разнеслись над морем, О'Мэлли взял протянутую руку мальчика, поднялся и дал увлечь себя на нижнюю палубу. Вначале он двигался как во сне, не до конца пробудившись, и не раз ему казалось, что они перешагивают с палубы прямо на берег, зазубренная линия которого прижималась к ним почти вплотную. В соленый ветер вплетались ароматы цветов, земли, лесов, а пласты тьмы без видимых промежутков соединяли море, берег и корпус корабля.

XXI

Огни в кают-компании потушены, курительная опустела, все пассажиры спят в своих каютах. Корабль казался совершенно безлюдным. Только на мостике виднелась тень первого помощника капитана, который мерно ходил туда-сюда. Но на корме О'Мэлли вдруг различил другую фигуру — огромная и неподвижная, она вырисовывалась на фоне фосфоресцирующей пены, и ирландцу показалось, словно фигура эта перенеслась сюда из его сна, словно Летящий Контур отделился от его подсознания и наконец видимо предстал перед ним.

Теперь Теренс двигался увереннее, хотя в полном смятении чувств, будто сознание теперь еще быстрее переносилось в ту часть его личности, которая стремилась вырваться.

Закутанные в знакомый развевающийся плащ, спина и плечи того, кто стоял, опершись на фальшборт, сливались с ночной тьмой совершенно неразличимо. Но ни один человек не смог бы так заслонить собой палубу и небо. Возбужденный ли взор тому виной, игра теней или

покачивание корабля на фоне звезд и морской пены, но ирландец определенно видел исходившие от тела великана в пространство особые эманации. Сомнений в этом не было. И более чем когда бы то ни было они представились ему приятными и неприкрыто истинными. Ничего пугающего — бесспорное свидетельство красоты, но красоты могучей.

Глядя на него, О'Мэлли почувствовал, что стремящаяся отделиться часть его вновь, как прежде, в каюте, стала расширяться и расти. Они вместе попали в древнюю складку сновидений Земли, играя в медленных, смутных и грандиозных Снах планетарного Духа чудесные роли. Так близко к ней ощущалось действие подспудных потоков сознания Земли, когда она грезила, летя и вращаясь в пространстве, о давно минувших днях.

Здесь, на пустынной палубе, ночью, иллюзия огромности была сильна, как никогда. Уступив настойчивости мальчика, тянувшего его за собой, О'Мэлли попал во власть неудержимого желания совсем по-другому двигать руками и ногами — необычным, но в то же время странно знакомым образом. Привычное равновесие корпуса начало смещаться, шею и плечи словно что-то толкало вперед, чресла начало покалывать, спи-

на выгибалась, а грудь разворачивалась. Теренс чувствовал, что позади него нарастает что-то, способное толкнуть его в мир, расстилающийся перед ним, потрясающим, неостановимым аллюром, а слух обрел замечательную остроту. Хотя тело двигалось как всегда, он сознавал, что нетелесная часть его перемещалась совсем по-иному — не шла или бежала на двух ногах, а скакала галопом. Это еще больше сближало его с летящими фигурами на холмах. Стремящаяся отделиться часть него, теперь уже наполовину достигшая цели, таким легким галопом могла покрывать бесконечные просторы.

Всего мгновение ощущал он свободное, плавное движение своего бегущего Двойника — и вот это ощущение прошло, как мимолетное воспоминание, которое никак не дается, если захочешь его хорошенько изучить. Стряхнув наваждение и с усилием вернувшись в настоящее, О'Мэлли на время приостановил стремление своей внутренней сущности вырваться наружу. И именно когда ему удалось взять себя в руки, он уголком глаза заметил, что и мальчик изменился, подобно своему отцу: вырос в размерах, а сгустившиеся вокруг него тени обрисовывали иной, чудесный контур тела. Расширение, наполовину совершившееся с

ним, довершилось у отца, а теперь заканчивалось и у сына. Окутанные поднявшейся на поверхность истинной формой своей сущности, они постепенно проявлялись до конца. Как если бы он стал свидетелем смерти — непонятно, строго и прекрасно.

Всё еще не выпуская его руки, мальчик скакал рядом, будто ему трудно стало справляться со своей проекцией, обретшей уже почти физическую плотность.

И тут каким-то уголком своего повседневного сознания О'Мэлли вспомнил многозначительную пантомиму доктора Шталя двумя днями ранее, в каюте. Его словно ожгло огнем. Предупреждение сработало, осторожность вернулась. Вдруг устрашившись, он опустил руку, дав пальцам мальчика выскользнуть. Ведь именно так и могло случиться непоправимое, то самое исторжение личности, после чего — смерть. То, что произошло или происходило с его попутчиками, едва не случилось и с ним, прежде чем он успел подготовиться или даже до конца решиться.

Как бы то ни было, он заколебался, и это промедление помогло центру сознания вновь вернуться в мозг и спасло О'Мэлли. После чего смятение постепенно улеглось, борьба настроений и порывов

временно утихомирилась, оставив его хозяином положения. Уже дважды — у себя в каюте и на палубе, когда Шталь удержал его, — он чуть было не отдался полностью во власть момента. И вот опять, стоило ему не отнять руки, внутреннее преображение, за которым неминуемо должно было последовать и внешнее, завершилось бы.

«Нет, нет! — пытался он крикнуть. — Я еще не готов!» Губы едва шевелились, из них вырвался лишь шепот. Однако решимость оказала действие. «Иллюзия», столь странно возникшая, рассеялась, по крайней мере пока. Он вновь мог видеть великолепие усыпанного немигающими звездами неба, твердую палубу под ногами, слышать плеск моря внизу и ощущать умиротворение южной ночи на пароходе, несущем две сотни спящих туристов по проливу между материковой Грецией и островами. Ему вспомнились торговец мехами, армянский священник, продавец сельхозмашин из Канады…

О'Мэлли чуть было не споткнулся, даже выставил руку, чтобы не упасть, когда пароход лениво качнулся на длинной волне, — они с мальчиком так быстро приблизились к великану-отцу, что почти врезались в него. Ирландец запомнил эту подробность, значит, состояние обостренного

восприятия еще не совсем прошло. «Я был будто сомнамбула или играл роль в каком-то прекрасном сновидении, — записал он. — Наполовину покинув тело, это верно, но определенно оставаясь в полном сознании».

XXII

Дальнейшее О'Мэлли пересказывал очень взволнованно, не всегда ясно. Русский великан повернул к нему навстречу голову, пропорции которой показались ирландцу величественными, словно она была высечена из глыбы ночи. Прочитать выражение глаз не позволяла темнота, но он заметил в них радостный блеск. Весь облик непередаваемо впечатлял. Массивная и в то же время полная живой энергии фигура возвышалась во мраке, полностью проявив теперь свою внутреннюю сущность, намного превышавшую человеческие масштабы. В иное время и без пережитой подготовки такое зрелище могло бы привести в ужас, теперь же оно воодушевляло. Ибо сходное преображение шло и внутри него самого, пусть даже несколько меньших размеров и приостановленное нерешительностью.

Опершись на перила парохода, ставшего, казалось, совсем игрушечным, стояли они втроем, и в них пульсировал дух спящей Земли, полный мощи, но одновременно нежный, источающий победно неотразимую притягательность весен-

них цветов. Именно это нежное касание восторга, исполненного невинной магии, помогало управиться с ситуацией, которая ничуть не пугала.

Ирландец стоял снаружи, ближе всех к корме корабля, рядом с ним отец, чуть дальше — мальчик. Они касались друг друга. И сквозь них тек поток энергии, подобный реке в паводок.

Вновь Теренс оказался внутри видимых границ расширившихся личностей, вновь был захвачен сознанием Земли. Вместе стояли они, глядя на простирающееся перед ними море, и ждали.

Корабль вошел в пролив Оро, где скалы материка на западе и острова Тенос на востоке почти смыкаются и с парохода на протяжении нескольких миль слышен звук прибоя на греческом берегу. В ту ночь, однако, море было слишком спокойно, чтобы разгуляться прибою, оно шептало во сне и тоже прислушивалось. И вот послышался гомон в набежавшей волне, фосфоресцирующий пенный гребень которой читался величественной фреской танцующих фигур и бледно светящихся лиц. Невесомые пенные силуэты держались за руки, и их бесконечные подводные вереницы расходились во все стороны, освещенные мягким светом корабельных гирлянд по бортам.

Однако не за этими мерцающими формами их троица наблюдала, погрузившись в молчание. Линза напряженного внимания фокусировалась не в диапазоне зрения. Чувствительная бахрома их расширившихся личностей в соприкосновении с планетарной душой готовилась откликнуться на иной знак. Уже наметившаяся точка слияния неминуемо откроется, но не глазу. Обострившийся слух ирландца и своего рода внутренняя чуткость вскоре подсказали верную догадку. Они втроем прислушивались.

Вскоре их расширившиеся существа отзовутся на властный сладостный призыв, которому невозможно отказать. Гласом, Зовом, первозвуком Земля сообщит им, что заметила, что с любовью ощущает их присутствие в своем сердце. И призовет их голосом тех, кто одного с ними рода.

Насколько всё было странно! Как грандиозно по мысли, пространству, масштабу! И вместе с тем как проникновенно! Причем столь безграничное величие должно было сообщить о себе по обычному каналу восприятия, через который люди, ограниченные пределами своего тела, интерпретируют бесконечную Вселенную — тривиальный слух! То, что душа получит повеление посредством колебания крошечного участка

нервной ткани, было сравнимо с другим чудом мироздания — что Бог может вмещаться в сердце ребенка.

Так, смутно, но с потрясающей безусловностью, способны люди постичь те Безмерности, что с громами славы витают над их повседневной жизнью. В области подсознательного, превосходящей ограниченность «я», так называемую «личность», подобно тому, как влага включает в себя отдельную каплю, величественно странствуют божественные сущности.

Именно тогда этому ирландцу с вольным сердцем и запретной долей крови прачеловека в жилах пришло откровение, что сознание вовсе не обтягивает тело, как перчатка, а простирается далеко во все стороны. Поэтому он и ощутил то, что произошло где-то на просторах, обнимаемых им. При этом расстояние и расширение были, конечно, лишь умственными представлениями, под стать Времени. Ибо то, что произошло, случилось совсем поблизости, в его физическом организме. При этом он понимал, что тело и мозг — лишь фрагмент его личности, его «я». И лишь малая часть происходящего просочилась в его понимание, как бы упав на палубу у его ног. Остальное он домыслил, опираясь на этот

фрагмент. И лишь совсем малую толику удалось ему переложить в слова.

А то, что тщились услышать они, было уже на подходе. «Происходило» оно уже давно, но лишь сейчас коснулось их, поскольку они раскрылись навстречу и были готовы воспринять. О'Мэлли понял, что события на физическом плане являли собой лишь бледное выражение того, что происходило внутри с неизмеримо большей силой очень давно и проистекает с тех пор. Зов Духа Земли, который они хотели услышать, всегда неподалеку, божественно-сладостный и прекрасный. Наверное, он родился где-то в синем сумраке, что окутывал холмы Греции. И оттуда через горные вершины протянулась огромная труба звездной тьмы, по которой и донесся Зов, как по каналу, прямо до них. Поклонение красоте, некогда ведомое в Греции, помогло ему достичь их сердца от самой сути Земли.

Постепенно нарастая и втягивая в себя небо, море и звезды, Зов приблизился. И они его услышали, все трое.

Он заглушил собой рокот машин корабля, бормотание и плеск моря. Протяжный, манящий и в то же время с оттенком повелительности, донесся с берега голос Земли, достиг их, перелетев

через спокойные воды пролива, и снова затих в ночи среди гор. Он пролетел по небу мощным порывом. И столь же быстро канул в тишину. Ирландец понял, что их ушей достигло лишь эхо.

По телу великана прокатилось содрогание, передавшееся мальчику подле него. Отец с сыном одновременно выпрямились, будто одна и та же сила подняла их, а затем потянулись вперед, перегнувшись через фальшборт. Казалось, они стряхивают с себя нечто. Оба молчали. Момент потрясал. Ибо Зов был исполнен очарования и повелительной силы, которая внушала страх, которой нельзя было ослушаться. Он взывал напрямую к душе.

Краткая тишина — и Зов повторился, теперь слабее, словно издалека. Он уже казался сдержаннее, глубже погруженным в ночь и шел будто с большей высоты, его относило на север, в долины и луга, дальше от берега. Хотя он оставался единым звуком, на этот раз заметны были краткие перерывы, будто слова. Это была своего рода речь: Послание, Призыв, Приказ, несущий в себе просьбу, даже мольбу.

И на сей раз призыву невозможно было противостоять. Отец с сыном подались вперед, будто их тянули, он же исторг из себя ту часть своего

существа, которая стремилась отделиться на протяжении всей ночи. Вместилище его желаний откликнулось на страстный призыв и ринулось навстречу древнему голосу вечной юности Земли. Жизненная суть его личности, летучая, как воздух, и яростная, как молния, полыхнула наружу, вырвавшись из тюрьмы, где ее давили и душили вериги современной жизни. Ибо красота и великолепие голоса издалека высвободили его сердце. Он почти физически ощутил разделение. Безудержная радость расплавила вековые скрепы.

Лишь прочная неподвижность огромной фигуры возле него предотвратила полный отрыв и заставила понять, что Зов этот пришел не для всех троих, и в особенности не для него. Отец возвышался возле него, массивный, как те холмы, где лежала его истинная родина, а мальчик вдруг радостно и певуче заговорил, всматриваясь в лицо отца.

— Отец! — крикнул он, и слова сливались с ветром и шумом моря. — Это его голос! Хирон зовет! — Глаза его сияли, как звезды, а юное лицо светилось радостью. — Идем, отец, с тобой… — Он на секунду остановился, заметив устремленные на него из-за фигуры отца глаза ирландца. — Или

с тобой! — добавил он, смеясь. — Пойдем!

Великан выпрямился и на шаг отступил от перил. Из его груди выкатился низкий звук, будто гром отдавался меж холмами. Медленно, с нажимом, звук разбился на фрагменты, ставшие словами, произнесенными с большим трудом, но непререкаемо, отчего они прозвучали как приказ.

— Нет, — услышал О'Мэлли, — ты — первый. И донеси весть, что мы — на пути! — Глядя вперед, на море и небо, он гулко закончил: — Ты — первый. Мы — за тобой!..

Причем говорил он, казалось, всем телом, а не одними губами. Море и воздух соединяли звук в слоги. Так могла бы говорить сама Ночь.

Хирон! Это слово, объяснявшее всё, пламенем взревело вокруг. Значит, именно к такому роду космических существ его попутчики и он вместе с ними постепенно приближались?

В то же мгновение, не успел О'Мэлли двинуть пальцем, мальчик одним движением, быстрым и в то же время необычно растянутым, перемахнул через перила в море. Пока он падал, казалось, что встречный поток воздуха вновь раздул невесомую сущность вокруг него, словно дым. Развевавшийся ли плащ был тому виной

или неясное колдовство теней, но контуры его тела изменились гораздо сильнее, чем прежде. Пароход шел дальше, и О'Мэлли видел мальчика в его падении до конца, когда тот уже готовился плыть — движения эти походили не на горизонтальные взмахи рук пловца, а на вертикальные удары по воде животного. Он бил ими воздух.

От неожиданности О'Мэлли снова пришел в себя. И наполовину покинувшая его часть вернулась, войдя обратно, как в ножны. Внутренняя катастрофа, которой он одновременно желал и страшился, не дошла до конца.

Всплеска он не услышал из-за высокой осадки корабля и оттого, что место падения уже было далеко за кормой. Когда мимолетный ступор миновал и голос вернулся, ирландец хотел было позвать на помощь, но отец кинулся к нему, как лев, и закрыл ему рот широкой ладонью.

— Спокойно! — громыхнул его голос. — Всё хорошо, и он — в безопасности!

Бесхитростное широкое лицо его осветилось столь чистой радостью, а в жесте заключалась такая сила убеждения, что ирландец без дальнейших сомнений принял его заверения, что всё в порядке. Кричать «Человек за бортом!», останавливать пароход, бросать спасательные

круги было не только излишне, а просто глупо. Мальчик был в безопасности, с ним всё было хорошо, он не «потерян»…

— Видишь, — раздался вновь гулкий голос отца, ворвавшись в его мысли, и великан настойчиво потянул его в сторону. — Видишь?

Он указал вниз. Там, наполовину в желобе шпигата, прямо у их ног лежала на палубе фигурка мальчика с раскинутыми руками и лицом, повернутым к звездам…

Поглотившее О'Мэлли замешательство было похоже на то, какое возникает, когда сознание переходит от бодрствования ко сну или наоборот. Цепкости внимания, позволяющей в достаточной мере концентрироваться на деталях, чтобы впоследствии вспоминать их точную последовательность, он явно лишился.

Однако две вещи помнились несомненно, о чем он вкратце и пишет: во-первых, радость на лице отца, отчего любые соболезнования были бы неуместны, и, во-вторых, появление доктора Шталя, который подоспел так быстро, что, видимо, постоянно находился поблизости.

Всё случилось между двумя и тремя часами ночи, пассажиры спали, но капитан Бургенфельдер с первым помощником появились довольно

скоро, официально зафиксировав происшествие. Показания отца и О'Мэлли были должным образом занесены на бумагу и засвидетельствованы.

Сцена в каюте доктора впечаталась ему в память: русский великан стоял у двери — он отказался садиться — и улыбался несообразно серьезности происходящего, с видимым усилием отвечая на поставленные вопросы; остальные сидели вокруг стола, поодаль; скрипело перо в руках доктора; а на протяжении всей долгой пантомимы неподвижное юное тело, накрытое брезентом, лежало на кушетке в углу комнаты, где сгущались тени. Затем, когда открыли дверь, ворвался с легким свистом свежий ветерок, а на блестящих от росы досках палубы заалел отсвет занимающегося утра. Бросив на ирландца многозначительный взгляд, отец тут же вышел наружу.

Медицинским диагнозом был объявлен обморок с остановкой сердца, вызванной перевозбуждением, и тело по решению отца должно было быть предано морю без промедления. Что и исполнили, когда солнце поднялось над высоким берегом Малой Азии.

Но глаза отца не провожали тело до воды. Они безотрывно глядели в другом направлении, туда,

где лучи солнца касались за морскими волнами гор и дол Пелиона. Даже на всплеск он не повернул головы. Широким жестом, каким-то образом включившим и О'Мэлли, он указал через Эгейское море туда, где за горизонтом лежали берега Северо-Западной Аркадии, затем приветственно поднял обе руки к светлеющему небу, повернулся и спустился вниз, не сказав больше ни слова.

Еще несколько минут небольшая группа матросов и офицеров постояла с непокрытыми головами в некотором благоговейном недоумении, а затем и они молча покинули палубу, оставив ее ветру и восходящему солнцу.

XXIII

О’Мэлли не сразу вернулся к себе в каюту, он уступил уговорам доктора Шталя и опустился в знакомое кресло, наблюдая, как его приятель прикручивает лампу и ставит кофейник.

Но лишь глазами — внимание же его было совершенно рассеянно — малая толика его сознания цеплялась за усталую физическую оболочку. Остальное витало далеко за сублиминальным порогом — внизу, с русским соседом, далеко за горизонтом, вместе со странствующим духом мальчика, но наибольшая часть — глубоко в космическом пространстве, востребованная Землей.

По крайней мере, так он чувствовал; кровь в его мозге почти не циркулировала, физические ощущения притупились. Напряжение во внешних путях сознания, обычно сокрытых, превышало всё воображаемое.

— На этот раз, — слышал он голос Шталя будто издалека, — вы почти совершенно… вышли наружу…

— Вы слышали? Вы наблюдали всё это? — пробормотал он, словно в полусне. Сосредоточиться

даже на самых простых словах удавалось с огромным трудом.

Ответа он не уловил, но почувствовал многозначительный взгляд и угадал, что доктор покачал головой. Жизнь его всё еще пульсировала где-то вдалеке. Вернуться полностью оказалось нелегко. Он продолжал ощущать всем своим существом вместе с ветром, холмами и миром: мелкие привычные ощущения впитала Природа. Он лежал на живой планете, продолжая делить с ней жизнь куда более значительную. И двигался вместе с Землей, подстраиваясь под высшую гармонию. Чувствительная бахрома его подсознания в значительной мере еще повиновалась инстинктам космического порядка.

— Теперь вы знаете, кто они такие, — завершил доктор свою речь, большую часть которой О'Мэлли пропустил. — Следующим уйдет отец, а потом — вы. Прислушайтесь к моим словам. Будьте осторожны! И сопротивляйтесь!

Мысли О'Мэлли, а вместе с ними тонкие энергии, переносящие эти мысли, устремились вслед за мальчиком. Ирландца обуревало желание последовать за ним. Столь чудесное высвобождение духа у него на глазах унесло с собой половину и его сил. Туда вскоре уйдут и они с осиротев-

шим отцом, а безысходное одиночество Теренса теперь получило исчерпывающее объяснение. Всегда звучавший призыв в тот предрассветный час наконец достиг его ушей, прежде удавалось уловить лишь искаженные отзвуки. Прочь из стесняющих пределов тела! Еще чуть-чуть — и наступило бы полное высвобождение, а теперь осталось незабываемое воспоминание. В следующий раз процесс завершится, и он уйдет.

— Выпейте это, — вдруг услышал он скрипучий голос Шталя, который приближался с чашкой дымящегося кофе. — Сосредоточьте внимание на том, что окружает вас сейчас. Вернитесь в настоящее. И расскажите мне, если, конечно, способны, — добавил доктор, наклонившись над ним с чашкой, — немного о том, что вы испытали. Понимаю, возвращение принесло вам боль. Но всё же попытайтесь…

— Вы были правы, отчасти это походило на умирание, — пробормотал ирландец. — А теперь я пойман и посажен в клетку, маленький и незначительный.

Он едва не плакал. Что за мерзкая мелкая жизнь!

— Лишь оттого, что вам удалось на мгновение причаститься космического сознания, теперь

ограниченность обычного переживается столь остро, — более сочувственно добавил Шталь.

Он присел рядом с О'Мэлли, пригубив кофе.

— Распространенный по всей Земле, я ощущал себя восхитительно живым, — прошептал О'Мэлли и содрогнулся, окинув взглядом каюту и отметив, какие маленькие тут иллюминаторы и дверь. «Обшивка» реальности угнетала его. — Теперь я снова в тюрьме.

После недолгого молчания доктор заговорил, словно про себя, ни к кому особо не обращаясь.

— Все сильные эмоции, — негромко начал он, — затрагивают выход личности в область, которую теперь называют подсознанием, и в гневе, любви, экстазе человек более велик, чем обычно. Но вам, возможно, удалось постичь наивысшую форму — слияние с самим существом Земли, непосредственное и полное. Удалось ощутить Дух Жизни всей планеты. Вы почти переступили порог, расширенная часть вашего существа краем слилась с ней. Земля задела вас, и вы поняли…

— Задела? — Необычное выражение привлекло внимание.

— Обычно то, что происходит внутри нашего организма, мы не ощущаем, — с легкой улыбкой отвечал доктор, — пока что-то не разладится

и не привлечет к себе внимание. Сигнал боли заставляет осознать это. Тогда подсознательные процессы признаются сознанием. К примеру, стоит задеть легкое, и вы сразу признаете и почувствуете его существование. Выделите из подсознательного фона в область острого личного восприятия. Сходным образом слово или настроение способны стимулировать некую область, которая обычно далека от осознания. Прошлой ночью области вашего расширенного «я», для большинства людей слишком далекие от восприятия, вошли в соприкосновение с самой Землей. Она задела вас, ранила, и через эту рану вы смогли соединиться с нею. Пережитое — истинно Космическое взаимодействие.

О'Мэлли слушал, но не слова приятеля. За немецкими выражениями, нелегкими для восприятия, его разум различал стремительное движение мыслей. Те текли в направлении, сходном с его размышлениями, отчего ирландец почитал услышанное истинным для себя. И с восхищением признал искусность этого судового медика с мистическим уклоном, с которой тот стремился ввести его в более безопасные области нормального состояния. Шталь ничего не отрицал. Уловив волну переживаний кельта, он

позволил своим мыслям сочувственно течь рядом, постепенно, но настойчиво опуская с небес на землю.

И результат оправдал старания: О'Мэлли возвращался, но не мог устоять перед искушением хотя бы частично, умозрительно, передать понимающему человеку пережитое приключение. Да кто из знакомых стал бы вообще слушать такой рассказ, не говоря уже о том, чтобы поверить его словам?

— Но почему именно со мной такое происходит? — спросил он. — Разве не всем под силу ощущать те «космические воздействия», о которых вы говорили?

Такой глупый вопрос задавал, конечно, рассудок. Всему существу О'Мэлли ответ, несомненно, был известен заранее.

— А потому, — отвечал доктор, постукивая при каждом слове по блюдечку, — что вам удалось неведомым образом сохранить невероятное простодушие, нетронутую невинность, под стать первобытному миру, вкупе с открытостью. Осмелюсь предположить, что даже обычное чувство стыда вам незнакомо.

Слова Шталя глубоко проникли в него. Миновав рассудок, который мог бы подвергнуть их крити-

ке, они поселились там, где интуиция угадала их истинность. То есть, несмотря на неуклюжесть выражений, смысл он уловил.

— Не такой уж я святой! — слабо засмеялся он.

Шталь покачал головой:

— Скорее всего, так вышло оттого, что вы живете сами по себе и никогда не погружались в жизненную суету. И каналы восприятия остались открыты приливным волнам огромного мира вокруг. Хотел бы я быть таким же храбрым.

— А другие?

Немец чуть помедлил.

— Большинство людей, — начал он, явно подыскивая слова, — слишком толстокожи, чтобы вообще откликнуться на воздействие сознания шире их собственного. Опыт своей ограниченной личности для них альфа и омега, отчего они упрямо отвергают любые доказательства со стороны других людей. «На самом деле наша личность способна значительно превосходить представления, основанные на теперешней земной форме сознания, которая подходит для нашего временного существования здесь и специально для нее развилась, но лишь частично отражает наше „я“. Вполне вероятно, что личность никогда на проявляется полностью на земном плане».

Совершенно очевидно, цитата. Ирландец где-то уже читал такие слова. Он всё прочнее ощущал себя в окружающем мире, возвращался в него, сопрягая подсознательное с сознанием.

— И всё же сознание в отрыве от мозга невообразимо, — заметил он, скорее чтобы выслушать ответ, чем высказаться самому.

Догадался ли Шталь о его намерении или нет, судить трудно.

— Нельзя с достаточной уверенностью утверждать, что субстанция, именуемая мозгом, одна подходит для использования разумом и сознанием, хотя и верно, что другой мы не знаем. — И повторил: — Хотя и верно, что другой мы не знаем.

О'Мэлли еще глубже опустился в кресло. Слова «слишком толстокожи» вызвали в памяти воспоминания о лондонской жизни. Перед глазами предстали тамошние знакомые и друзья: в клубе, на званых обедах, в парках, театрах; он вспомнил их разговоры… стрельбу… уничтожение совершенной жизни; разговоры о лошадях, политике, женщинах и прочем. Вполне хорошие, честные, симпатичные люди. Но как им удавалось дышать в таком тесном мирке? Поистине, здравомыслящие образчики величайшей цивилизации!

Вспомнилось и недоуменное выражение лиц пары приятелей, с которыми он осмелился как-то поговорить о просторах, ведомых и дорогих ему…

— Хотя верно, что другой мы не знаем, — вновь медленно проговорил Шталь, поглядев в чашку и помешав кофейную гущу.

Вдруг доктор поднялся со своего места и подошел к ирландцу, потирая руки, глаза его блестели. Он рассмеялся.

— К примеру, я вот сейчас совершенно не осознаю тот кофе, который только что выпил, — воскликнул он. — Однако если бы он вдруг расстроил мне желудок, немедленно бы осознал снова.

— Значит, вы считаете, что особые состояния — симптом заболевания? — по аналогии спросил ирландец.

— Сейчас да, — последовал ответ, — и останутся таковым, пока не удастся лучше понять их соотношение с ограниченным сознанием личности. Воинственные мощные Силы более широкого Сознания еще стремятся к захвату и покорению. Но времена меняются. Кое-кто уже признал, что состояния, называемые нами истерией и безумием, трансом, гипнозом и иже с ними, не поддаются удовлетворительному объяснению на

современном уровне представлений. — Он посмотрел сверху вниз на сидящего приятеля. — Вот если бы мне удалось понаблюдать в непосредственной близости за вашим «я» на протяжении нескольких лет и при различных условиях, — многозначительно добавил он, — вот тогда я смог бы открыть кое-что миру!

— Благодарю! — воскликнул ирландец, теперь полностью пришедший в себя, то есть вернувшийся к повседневности.

Ничего лучшего он не мог придумать, однако сказал от сердца. Он пересел в другое кресло и задымил сигаретой. Снова попадать под микроскоп к доктору ему совершенно не хотелось. Перед его умственным взором вдруг предстала картина изгнания этого экспериментатора и визионера из респектабельной клиники, где потребовали «разорвать связь» с их заведением, дабы не портить их репутацию.

Однако Шталь, ничуть не оскорбленный, продолжал развивать свою мысль вслух:

— Ибо существу с вашей организацией… активнее на внешних пределах сознания, чем в более центральных областях… то есть подобного вам… как мне представляется… может оказаться возможным воспринять Иные формы Жизни и

существ еще более высокоорганизованных, чем Земля.

Им завладело странное возбуждение, глаза блестели. Шталь заходил по каюте туда-сюда, а О'Мэлли следил за ним с нарастающей тревогой.

— Только подумать, подавляющее большинство всё отрицает лишь оттого, что сами они — просто мертвы! — воскликнул доктор. — Придавлены! Не способны воспринять никаких намеков и знаков! И живут себе без вдохновения в крошечном осколке мира, считая его всем мирозданием! Ах, друг мой, — неожиданно он подошел совсем близко, — как очевидны их потуги, демонстрация самодостаточности и гордыни, крайняя недальновидная глупость их отрицаний для тех, кто, подобно нам, познал неудержимый зов широкого мира! Ведь то подсознание, о котором теперь так много говорят, отражает глубинную истину, открытую совсем недавно и не до конца понятую. Наша личность куда шире, чем мы думаем, и подсознательная часть ее огромна. Но что еще важнее — есть и надсознание. И если первая часть заключает в себе отринутое родом человеческим прошлое, то вторая нащупывает то, что ждет в будущем. Идеальная личность, о которой можно мечтать, должна бы сочетать в себе обе области,

поскольку многое было отринуто поспешно и преждевременно. Его стоит восстановить, и на подсознательном уровне оно еще существует, ожидая своего часа. Но сконцентрироваться бы стоило именно на над- или сверхсознании, ибо именно там сокрыты гигантские силы, таинственно открывающиеся гениям, приходящие по вдохновению, при гипнозе.

— Однако одно ведет к другому, — вставил О'Мэлли. — Нельзя ли это сравнить с движением маятника?

— Возможно, — последовал лаконичный ответ.

— И где-то вне поля зрения обе части как бы берутся за руки.

— Возможно.

— Значит, мой спутник может вести меня на самом деле вперед, а не назад?

— Возможно, — только и повторил доктор.

Тут Шталь остановился как вкопанный, словно поняв, что сказал слишком много и тем самым выдал себя в порыве возбужденного интереса. Помолодевшее было лицо вновь увяло, блеск в глазах померк. Труднообъяснимым для О'Мэлли образом доктор почти моментально обрел привычное спокойствие и уже раскуривал одну из своих черных сигар возле стола, полунасмеш-

ливо-полувопросительно поглядывая на него сквозь клубы дыма.

— И потому я должен напомнить еще раз, — заговорил он как ни в чем не бывало, словно ирландцу привиделась предыдущая страстная тирада, — не спешите, продвигайтесь с осторожностью, присущей здравомыслящему большинству, той осторожностью, которая обеспечивает безопасность. Как я уже говорил, ваш друг — непосредственное выражение космической жизни Земли. Думаю, вы уже догадались, какого именно вида и формы. Не отдавайтесь полностью под его власть. Сохраняйте свое «я» и сопротивляйтесь, пока остается такая возможность.

Пока Теренс сидел в каюте доктора, попивая горячий кофе и не очень прислушиваясь к словам, предупреждавшим об опасности, но подспудно побуждавшим идти дальше, вокруг него сгущались мечты детства, сила которых отодвигала прочь современность, — детства не тела, но духа, когда мир был и сам молод… Да, и он некогда обитал в Аркадии, познав красоту свободной простой жизни Золотого Века, ибо теперь грезы о нем, похожие на воспоминания и на мечты одновременно, невыразимо притягательные, эти грезы о Золотом Веке, нетронутом Временем,

неизменном, всё еще доступном, по-прежнему обитаемом, начинали сбываться.

Поистине то был древний Сад невинности и счастья, где еще не отягощенная хитроумием поверхностной цивилизованности рассудка душа еще способна была расти и развиваться, та страна, которая прозревается святыми и поэтами, но большинством забытая или полагаемая несуществующей.

Простая Жизнь! Новое понимание ее поначалу ошеломило Теренса. Душевный взор упивался красотой: всё было его — и страстный простор пустошей, и сила речных потоков, струящихся по материнскому телу. Ужас гор и пение нежных весенних ливней. Чудо покрывающих землю лесов впиталось в кровь, каждодневно спешащую по жилам. Пропустив через себя, он понял мощь океанских приливов, а более чувствительными областями распростершегося «я» ощутил летучие ароматы всех на свете лесных и полевых цветов. Странная аллегория человека как микрокосма и земли как макрокосма вдруг обрела явственную реальность.

А лихорадочная неудовлетворенность, беспокойство и тщеславие современной жизни происходили именно из-за отдаления человека

от души мира, от всеобъемлющей простоты к мелочному существованию, гордо поименованному ими прогрессом.

Из превосходящих пределы глубин этого вновь пробудившегося Сознания вырастали плоть и кровь волшебных космических ощущений — прикосновение его малого «я» к биению планетарной жизни. Неукротимая его суть, бесприютно скитавшаяся среди современных людей, страдая от вечной ностальгии, теперь предвкушала близкое удовлетворение. Ибо, когда «внутренняя катастрофа» наконец произойдет до конца и настанет избавление — центр сознания преодолеет порог и перейдет в более обширную область под воздействием Земли, — все его стремления, как перелетные птицы, наконец на деле, в живой Природе, достигнут гнездовий, которые все эти годы любовно строились в воображении! Лихорадочность современной жизни, муки и беспокойство фальшивой, поверхностной цивилизации, что упражняет мозг, не затрагивая низости и озлобленности сердца, пройдут, словно симптомы жестокой болезни. Как страшный сон, исчезнут божества скорости и механизмов, властвующие сейчас над миром, со скоростью девяносто миль в час погоняя людей в Рай, где

материальные приобретения вовсе не отрицались, лишь слегка сублимируясь. Вместо них его душу обнимет космическая жизнь неразъятой простоты, чистая и сладостная.

А сидящий тут немец-коротышка доктор, которому хочется невозможного компромисса, многознающ, но труслив, и скорее муха остановит океанский прилив, чем этот Шталь помешает ему.

Затем из сумятицы мыслей и чувств возник серебристый лик забытой и страстно любимой красоты. Какие-то слова, видно, слетели с его губ, потому что О'Мэлли услышал свое бормотание:

— Боги Греции… и всего мира…

Но стоило чувствам облечься в слова, как сияние их погасло. А мысль, непереводимая в речь, ускользнула. В грустном возбуждении откинулся он на спинку кресла, глядя на доктора и стараясь сосредоточиться на том, что тот говорил. Утраченная мысль всё еще ныряла и скакала внутри, но весь ее блеск свелся лишь к яркой точке на поверхности. Насколько же она пленительна! Больше он не старался накинуть ей на шею ярлык из современных слов. Пусть себе резвится. Он лишь полнее осознал, отчего возле берегов Греции его попутчики проявили свою

сущность и почему для меньшего из двоих, чья телесная клетка еще не полностью закостенела при взрослении, побег или скорее возвращение были возможны и даже неизбежны.

XXIV

Как он помнил, Шталь говорил еще долго. Вероятно, общий смысл сказанного доходил до О'Мэлли, но не значение отдельных слов. Доктор явно хотел получить от него подробное описание пережитого. Эту цель он и не скрывал, а, напротив, даже подчеркнул, чтобы вызвать критику в свой адрес и так достучаться до рассудка приятеля, которым тот должен был поверить чувства. Если кельт-визионер позволит своему разуму трезво отпрепарировать те пламенеющие состояния расширенного сознания, коих он коснулся, доктор получит поистине ценные данные для себя.

Но именно на такой анализ ирландец был не способен. Его душа слишком «рассеялась», не давая сосредоточиться на современных терминах и определениях. Да и описывали они лишь отдельные части «я», проявляющиеся через мозг и физическое тело. Прочее поддавалось лишь переживанию, но не описанию. С начала времен подобный трансцендентный опыт не удавалось перевести на язык «здравого смысла»,

и даже в наши дни, когда редкие смелые умы предприняли всё же попытку классификации с привлечением всех ресурсов психологической науки, результат ненамного прояснил соблазнительную путаницу.

Собственно, в записях О'Мэлли не передает, что же всё-таки пытался сказать Шталь. В рукописи на этом месте большой пропуск со звездочками и номерами страниц отсылок к записям в растрепанных блокнотах. Обратившись к ним, я восстановил каркас идей, послуживших доктору сырьем для очень грубых и приблизительных построений, которые немец извергал тогда в каюте, — целые глыбы преувеличений, что должны были бы пробудить некую критику и сознательный отклик. Это напоминало замок великана из сказки: чтобы охватить человеческим глазом, следовало уменьшить масштаб.

Природа и впрямь была живым существом для тех, кто верил и поклонялся ей, ибо поклонение есть особое состояние сознания, открывающее каналы для восприятия и внутренней самореализации. В пустынных местах, незапятнанных людьми, такое выражение всепокоряющей стержневой жизненной силы еще было возможно… «Русский» являл собой такой осколок,

космическое существо, бродящее среди людей в облике человека, обнаруженное ирландцем по созвучности чувств и стремлений, таившихся и в его вольном сердце.

Вместе с тем преградой для воссоединения с миром служило его собственное тело. Лишь высвободив перволичность от сковывающих современных условий, мог он вновь обрести утраченный Эдем и вкусить в полной мере материнскую жизнь призвавшего к себе планетарного сознания. Такое рассоединение достигалось на время при подсознательном путешествии или же безвозвратно — в смерти.

Поистине он столкнулся с вариацией глубокой мистической мысли о необходимости потерять жизнь, чтобы обрести ее, и о том, что личности для умиротворения требуется слияние с превосходящим сознанием. Источник непреходящей ностальгии в основе всех религий, известных людям, — поиск избавления от нескончаемых страданий и неугасимое человеческое стремление вырваться вовне, которому не суждено осуществиться. Никогда прежде подобная мысль не представала ему в столь явственной и простой форме. Но теперь его ощущение родства с Землей и Природой в большей мере, чем с людьми, на-

шло объяснение…

В блокнотах обнаружилась еще одна запись, выпущенная ирландцем из повествования, которая теперь лежала в пыли неприбранной паддингтонской квартирки, словно пламенеющий драгоценный камень в навозной куче, — краткая, но весомая мысль, очевидно принадлежавшая Фехнеру, которую доктор в тот день обрушил на О'Мэлли.

Подобно тому, как тело осознаёт существование задетого легкого, поднимая его таким образом из погруженного, нереализованного состояния, так же и человеческое сознание может стать уловленной частью сознания Земли и, в свою очередь, сама гигантская планетарная личность включена в коллективное сознание Вселенной. Всё это шаги и стадии продвижения к конечной и высшей степени Сознания, которой они суть фрагменты, проекции и проявления во Времени, — БОГА.

Мысль такого масштаба позволила ему, по крайней мере, на секунду ощутить то страстное всеобъемлющее чувство, что высшая форма сознания может испытывать по отношению к бесконечному числу менее развитых проявлений, — любовь к человечеству, ведомую

спасителям…

И всё же из потока глубоких идей и предположений, извергнутого на него разумом противоречивого немца, в котором боролись ученый и мистик, О'Мэлли вынырнул, ухватившись за гораздо более живую для него, пусть и не столь масштабную надежду побега. Он последует за русским великаном в отдаленный уголок собственного расширенного существа, где познает восторг слияния с Землей и где осуществятся все его стремления, по крайней мере субъективно.

Как-то доктор ведь сам сказал, что часть него — текучая, эфирная или астральная, повинующаяся сильным желаниям, — при определенных условиях могла отделяться — проецироваться — в форме, диктуемой этим желанием. Но так или иначе, отделение части его личности от основной ведь означало бы лишь осознание обычно невидимой, подавленной части.

Шталь без обиняков сказал, что Земля его задела. И теперь Теренс познает в доступной ему мере приливы ее гигантской жизни, а его собственные стремления, одиночество и ностальгия наконец улягутся. Он обретет прекрасный райский сад. И кто знает, может, даже познакомится с кем-то из пантеона младших богов…

В тот вечер по приходе в Смирну произошедшее на судне было официально сообщено, как положено. Но на пароходе почти никто об этом не говорил. Большинство пассажиров и мальчика-то не заметили, не говоря уж о его исчезновении, к тому же многие сошли на берег в Смирне, направляясь в Эфес, и еще более значительная группа — в Константинополе на следующий день.

Хотя русский великан почти не выходил из каюты, за ним внимательно следили помощники капитана, да и О'Мэлли заметил, что он также попал под наблюдение. Но ничего не произошло: опустевший пароход не спеша двигался дальше по своему маршруту, а Земля продолжала стремительный прекрасный полет, невзирая на то, что об этом мало задумывались ее многочисленные пассажиры, поглощенные мелкими личными целями.

Лишь О'Мэлли осознавал ее присутствие и понимал, что несется вместе с нею сквозь живую Вселенную. Но этими новыми переживаниями он ни с кем не делился. Оставшуюся часть пути по Черному морю через Самсун и Трапезунд[45] он

[45] Примечания: 45

Самсун — столица провинции на севере Турции, Трапезунд (Трабзон) — столица самой восточной турецкой провинции на берегу Черного моря.

помнил слабо — такое умиротворение он испытывал; и часами он сидел на палубе, погруженный в полудрему, только изредка пробуждаемый досадными напоминаниями о насущных потребностях окружающего мира. Конечно же он снова плыл в своей каюте, однако испытывал такое сочувственное понимание со спутником, что никаких объяснений друг с другом им не требовалось. Подсознательно они существовали в унисон.

Досадные напоминания окружающего поступали, как и следовало ожидать, в основном от доктора Шталя, который не мог удержаться, чтобы очередной раз не сказать: «Вот видите, всё так и выходит, как я предупреждал». Немец был чуть ли не в ярости, наполовину от разочарования, наполовину от неудовлетворенного любопытства. Масло с водой по-прежнему не смешивались в его трюмах, однако он не мог решиться, что вылить за борт, а тут перед ним находилось постоянное свидетельство несоответствия фактов и здравых представлений, когда парадоксальные теории, с которыми он заигрывал, брали верх над его излюбленным компромиссом.

Вместе с тем преградой для воссоединения с миром служило его собственное тело. Лишь высвободив перволичность от сковывающих

современных условий, мог он вновь обрести утраченный Эдем и вкусить в полной мере материнскую жизнь призвавшего к себе планетарного сознания. Такое рассоединение достигалось на время при подсознательном путешествии или же безвозвратно — в смерти.

Поистине он столкнулся с вариацией глубокой мистической мысли о необходимости потерять жизнь, чтобы обрести ее, и о том, что личности для умиротворения требуется слияние с превосходящим сознанием. Источник непреходящей ностальгии в основе всех религий, известных людям: поиск избавления от нескончаемых страданий и неугасимое человеческое стремление вырваться вовне, которому не суждено осуществиться. Никогда прежде подобная мысль не представала ему в столь явственной и простой форме. Но теперь его ощущение родства с землей и природой в большей мере, чем с людьми, нашло объяснение…

Любопытство доктора, однако, не сильно докучало ирландцу, хотя он не проявлял ни малейшего желания таковое удовлетворить. Вместо этого он дозволил Шталю наблюдать себя и обращаться с собой как с пациентом. О'Мэлли было всё равно, ведь через несколько часов предстоя-

ло высадиться в Батуме и отправиться с новым товарищем и поводырем… куда? Завершение фразы ускользало, но что с того, если он точно знал — впереди ждет завершение приключения. Где же, когда и каким образом — неважно, ясно только, что это произойдет в душе, для которой внешнее пространство всего лишь образ. Только происходящее в сознании и сердце истинно, внешнее же выражение в переменчивых и подвижных материальных формах — наименее реальная вещь в мире. Для него переживание будет вполне истинным и достоверным, то есть станет фактом в глубинном смысле слова. Он уже видел его «целостным».

Вера не задает путникам вопросов, ее не интересует высота горных пиков, точная длина рек, расстояние до моря, безошибочность написания названий и тому подобное. О'Мэлли чувствовал себя человеком, который ищет почтовый ящик в незнакомом городе (тут в записях заметна усмешка): до абсурда трудно отыскать, словно городские власти специально спрятали его среди закоулков и непривычных глазу строений, хотя он постоянно был на виду…

Но в Трапезунде, за несколько часов до Батума, доктор Шталь зашел в своем рвении слишком

далеко: в тот вечер он добавил своему «пациенту» снотворного в кофе, отчего О'Мэлли уснул на диване и не просыпался двенадцать часов. Пробудившись же, он обнаружил, что таможенные представители на борту уже с девяти утра, а большинство пассажиров сошли на берег.

Среди них и русский великан, не оставивший даже записки. И какими бы мудрыми и добрыми мотивами ни был движим Шталь, он, вне всякого сомнения, не был готов к новому для себя опыту, воспоследовавшему из его действий, ибо разъяренный ирландец четверть часа без передышки с большим красноречием высказывал ему всё, что думал о самоуверенности доктора!

XXV

Хотя Батум был небольшим городом, откуда отходит не так уж много поездов, О'Мэлли понимал, что применять обычные методы сыска в поисках друга бесполезно. Да и неправильно. Ведь тот намеренно сошел на берег, не простившись, поскольку для них, соединившихся внутренне, разлуки теперь не существовало. Их жизненно важная суть мыслей, чувств и желаний слилась навсегда. Поэтому, где бы на карте мира ни находились их физические тела и чем бы они ни занимались, никакой разницы не делало. Когда время настанет, они должны были встретиться и продолжить обещанное путешествие.

По крайней мере, так чувствовал ирландец, вот почему, когда первое возмущение действиями приятеля-немца улеглось, О'Мэлли занялся делами практического свойства.

Это небольшое происшествие весьма показательно и выявляет, сколь глубоко коренилась в его впечатлительной натуре вера, даже неколебимое убеждение, что жизнь развивается в двух планах — внешнем и внутреннем одновременно,

каждый из которых влияет на другой. Словно он различал два взаимонастроенных набора способностей, причем один справлялся с делами в «практическом» плане, а другой наводил порядок в духовном мире подсознания. Отдавать предпочтение второму означало слыть среди людей бесплодным мечтателем, непрактичным и неуравновешенным: игнорировать же его в угоду первому значило грубо себя ограничивать, жить только наполовину. Только при соединении обеих половин в продуктивном взаимодействии и достигается тот тип личности, который называют гениями, пророками, святыми. Но в любом случае необходимым условием было обрести источник вдохновения в душе.

Тот день О'Мэлли потратил на обзаведение простейшим снаряжением и устроился на ночь в одной из крошечных гостиниц, где приветливо накрывали столы прямо на тротуаре, что давало гостям возможность наслаждаться обедом, наблюдая исключительно живописный поток пешеходов.

Дневная жара и духота к вечеру прошли, сменившись прохладным ветерком с Черного моря. С пачкой тонких русских сигарет Теренс сидел за бокалом золотистого кахетинского вина и глядел

на людную улицу. Хотя он мог поторговаться за приемлемую цену номера, а также попросить подушки, простыни и самовар на русском языке, с прохожими наладить разговор он был не в состоянии. К тому же по-русски тут мало кто говорил, кругом царило сущее вавилонское смешение языков: армянский, турецкий, грузинский, взрывные фразы сванов, текучие персидские и резкие гортанные восклицания громогласных, плечистых, увешанных оружием местных жителей, которые принадлежали к неведомым племенам с гор, возвышавшихся в отдалении. Временами слышались французские и немецкие слова, но они здесь воспринимались неуместно, словно напоминания о далеком и почти позабытом мире.

А по тротуару, едва не задевая сидящих, текла нескончаемая, великолепная процессия любопытных, диких, бородатых варварских лиц, с крючковатыми носами и сверкающими глазами, людей в развевающихся бурках, с газырями на груди, сияющими серебром и слоновой костью в свете электрических фонарей; на головах — белые, черные и желтые башлыки, придававшие обладателям величавый вид, за поясом у большинства торчали зловещего вида кинжалы, за гибкие плечи закинуты длинные ружья, у пояса

— сабли; меж них сновали смуглые турецкие цыгане с вороватыми глазами, бесшумно ступая в кожаных туфлях. Одним словом, пестрая толпа бесконечно разнообразного люда. Время от времени проезжали дрожки, запряженные парой лошадей, или проносилась, грохоча по булыжникам мостовой, тройка, в умелых руках возницы застывавшая перед нужным домом с грацией конькобежца. Оттуда соскакивали и усаживались за соседний столик офицеры с осиной талией, в развевавшихся плащах почти до пят сапог, начищенных до ослепительного блеска. А пару раз мимо прошли колонны солдат, не меньше нескольких сот штыков, во всю мощь охрипших голосов горланя русские песни, так что было даже страшновато их слушать. Они прошагали в темноту, сгущавшуюся в конце улицы, и варварские возгласы их пения утонули в рокоте морского прибоя.

О'Мэлли упивался этим зрелищем, вбирал в себя все звуки. Часть его устремилась наружу, чтобы примкнуть к людскому круговороту. Он ощущал биение энергичного пульса жизни. Неукротимые внутренние импульсы откликались на него, он чувствовал свое родство невидимому потоку, который был где-то рядом и влек к себе,

обещая чистую и простую свободу.

Гражданское платье мелькало лишь изредка. Экспедиторы с кораблей выделялись сюртуками из черной альпаки, белыми брюками и современными соломенными шляпами. Моряки в синих кителях и фуражках с золотым позументом виднелись то тут, то там, но выглядели досадно неуместно, наподобие туристов в клетчатых бриджах и кованых сапогах, разгуливающих под сумрачными сводами соборов. О'Мэлли разглядел пару офицеров со своего парохода, но отвернулся. Больно было их видеть тут. При взгляде на них ему вспоминались Биржа, лондонское метро, званые обеды в Белгравии, вернисажи, вечеринки для избранных, оперетта и прочие дежурные атрибуты. Безобидная современная форменная одежда была не просто смешна, она оскорбляла своей принадлежностью к блеску и шуму цивилизации, от которой он уплыл, к вульгарности больших городов, где мужчины и женщины живут лишь материальной жизнью, ради приобретений, боготворя их и называя прогрессом…

И тут в его грезы ворвался хорошо знакомый немецкий голос:

— А, уже добрались до вина! Кавказские вина отменны, они пропитаны ароматами винограда,

земли и цветов. Благодарю, я присяду с вами ненадолго. Мы стоим всего три дня, и приятно сойти на берег.

О'Мэлли попросил принести второй бокал и предложил сигареты.

— Спасибо, я предпочитаю свои, — отказался доктор, закуривая излюбленную черную сигару. — Полагаю, вы завтра двинетесь дальше. Куда — в Карс, Тифлис, Эрзерум или в более дикие места, в горы?

— Да, в горы, — ответил ирландец.

Из всех людей сейчас он, пожалуй, переносил только доктора и мог позволить сесть рядом ему одному. О'Мэлли его вполне простил, и хотя поначалу натолкнулся на не слишком радушный прием, необычная связь между приятелями быстро восстановилась и сплавила в странной гармонии, вопреки всем различиям. Они могли подолгу сидеть молча без тени неловкости — верный признак, что их личности отчасти сроднились.

И сейчас они просто сидели, наблюдая движение древних-древних типов и лиц. Попивали золотистое вино и курили. На небе проступили звезды, экипажи проезжали теперь только изредка, а издалека, от солдатских казарм, доносилось

звучное эхо пения. Временами раздавался пароходный гудок. Проскакали казаки. Какие-то вопли то и дело слышались на соседних улочках. Воздух был полон резких непривычных ароматов. Шталь заговорил о прокатившейся тут несколько лет назад революции и сценах насилия на этих улочках, свидетелем которых он явился: стрельба, баррикады, в экипажи бросали бомбы, казаки скакали прямо по тротуарам с саблями наголо и улюлюкали. Но О'Мэлли слушал лишь краем уха. Большая часть его унеслась далеко… высоко в горы… Казалось, ему ведомы уже тайные ложбины, где собирается туман, где отдыхают ветры…

Чуть не задев толстыми серыми бурками бокалы на столике, совсем рядом прошагали двое высоких горцев. Походка их, свободная и размашистая, невольно привлекала внимание.

Воспользовавшись паузой в рассказе приятеля, О'Мэлли заговорил:

— Здешняя земля порождает замечательные типы. Посмотрите на этих двоих — будто два дерева размахивают ветвями, движимые порывами бури.

Он провожал горцев восхищенным взглядом, пока они не скрылись в толпе.

Пристально глянув на ирландца, Шталь рассмеялся.

— Конечно, — сказал он, — смелые и, как правило, щедрые, они без зазрения совести застрелят вас, если им приглянется ваш пистолет, однако могут жизнь отдать, защищая своих свирепых псов. Они еще вполне… природны, — добавил он после секундного промедления, — еще не испорчены. И живут не в отрыве от Природы, даже с лихвой. На перевалах среди осетин вы найдете истинных язычников, что поклоняются деревьям, приносят в жертву кровь и хлеб с солью своим божествам-стихиям.

— До сих пор? — спросил О'Мэлли, отпивая из бокала.

— До сих пор, — ответил доктор, тоже пригубив вина.

Их глаза встретились поверх бокалов. Приятели улыбнулись, сами не зная чему.

Возможно, ирландец вспомнил незаметных городских клерков — худосочных, бледнолицых, низкорослых. Здешний здоровяк съел бы таких дюжину за один присест.

— В этих краях сохранилось нечто, утраченное остальным миром, — пробормотал он себе под нос.

Но доктор его расслышал.

— Вы чувствуете это? — быстро спросил он с засиявшими глазами. — Потрясающую, первобытную красоту…

— Что-то я, несомненно, ощущаю, — последовал осторожный ответ.

Большего О'Мэлли пока не мог сказать, однако ему показалось, что до ушей донеслось эхо призыва, что впервые послышался над синими волнами Эгейского моря. Здесь, в расщелинах гор, эхо не умолкало. Людям должен быть ведом тот призыв.

— Очарование этой необычной земли навсегда останется в вашей душе, — продолжал Шталь громче. — Даже в городах — Тифлисе, Кутаисе — оно ощутимо. Говорят, здесь колыбель человечества, и люди не переменились за тысячи лет. Часть из них вы найдете просто… — Он поискал слово, затем, пожав плечами, завершил вовсе не свойственной ему оценкой: — Потрясающими.

— О, — только и откликнулся ирландец, неуклюже прикурив от гаснущего окурка дрожащими пальцами, не в силах скрыть волнение.

— И скорее всего, сродни тому… человеку… что искушал вас, — шепотом договорил Шталь, приблизив лицо почти вплотную.

О’Мэлли промолчал. Он впитывал жидкий солнечный свет из бокала в руке и озирал звездное небо, склонившееся над морем; меж фигур прохожих пронесся ветерок с мрачных вершин таинственного Кавказа. Подобно ребенку, ирландец раскрылся навстречу всем прикосновениям и дуновениям, с неожиданной силой ощутив тысячи посланий, говорящих о расположении духа Матери-Земли, выразившей здесь себя в столь мощном людском племени и кантате гор.

Будто издалека, до него доносился голос доктора:

— …здесь растут в ее воле. Никто не борется и не противится. Она свободно выражает себя через них, не встречая противодействия. Каналы всё еще открыты… Земля делится с людьми жизнью и силой.

— Той красотой, что современный мир утратил, — себе под нос пробормотал ирландец, удивляясь, как мало эти слова передают его чувства.

— Что не вернется… *не способна* больше вернуться никогда, — договорил за него Шталь.

И в голосе его прозвучала такая тоска, а глаза засветились столь печально, что пылкого кельта охватило горячее сочувствие. С ним так

всегда выходило. Сидящий напротив человечек с растрепанной бородой и лысым черепом, поблескивающим в свете фонарей, выложил на стол карту и приоткрыл жар своего сердца. А ирландец тут же совершенно по-детски распахнул душу, так изголодался он без понимания.

— Люди повсюду окутали ее прекрасное тело давящим уродливым покровом, расположив повсюду скученные города, — вырвалось у него, да так громко, что официант-армянин направился в их сторону подлить вина. — А здесь она расположилась нагой, без малейшего стыда, пленительная в своей божественной простоте. Клянусь Юпитером! Должен признаться, доктор, здесь меня охватывает и жжет чудной страстью, захлестнув без остатка привыкшего отводить глаза городского жителя. Прямо сейчас я готов выбежать и начать поклоняться ей, припасть к ее груди и начать целовать траву, землю, море…

Но тут он отпрянул, словно раненый зверь, отчаянно покраснев, будто боялся, что слова его примут за истерический припадок. Не успел О'Мэлли еще завершить свою пламенную речь, столь неуклюже выражавшую охвативший его восторг, словно сама Земля на мгновение выплеснула чувства его устами, а выражение глаз

Шталя переменилось. В них теперь крылась полунасмешливая улыбка, а губы сложились в скептическое выражение того, другого Шталя, естествоиспытателя. Ирландца словно окатили холодной водой. Опять его заманили и поместили на предметное стекло микроскопа.

— Да, материал здесь, — заговорил Шталь бесстрастным тоном диагноста, — совершенно великолепен, говоря вашими словами, нецивилизованный — дикий, неукротимый, — однако здешние люди далеко не варвары. Когда прогресс сюда доберется, земля грандиозно преобразится. Россия впрыснет сюда культуру, и когда усовершенствования разовьют ресурсы этих мест и направят дикую энергию в полезное русло…

Так он вещал и вещал, пока ирландцу не захотелось запустить бокал ему прямо в лицо.

— Вспомните мои слова, когда подниметесь в горы и останетесь один среди горных вершин, — заключил наконец доктор, сардонически усмехаясь, — и держите себя в руках. Жмите на тормоза, пока остается такая возможность. Тогда ваш опыт будет еще ценнее.

— А вы, — прямо, почти грубо выпалил О'Мэлли, — отправляйтесь к своему Фехнеру и постарайтесь спасти свою половинчатую душу, пока

еще возможно…

— По-прежнему не в силах оторваться от небесного света, затмевающего утро? — мягко ответил Шталь, ради излюбленной строки из Шекспира перейдя на английский.

Рассмеявшись, они подняли бокалы.

Наступило молчание, которое ни тот, ни другой не хотели нарушать. Улицы пустели, облик небольшого таинственного черноморского порта окутывался тьмой. Всё энергичное движение укрылось за непроницаемыми ставнями. Слышался только морской прибой, солдаты больше не пели. Дрожки перестали грохотать мимо. Ночь густой волной накатывалась с гор, их неприятно и душно облепил сырой воздух, напитанный малярийными миазмами болот, на которых построен Батум, и делающий город таким нездоровым. Звезды в нем умирали.

— Еще по бокалу? — предложил Шталь. — Выпьем за богов Будущего и расстанемся до обратного рейса, как?

— Я провожу вас до парохода, — последовал ответ. — Никогда не был большим охотником выпить. А боги Будущего, надеюсь, предпочтут мое обычное подношение — воображение.

Доктор не стал просить дальнейших объясне-

ний. Они направились к порту, шагая посередине узеньких улочек. Кругом ни души, в редких окнах виднелись огни. Пару раз с верхнего этажа в гуле голосов слышалось треньканье балалайки, а из небольших садочков доносились звон стаканов, мужской и женский смех, под деревьями редели огоньки сигарет.

Спускаясь дальше к гавани, когда уже показались мачты и пароходные трубы больших судов на фоне неба, Шталь ненадолго остановился возле не закрытой ставнями витрины магазина, одного из тех, что смазывают облик города стандартной немецкой кухонной утварью, парижскими шляпками и сумбуром олеографий на самые разные темы. Они подошли чуть ближе и присмотрелись. Укрывшийся в тени на другой стороне вооруженный сторож с подозрением наблюдал за иностранцами. Хотя они не догадывались об этом.

— Вот перед подобной витриной в Тифлисе, — как бы между прочим заметил Шталь, — я случайно услышал разговор двух горцев-грузин, разглядывавших репродукцию картины современного художника, «Кентавра» Беклина. Разговаривали они совсем негромко, полушепотом, но я уловил суть. Помните ту картину?

— Да, где-то видел, — коротко отозвался О'Мэлли и, стараясь не выдать волнения, спросил таким же обыденным тоном: — О чем же они говорили?

— Обсуждали ее, причем очень заинтересованно. Один спросил, указав на подпись: «Что там говорится?» Читать они оба не умели и довольно долго стояли молча, на сумрачных лицах проступал испуг. Затем первый снова спросил: «Так что же это?», а второй, который был много старше, настоящий густобородый гигант, тихо ответил: «Как раз то, о чем я рассказывал, — и в голосе его звучал благоговейный страх, — они по-прежнему живут в широкой долине, поросшей декиани[46], за… (тут он упомянул необитаемую труднодоступную местность возле Дагестана), появляются по весне, стремительно, с ревом… Лучше сразу спрятаться. Если попадешься им на глаза, погибнешь. Они же не умирают, дети гор. А может, даже старше их, очень-очень древние. Об их появлении предупредят собаки или кони, иногда налетает сильный ветер. Только не стреляй в них». И оба застыли, продолжая разглядывать картину. Наконец, через несколько минут, поняв, что больше

---

[46] Примечания: 46
Декиани — кавказский рододендрон.

ничего не услышу, я двинулся дальше. Но, как видите, в горах возможно наблюдать проявления древней жизни, и эти охотники своими глазами видели их, по всей видимости, сходных обликом с изображенными на той картине.

Из тени выступил сторож и направился к ним, Шталь тут же поспешил дальше, увлекая спутника за собой по тротуару.

— У вас паспорт с собой? — спросил он, заметив, что охранник двинулся следом.

— Я добрался до полицейского участка только после полудня и еще не получил его назад, — хрипло ответил О'Мэлли, не узнав собственного голоса.

Однако он был безмерно благодарен даже такому вмешательству окружающего мира, ощутив себя податливым воском в руках доктора. Страшась проницательных вопросов, ирландец почувствовал огромное облегчение. Еще чуть-чуть — и признание вырвалось бы у него из груди.

— Тут никогда не стоит без него ходить, — добавил доктор. — Полицейские здесь — сущие бестии и способны устроить массу неприятностей.

О'Мэлли об этом конечно же был прекрасно осведомлен, но живо подхватил тему и принялся

ее поддерживать невинными вопросами, почти не слушая ответов. Вскоре они оторвались от преследователя, почти добравшись до гавани. На фоне темного неба с востока и запада величественно прорисовывались пики Малого Кавказского хребта. Возле корабельных сходен приятели простились. Шталь на мгновение задержал руку ирландца.

— Когда искушение станет слишком сильным, — серьезным тоном сказал он, хотя глаза улыбались, — вспомните два заветных слова, которые я сейчас назову: *Человечество* и *Цивилизация.*

— Постараюсь.

На прощание они довольно тепло пожали друг другу руки.

— Если получится, возвращайтесь домой этим же пароходом, — крикнул Шталь уже с палубы. — А по дороге в гостиницу идите лучше посередине мостовой, так безопаснее в этом городе. — О'Мэлли представил, как насмешливо блеснули глаза доктора. — И простите мои прегрешения, а при следующей встрече поведайте мне о своих… — напоследок донеслось до него из темноты.

До гостиницы ирландец донес одно лишь слово — *Цивилизация,* да и то из-за особой интонации,

с которой любящий сбивать с толка и противоречивый приятель выговорил его.

XXVI

Он шел посередине мостовой, как советовал Шталь, хотя и сам подсознательно поступил бы так же, не хуже доктора зная нравы портовых городов. Но не в одиночку. Его сопровождала вся Земля, с ней ему ничто было не страшно. Пусть хоть дюжина бандитов нападет, «отобрать» у него жизнь им не под силу.

Сколь простым всё это казалось, и насколько сложно передать связным и понятным языком тому, кто не испытывал ничего подобного: этот внезапный бросок вверх, вниз, во все стороны сразу, из точки крошечного индивидуального сознания до пределов гигантского сознания Земли. Та потеря личности, которой он вначале страшился, называя внутренней катастрофой, теперь предстала перед ним в истинном свете — как уничтожение иллюзорного фантазма и воссоединение с истинной жизнью. Здесь, в преддверии полного чудес Кавказа, дух Земли проявлялся с прежней силой, любовно обнимая тех своих детей, чья простота не мешала откликнуться на призыв, ограждая и исцеляя от лихорадочной

гонки, что способна лишь выхолостить и уничтожить их… Мягкая тьма неба стала ладонью и успокаивающе гладила по голове, аромат духов, что струился по узкой улочке в его ноздри, — благоуханием материнского тела. Величавый трепет полета планеты среди звезд достиг фибров его души. И ее охватило жаркое торжество причастности к безмерному существу…

Добравшись же до гостиничной комнатенки, надежно отгораживавшей жильца от света и воздуха, О'Мэлли столкнулся со зловредным отрицанием простой жизни, олицетворявшей для него Врата истины. Он теперь задыхался в четырех стенах, из груди рвался стон. Горло сжимало мертвой хваткой то самое слово, что ехидно подбросил ему с палубы Шталь, прекрасно понимавший приятеля, невзирая на все свои предупреждения и колебания: Цивилизация.

И надо же такому случиться — на столике поджидала неведомо как откопанная армянином-хозяином гостиницы, видимо, специально для него, полупенсовая лондонская газета из тех, что тоннами пичкает читателей самыми несущественными фактами и с легкостью сочиняет дурнопахнущие подробности, когда тех не хватает. О'Мэлли принялся ее просматривать с

нарастающей тревогой, боль мешалась с отвращением. Но постепенно пробудилось чувство юмора, которое помогло вернуться в нормальное, сжатое до человеческих размеров состояние. Улыбнуться его заставило случайное сопоставление некоторых материалов, явно не входившее в намерения газетчиков: на одной странице теснились заметки о железнодорожных катастрофах, заживо сгоревших людях, взрывах, огромных забастовках, разбившихся в лепешку авиаторах и прочих кошмарах, возлагаемых посредством современных изобретений на алтарь лихорадочного Прогресса, а на соседней размещались высказывания хвастливого государственного деятеля, воспевавшего покорение Природы с помощью современных скоростей передвижения. Способность перемещаться из одной точки в другую по земному покрову за наименьшее время почиталась признаком развития человеческой души.

Напыщенность языка поражала ложным пафосом. А ведь читают подобное многие тысячи людей, покорно внимающих своему лидеру. Как, должно быть, гордятся они, садясь в последнюю модель «уничтожителя пространства», переносящего вялые тела служащих из пригородных

особнячков с крохотными садиками в огромные магазины, пестующие в покупателях искусственные потребности, а затем их же удовлетворяющие, везущих клерков в бесцветные конторы, а рабочих из темных душных каморок Ист-Энда на бесчисленные фабрики, выпускающие полуподдельные, ненужные товары, взрывчатку и оружие для уничтожения других народов или дешевые продукты травить собственный — всё это на несколько минут быстрее, чем на прошлой неделе.

А затем подумал о сельских жителях и тех людях, кому материальные приобретения вовсе не были необходимы для довольства жизнью, им по душе смотреть, сердцем стремясь к непреходящим истинам, как восходит или заходит солнце, наблюдать неторопливую смену времен года, рост цветов, деревьев и посевов, величавую поступь процессии Природы, отдохновение Матери-Земли.

Спокойствие никуда не спешащей Земли снова умиротворило его душу. О'Мэлли отбросил газету с глаз долой, и ночная тьма за окном тихо поглотила ее…

А сквозь открытое окно вновь проник аромат Земли и протянулась мощная длань темноты.

Впечатлительному ирландцу показалось, что слух уловил смех с моря, отражавшийся эхом от гор, а вслед за ним тяжкий вздох — вздох сожаления о древнем мире.

Прежде чем уснуть, он в качестве антидота прочел страницу книги, которую возил повсюду с собой, книги, написанной под открытым небом, поскольку под крышей жилища нужные мысли автору никак не приходили: «…небо в особенности пособляло вдохновению».

Отрывок, прочитанный на ночь, выражал отчасти и его мысли и чувства. Автор, правда, зрил вперед, назвав данную главу «После Цивилизации», в то время как он, Теренс, смотрел назад. Но оба видели одно, отчего точное время не имело значения.

С первым ветром весны, когда снег
еще не растаял,
Из города я выбрался в леса,
В тот тихий белый край, где голые деревья
величественно ждали,
Пока придет к ним человек, приятель
и товарищ:

В моем видении из города руин,
цивилизаций праха,
Из прошлого обломков, мусора,
гниения останков
Узрел я всё ж проростки новой жизни!
О, звуки вод, что льются так победно
по долам
И омывают погребенный мир!
Так таинство Земли от бремени,
рыдая, разрешалось!
И величаво, атом к атому слагая,
вставал и поднимался новый центр;
Или, скорей, повсюду в мире
приоткрывались корни древней жизни,
На них проростки нового уклада развились.
Вновь человек возник, чтоб жить в природе
(Всё та же давняя история о блудном сыне,
Порвавшем путы тщетной суеты,
вернувшемся домой).

Дитя вернулося под кров – товарищем
лесам зимой,
Играть средь звезд и вод и слушать песни
их вокруг,
Так постигая больше, чем довелось на-
укам
всем открыть,
Прильнув теснее к матери родимой и
глядя
На молодые деревца, верхушками
тянущиеся к небу на рассвете.
И в новой жизни радужных надежд,
свободной от забот
О перенаселении и недостатке пищи,
От спешки, вечной страсти обогнать
кого-то,
Товарищем и спутником Природе стал
снова человек.
Цивилизация теперь за ним —
незабываемая сказка.
Все странствия, империи, их войны,

религии и континенты
В нем собрались. Груз знания
и окрыляющие силы —
Их применить или повременить.

Наконец он уснул, и ему почудился под окнами приглушенный топот копыт, а когда Теренс встал посмотреть, из темноты выступил друг-великан с парохода и повел за собой, к тем фигурам из Облаков и Ветра, которые он так часто теперь видел, и они вместе поскакали по ночным вершинам далеко в горы, туда, где сиял свет и цвели цветы, где все его мечты долгих лет в точности осуществились…

Он спал. И во сне слышал слова старика охотника с гор: «Они появляются по весне, стремительно, с ревом… Они старше гор и не умирают… Лучше сразу спрятаться».

От сновидческого сознания не спрятаться, не скрыться, и хотя некоторые детали наутро выветрились из памяти, О'Мэлли проснулся бодрым и освеженным. Теперь он был уверен — впереди его ждут друзья, и когда он наберется смелости окончательно к ним присоединиться, Первожизнь Земли примет его сознание в себя.

И Шталь с его мелким современным «интел-

лектом» больше не помешает, не будет стоять на его пути.

XXVII

Спеши скорей смелей за звездой моей
От суеты и от шума мирского
Вдаль, за мечтой, по глади морской,
Где под сенью священной основан
Архипелаг красоты неземной,
От берегов с их рынками и городами
Он спрятан за рифами и волнами,
За океанами и неведомыми морями,
И лишь чистый мечтами найдет
остров мой…
Веру обрящет тот, кто здесь
на берег сойдет:
Райский покой в садах Элизия

Или плющ и лозу из кущ Диониси́я
и Пана рожок?
Выберешь что ты, менад,
Исступленную пляску, багряный закат,
Танец в росе и ночной звездопад
Иль белую ризу и храма чертог?
Брат, всмотрись в закат
И узри давно ушедших богов,
Тех бессмертных, что тут отыскали
приют,
Золотых веков сберегли свет.
И оракулы здесь обойдутся без слов,
В шелест лавра, в журчание чистых
ручьев,
В шорох листьев под поступью
древних богов,

И в дыханье дубов заплетая ответ!

Эдвард Мерике. «Песнь странницы»[47]

Весь следующий месяц Теренс О'Мэлли смирял свою душу: он работал, и работа его спасла. То есть помогла ему остаться «уравновешенным». Намеренно или нет, точно ирландец так и не смог разобраться — Шталь растревожил в его душе бурю. Точнее, поднял ее на поверхность, ибо в глубинах она всегда бушевала, сколько он себя помнил.

Что Земля может быть разумным живым организмом, лишь слишком больших размеров, не вмещающихся в человеческий рассудок, всегда представлялось ему в воображении. Теперь же это перестало быть символом его веры, превратившись в непреложную истину, столь же ощутимую, как удар гонга, зовущего к обеду. Глубинные стремления, которые невозможно было удовлетворить при обычном течении жизни вовне, находили осуществление в субъективных представлениях и, как для любого поэта, состав-

---

[47] Примечания: 47

Эдвард Мерике (1804–1975) — швабский поэт и сказочник. Цикл «Странница» *(Wanderlied)* посвящен Марии Мейер, мистически настроенной молодой женщине, изгнанной из дома богатыми родителями. *Перевод Н. А. Балашовой.*

ляли поэтическую правду; но теперь он убедился в их буквальном соответствии реальности для того внешнего канала сознания, который обычно неактивен и именуется трансливинальным. Душевная ностальгия обеспечила этот канал и перенос сознания в него, а состояние транса помогло, конечно, его отыскать — вот и всё.

Вдобавок мистический настрой его ума всегда рисовал предметы в виде сил, которые прорываются наружу от некоего невидимого центра, складываясь в зримую форму тел — деревьев, камней, цветов, мужчин, женщин, животных, — а также тех, что проявляются внешне лишь отчасти, оттого что слишком огромны, слишком малы или разрежены. И вот сейчас, под комбинированным воздействием Шталя и Фехнера, стало ясно как огонь, что это так и есть, больше того, что в трансливинальном сознании существует некая точка, позволяющая вступать с этими силами в контакт еще прежде, чем они обретут более грубое внешнее выражение в виде физических тел. Природа для него всегда была живой в поэтическом смысле, как олицетворение, но теперь он знал, что это действительно так, поскольку предметы, пейзажи, люди, всё кругом было компонентами коллективного сознания

Земли, проявлениями ее духа, стадиями ее существования, выражением ее глубокого, страстного «сердца» — ее проекциями вовне.

О'Мэлли долго над этим размышлял. И обычные слова открыли ему внутренний смысл. За фразами обнажилось значение. Поверхностное повторение лишало их значительной части смысла, который теперь виделся жизненно важным, подобно тому, как слишком хорошо знакомые с детства библейские фразы теряют истинное значение на всю последующую жизнь. Возможно, глаза его раскрылись. Он принимал в свое сознание цветок и размышлял о нем — вдумчиво, с любовью медитируя. Форма цветка в буквальном смысле выталкивалась Землей. Его корни впитывали соки земли из почвы, преобразовывали их в листья и бутоны, а листья, в свою очередь, вбирали в себя атмосферный воздух, также часть планеты. Проекция — вытолкнутая на поверхность телесная форма. Цветок был рожден землей, питался ею и со «смертью» возвращался в нее. Но это касалось лишь его видимой формы. Для воображения цветок был воплощенной силой, ставшей зримой совершенно так же, как, скажем, здание — сделанная видимой сила мысли архитектора. В разуме или сознании Земли

этот цветок вначале существовал латентно, в виде сна. Или же гнездился где-то, наподобие зачатка мысли в нашем сознании… От подобных размышлений О'Мэлли перескочил, как с ним часто случалось, к «проекциям» более крупным: деревьям, атмосфере, облакам, ветрам — частью видимым, частью нет, — а далее к более глубокому, но вместе с тем простому осознанию ошеломляющей концепции Фехнера о людях как проекции сознания Земли. Значит, он — действительно дитя Земли и матерью его была вся чудесная планета? Весь мир — родня, не объясняет ли это тоску по дому в человеческих сердцах? И существовали ли сейчас или в прошлом те иные, более величественные проекции, что вдруг прозрел Шталь заимствованным на короткий срок расширенным взором, — силы, мысли, настроения внутренней жизни планеты, незримой глазу, но ощутимой внутренне?

Думы о том, что «боги» были, несомненно, постижимыми Силами, доступными тем, кто им истинно поклонялся, никогда его не отпускали, хотя и не подчиняли себе полностью; ныне же он понял, что и это верно. Ибо теперь они виделись ему как неповторимое выражение Земли на заре юности. А мысль, что ему удастся познакомиться

с ними ближе, заставила затрепетать от радости, пронизав насквозь таким ослепительным блеском, что он едва не впал в экстаз. Так он внутренне принял факт — чудесный, вызывающий благоговейный страх, даже священный трепет, но факт бытия внешне неотличимых от людей существ, выживших как первовыражение Души Земли, меньше богов, но как бы посредников между ними и человеком.

С одним из них его свела судьба, а Шталь своими предупреждениями-подталкиваниями подтвердил это.

Поразительно, насколько поклонение волшебным образом всегда оживляло для него пейзаж. И сейчас понятно отчего — оно, конечно, привлекало «богов» и служило каналом, делающим возможным их проявление для души. Значит, все боги были доступны внутреннему зову, а Пан в особенности, в пустошах и укромных уголках леса… Он попробовал точнее припомнить представления древних греков о служении в мистериях: считалось, что поклоняющийся соединялся с богом на время в экстазе, а после смерти постоянно переходил в его сферу бытия. И понял, что в основе служения богу лежит желание отказа от личной жизни, отсюда и неизъяснимая радость,

а также страх возможного осуществления такого желания — источник трепета.

Рядом с ним теперь летело крылатое существо, не отпуская его руки. Земля овладела им всецело, а приключение властно звало принять жизнь Природы, простоту Прамира…

Весь следующий месяц поэтому О'Мэлли неспешно, счастливее, чем когда-либо прежде, отрешившись от «бури» в поверхностном сознании, занялся сбором красочных впечатлений о чужих странах и чужестранцах, о которых публике нравилось читать в редких письмах путешественника. И к тому времени, когда май уже переходил в июнь, он успел поездить по Кавказу, наблюдая, расширяя свои познания, глотая, впитывая всеми органами чувств, буквально порами кожи, живительные картины, разбросанные там повсюду.

Сдвиги, модификация личности, происходящая даже в городах почти со всеми, за исключением самых узколобых людей — скажем, человек в Риме делается не совсем таким, каким он был в Лондоне или в Париже несколькими днями ранее, — здесь протекали глубже, чем когда-либо прежде. Природа питала, побуждала и звала его столь страстно, что и мысль об одиночестве

не закрадывалась в голову, а яростная прямота нападения до краев заряжала радостью бытия. Все жизненные силы и физическое здоровье достигли пика. Словом, Кавказ зачаровал его, и если он выражал свои впечатления в превосходной степени, это оттого, что жизнь здесь так на него повлияла. Записи лишь фиксируют масштаб видения. Те же, кому он представляется преувеличенным, лишь сознаются в собственной неспособности жить полной мерой.

Бродя по гордым, широко раскинувшимся, малодоступным долинам среди гор, по диким лесам, вдоль бурных рек, разбрасывающих белую пену по берегам, где вились только звериные тропы, О'Мэлли уходил всё глубже в себя до тех пор, пока полностью не потерял точек соприкосновения с миром «современности», державшим в плену его дух. Тем ближе становилась желанная свобода, то состояние невинности и простоты, которое при полном отсутствии стеснения не несло разнузданности. О нем шептали грезы, детство подступало к самым границам, а неотступные стремления души наметили путь туда. И вот теперь он дышал воздухом свободы и зрел ее наяву. Земля чудесной волной обступала его.

Приторочив к седлу невысокой кавказской

лошадки спальный мешок и мешок с кухонной утварью, с пистолетом за поясом, целыми днями бродил он по горам, останавливаясь на ночлег под звездным небом, встречая рассвет и провожая солнце на закате, не переставая напитываться силой и чудесами здешних мест. Здесь он прикоснулся к глубинам Земли, повествующим об очень древнем и всё же юном, ибо не знало перемен. Утро мира окружало его, роса и пламя, когда вся Земля была сплошным садом.

Всё великолепие иных стран, даже широко известных Египта и Индии, в этом краю, умудрившемся сохранить нетронутость и чистоту, представлялось вульгарным. Цивилизация небольших городов лишь тонким слоем лака, который солнце может растопить, тронула горы, а железная дорога, извивающаяся по склонам горного хребта, казалась проволочкой, которая отвалится, стоит земле вздрогнуть.

Здесь, где некогда высадились аргонавты, Золотое Руно по-прежнему сияет по ночам в шуршащих буковых лесах, их по сей день можно увидеть на берегах древнего Фасиса:[48] серебри-

[48] Примечания: 48

Фасис — древнегреческое название Риони, главной реки Колхиды. В Древнем мире Фасис и Колхида воспринимались нередко как одно понятие.

стые фигуры с высоким Язоном во главе ступают по сверкающим цветочным лугам в поисках древней красоты. К северу от солнечной Колхиды возвышается мрачной железной пирамидой Казбек, «опоясанный всеми пятью климатическими зонами», откуда дух Прометея по-прежнему взирает с «морозного пика» на мир, который будет спасен его отвагой. Ибо именно здесь колыбель человечества, прекрасный сад райской жизни до Падения, когда Земля пела от радости в первые, золотые юные годы, а душа ее выражала себя в могучих формах, дошедших до наших, менее славных дней, в преданиях о древних богах.

Неприметные, лишь слегка замаскированные, силы Земли поднимались из нее и вливались в людей, деревья, горы, цветы и всё сущее, непорабощенные и заряженные жизнью — непонятно, как можно не обращать на них внимание. В крови О'Мэлли чувствовалось биение первооснов.

Устоять невозможно. Останавливался ли он на ночлег у арийцев-осетин центрального хребта или за Сурамским перевалом в каменных жилищах горных евреев, не изменившихся с библейских времен, повсюду получал он послания от желанного Золотого века: порыв и шепот, зов Прамира…

И вот в самом начале июня, загорелый, похудевший, в прекрасной физической форме, путешественник-ирландец оказался в небольшом сванском поселении за Алигиром и готовился вместе с проводником — крестьянином-грузином — глубже проникнуть в тайники гор, чтобы напитать сердце одиночеством и красотой.

Эта область Имеретии, граничащая с Мингрелией, буквально утопает в пышной, почти тропической растительности: вся в синих и золотых огромных цветах, заплетенная дикими лианами, из которых вздымаются колонны буковых рощ, а чуть выше на многие километры простираются рододендроны в цвету, отчего склоны гор превращаются в сплошной сад, цветущий среди горных пиков, по сравнению с которыми Альпы — лилипуты. Ибо здесь сохранился Сад начала времен, запущенный, но прекрасный самой чистой красотой. Расточительность Природы здесь поразительна. Встречаются долины, куда редко ступает нога человека, заросшие двухметровыми лилиями по плечо всаднику — реликтовой флорой, говоря языком ботаников. Множество цветов О'Мэлли вообще никогда не встречал прежде, их оттенки и формы были настолько необычны, будто растения попали сюда с другой планеты. И

через всё это великолепие, уступая в пышности лишь кипени рододендронов, разбегались строчки сверкающей желтизны — купы понтийской азалии, чьи соцветия насыщали воздух неправдоподобно сладким ароматом.

Выше зоны буйства красок и гигантских растений простирались луга вплоть до вечных снегов, а оттуда открывался захватывающий дух вид на долины и скальные обрывы невиданной глубины и умалял в памяти все прочие горы.

И вот одним прекрасным июньским вечером, точнее, пятнадцатого числа, закладывая запас сыра и маисовой муки в торока на грязном постоялом дворе с помощью грузина-проводника, который, правда, больше мешал, чем помогал, О'Мэлли вдруг увидел знакомую бородатую фигуру, направлявшуюся к нему. У ирландца на мгновение занялся дух, но тут же его охватила дикая радость. Да, точно. Перед ним стоял друг-великан, тот самый русский с парохода, а окружавшее великолепие и масштабы теперь пришлись ему точно впору, словно он вырос из этой земли. И дополнил собой картину, придал ей смысл, будучи ее частью, подобно дереву или седому валуну.

XXVIII

Что ни возьми – смену времен года и часов, Жизнь и Судьбу, – всё пронизано ритмом, размером. Во всех искусствах и ремеслах, механизмах, органических телах, каждодневных делах присутствуют ритм, размер, мелодия. В безотчетных действиях также проявляется ритм. Он повсюду и во всё встроен. Все человеческие устройства соразмерны и подчинены ритму. Это неспроста. Неужели причиной только воздействие инерции?

Новалис

Несмотря на отдаленность и безлюдность тамошних мест, появление старого знакомца не было таким уж неожиданным. По некоторым признакам эта встреча должна была рано или поздно произойти. У ирландца, собственно, и сомнений не было. Однако не одни лишь предзнаменования указывали на сей раз на предстоящую встречу.

О'Мэлли не раскрывает до конца, что это было. О двух моментах он поведал мне сам, об иных

не мог себя заставить рассказать. В положенном же на бумагу повествовании нет упоминания даже о первых двух знаках. Нежелание изложить обстоятельнее нюансы нелегко объяснить, разве что недостатком в языке средств для выражения столь необычных обстоятельств. Однако ведь прежде его это не останавливало, когда он вел рассказ о своем удивительном приключении. И всё же мне не удалось убедить его развернуть объяснение, О'Мэлли лишь признался, что были еще другие моменты, послужившие намеками. А потом пожал плечами, рассмеялся и замолк в замешательстве.

О двух упомянутых им моментах я попытаюсь рассказать. Мы с Теренсом тогда сидели, как множество раз прежде, под звездным небом на крыше лондонского дома, где он снимал квартиру, а снизу доносился шум современного города. Оба эти момента соответствовали представлению, что день ото дня простиравшаяся шире телесной оболочки часть личности ирландца становилась всё активнее, познавая область расширенного сознания, пробужденную к жизни новым другом с парохода.

Так или иначе, О'Мэлли они убедили, что больше он не одинок. И уже несколько дней. Помимо

проводника, его сопровождал кто-то еще. Неотступно наблюдая.

— Множество раз мне казалось, что я вижу его, — рассказывал ирландец, — но каждый раз я ошибался. Однако разум мой не сдавался. Я был совершенно уверен, что великан где-то рядом.

Он сравнивал свои ощущения с известным многим переживанием, когда вспоминается старый друг, которого даже не ждешь, и тогда в каждом прохожем замечаешь его черты, пока друг действительно не направляется тебе навстречу по тротуару. Его приближение направило весть, которую ваше сознание успело получить, прежде чем друг успел показаться из-за угла.

О'Мэлли добавил:

— Уверенность в близкой встрече крепла день ото дня, будто его существо высылало вперед щупальца на поиски. И в первый раз они отыскали меня… — тут он чуть помедлил, подыскивая слово, — во сне.

— Значит, он тебе явился во сне?

— Да, вначале во сне, — отвечал он, — только когда я проснулся, сон не исчез, и различить, где сон, а где явь, я уже был не в состоянии. Кроме того, я постоянно ожидал встречи с ним, почти за каждым поворотом тропы, думал, вот-вот

увижу, только заберусь чуть выше в горы, вот за той скалой или за тем деревом, пока наконец действительно не увидел. Однако задолго до того, как показался, он наблюдал за мной, направлял и ждал.

Всё это Теренс высказал, не надеясь, что я поверю. Но в некотором смысле, как ему представлялось, я был способен поверить и верил. Причем в полном соответствии с духом приключения и с повышенной восприимчивостью его сознания. Ибо, расширившись, оно пребывало в состоянии «белого листа», на котором малейшее прикосновение мысли могло оставить росчерк. Он был восприимчив весь, с головы до пят. И расстояния физического мира не больше препятствовали остроте ощущений, чем электрическим силам.

— Но «русский» был не один, — добавил он негромко, но обычно как раз такие его замечания привлекали мое внимание сильнее всего, — он был там… со своими сородичами.

После чего, не переводя дыхания, ринулся пересказывать подробности своего переживания с силой убеждения, потрясшей мою оторопевшую душу. Как всегда, если О'Мэлли всецело отдавался повествованию, окружающее меркло и я снова

окунался в приключение. Дымовые трубы под колпаками превратились в деревья, полоса лондонского парка под звездным небом — в глубокую кавказскую долину, а шум машин — в грохот потоков, стекающих со снежных вершин. Казалось, в воздухе повеяло ароматом незнакомых цветов.

Ирландец вместе с проводником лежали, закутавшись в одеяла, уже много часов, полная луна на небе скрадывала признаки приближающегося рассвета, и тут Теренс пробудился со странным чувством, что проснулась лишь часть него. Часть оставалась в теле, а другая с легкостью пребывала в том состоянии или области, куда он переносился во сне… и где он был теперь не один.

Совсем недалеко среди деревьев что-то двигалось. Нет сомнений! Меж стволов явно происходило движение.

Активная часть его мозга несколько расфокусированным взглядом следила за фигурами, проносящимися по залитым лунным светом полянам под неподвижными кронами деревьев. Потому что ветра не было. Тени от ветвей не колыхались. Теренс видел быстрый бег силуэтов, энергично, но бесшумно проносящихся через серебряные и черные островки по кругу, и движение их было не случайным. Оно выглядело

размеренным и организованным, словно обороты гигантского колеса.

Край этого скачущего танца приходился футах в двадцати от того места, где он лежал, но получше разглядеть в неверном свете было трудно.

А силуэты, что проносились по серебристым лоскутам, казались очень знакомыми. Теперь он их точно узнал. Подобные тем, что складывались из колеблющихся эманаций на корме парохода, в форме «посланника» моря и неба и той форме, что приняла душа мальчика после смерти. Именно эти силуэты Ветра и Облаков, что он так часто видел во сне летящими наперегонки по длинным голым холмам, наконец показались вблизи.

В первый момент пробуждения, когда он видел их яснее всего, О'Мэлли вполне определенно ощутил присутствие отца с мальчиком среди них. Не то чтобы он их разглядел, но именно почувствовал, как они несутся где-то рядом; едва открыв глаза, он понял, что те прошли совсем рядом, почти коснувшись, и позвали за собой. Потом он тщетно пытался различить их в стремительном круговороте скачущих по серебряным тропам фигур, но все они были так похожи, различаясь только ростом.

То, как О'Мэлли описывал увиденные фигу-

ры, не давало полностью представить их себе, однако, по его признанию, ему никак не удавалось сфокусироваться, выделить хотя бы одну. Они проносились текучей волной, стоило глазу зацепиться за одну — а на ее месте уже другая. Точь-в-точь как в море, когда пытаешься уследить за гребнями волн. И всё же, по его словам, в полный рост их спины и плечи мощно круглились и вытягивались, готовясь к прыжку, ноги били воздух, а сладостная мелодия, которой они повиновались, напоминала ту, что овевала холмы Греции и теперь издалека нисходила сквозь ветви деревьев. Говоря «нисходила», О'Мэлли употребляет слово в его буквальном значении, потому что одновременно звук начал подниматься навстречу из-под земли, словно сама поверхность земли завибрировала, откликаясь. До чего же чудесный сон, где сами фигуры, их движение и звук — всё исторгнуто было содрогающейся поверхностью самой Земли.

И всё же почти одновременно с пробуждением тело послало сигнал предупреждения. Ибо, пока он наблюдал за танцем, не успев еще задаться никакими вопросами, после секундной дезориентации, ирландец вдруг ощутил вполне уверенно, что и сам танцует вместе с остальными, в то вре-

мя как часть его продолжала лежа наблюдать, что объясняло чувство раздвоенности. Частица сознания, связанная с мозгом, наблюдала, а другая, более энергичная, некая отделившаяся проекция его сознания резвилась со своими сородичами под луной.

Чувство раздвоенности было ему не внове, но никогда прежде не ощущал он его так отчетливо и неотступно. Завораживали отчетливость разделения и осознание важности и жизненной силы отделившейся части. Казалось даже, что он полностью вышел из тела… либо до такой степени, что оставшаяся часть лишь помечала тело как принадлежащее ему.

Двигаясь вместе с другими, он чувствовал ветерок на спине, видел, как скользят мимо деревья, и ощущал соприкосновение с землей между прыжками. Все движения давались легко и естественно, невесомые, как воздух, и быстрые, как ветер; они представлялись автоматическими, словно диктуемые каким-то могучим дирижером, направлявшим и сдерживавшим их. Ощущая несущихся по пятам и сразу перед собой, он понимал, что не должен сбиваться с ритма. Более того, понял, что танцующая круговерть длится вокруг него не одну только эту ночь, что

в определенном смысле сородичи всегда были рядом с ними, только он их прежде не замечал. Краткие видения приоткрывали раньше правду лишь частично, теперь же она предстала перед ним целиком, в полном великолепии.

Весь мир танцевал. Вселенная подчинялась ритму и метру.

Поразительная красота в одно мгновение открылась вырвавшейся на свободу части его сознания, устоять, не разделить которую было невозможно. Неприкрытая радость, которой нечего стыдиться, рожденная могучим сердцем Матери-Земли, что в ослабленном выражении просачивается к людям, хотя и тогда спонтанно и неостановимо, — радость танца.

Всё откровение, переживание целиком заняло, по его мнению, лишь долю секунды, но оно потрясло всё его существо непререкаемостью истины. А вслед за ним пришло родственное, столь же спонтанное и естественное выражение, нанизанное на ритм, — желание петь. Должно быть, он запел вслух. Ибо мощный и таинственный ритм, руководящий ими, превосходил масштаб тех, кто двигался в стремительном хороводе. Вздымаясь волнами, он проходил насквозь, рождаясь в той безграничности, живой частью которой они бы-

ли. Ритм исходил от самой Земли как проявление пульсаций ее жизни. И токи Земли текли сквозь танцующих.

— Тогда меня озарило, — сказал ирландец, — хотя, проснувшись, мне не удалось восстановить это озарение во всей яркости, большая часть потускнела, поэтому я смогу передать лишь слабый намек на то, что я почувствовал.

Говоря это, он встал, раскинув руки, словно желая обнять небо, как с ним бывало в минуты высочайшего возбуждения. Глаза сверкали, голос звенел. Вне всякого сомнения, он говорил о том, что испытал сам, и не во сне, пусть даже самом ярком, но в реальности, которая ожгла сердце и оставила в нем следы славного пережитого.

— Наука постигла кое-что, — воскликнул он, — когда утверждает, что мельчайшие молекулы постоянно вибрируют, даже на кончике иглы. Но я видел, вернее, будто знал это всегда, ощущал сердцем как любовь, как сладость летнего дождя, что вся Земля *с* мириадами выражений жизни двигалась в перворитме, словно в божественном танце.

— В танце? — недоуменно переспросил я.

— Хорошо, назови это тогда ритмичным движением, — сказал он. — Делить жизнь с Землей

— значит танцевать и петь от огромной радости! И чем ближе к ее великому сердцу, тем естественнее и спонтаннее побуждение — инстинктивный танец первобытных народов, дикарей и безыскусных детей, которые не успели еще научиться условностям общества; натуралисты видели, как резвятся животные — кролики на лугу или олени на тайных лесных прогалинах, как кувыркаются в воздухе птицы — грачи, чайки, ласточки; танцуют животные в море и даже мошкара в вечернем мареве летом. Любая жизнь, достаточно простая, чтобы коснуться безмерного счастья ее текучего Существа, танцует от радости, подчиняясь более великому ритму. Естественное движение великой души Земли ритмично. Сами ветры, колыхание ветвей деревьев, цветов и трав, волн морских, ручейков, серебристо бегущих по долам, облаков и клубов тумана, даже содрогания землетрясений — все они повинуются биению ее гигантского пульса. И горы, конечно, тоже, хотя они столь велики, что мы замечаем лишь те мгновения, по их меркам, когда они застывают, переводя дух, но и они растут и разрушаются. Всё свидетельствует об этом: наше дыхание, первый признак жизни, ток крови в наших жилах и речь — вдохновенные слова всегда ритмичны

и приходят в голову поэта «свыше», оттого что больше и шире него. Поэтому танец вовсе не проявление неразумия, а знак следования глубокому инстинктивному знанию и в более ранние дни был формой богослужения. По крайней мере, тебе ведомо очищающее воздействие ритма при церемониях, что пробуждает чистую радость. Возможно, тебе известен Танец Иисуса…

Слова лились страстным потоком, но выговаривал их О'Мэлли мягко и с улыбкой на устах. Его фигура возвышалась надо мной, вырисовываясь на фоне звездного неба, а я внимал рассказу, глубоко тронутый, с восторгом в душе. Несомненно, ритм сопровождает все проявления жизни. Мой друг нащупал простую, но поразительную истину, хотя и выражал ее весьма вычурно. И при записи я смог восстановить едва ли десятую часть того, что он говорил. Но ясно помню, что тело его во время рассказа покачивалось из стороны в сторону и что где-то в потоке повествования он упоминал о раскачивании говорящих в трансе или в притоке вдохновения.

Самое естественное проявление жизненной силы Земли выражается в танце чистой радости и счастья — по существу, к этому для меня свелась суть его слов. Наиболее близкие Природе

ощущают это. Да и я помню, по весне мысли на волне сладостных чувств летели далеко-далеко…

— Причем не одна лишь Земля пульсирует в этом ритме, — вторгся его певучий голос в мои мечтания, — но и Вселенная целиком. Тела планет и созвездий вплетают в эфирные поля необъятный древний ритм своего божественного вечного танца…

Затем со смешком, как бы извиняясь за то, что позволил себе столь свободные излияния, О'Мэлли резко прервал себя и снова сел рядом со мной, прислонившись к печной трубе. И уже спокойнее продолжил рассказ о том своем приключении, меж сном и явью…

Всё, что он описал до того, произошло за краткие секунды. Живо и ярко промелькнуло и исчезло. Он вновь ощутил требование тела возвращаться. Пребывание одновременно в двух местах, раздвоение, делало необходимым выбор. С которой частью должен он соотнести себя? Казалось, выбор можно было произвести усилием воли.

Вместе с тем пришло осознание, что остаться «вовне» проще, чем вернуться. На этот раз труднее будет «прийти в себя».

Одной вероятности, казалось, хватило, чтобы вызвать необходимый для преодоления барьера

всплеск энергии, переживание встревожило его, словно он выбирал между жизнью и смертью, уже пригубив смерть. Будто сами собой высвободившиеся силы откликнулись на призыв тела. Результат был немедленный и явный: очертания одного из Танцующих отделились от основной массы, стремительно и беззвучно приблизились, окутав на мгновение тьмой и потеряв форму, и затем впитались в него, подобно дыму в древесные поры.

Отлетавшая часть личности вернулась. Ощущение раздвоенности исчезло. Остался лишь привкус испуга слабой плоти, исторгнувшей призыв, воссоединивший их.

В тот же миг он полностью проснулся. Кругом в ночи никого, лишь серебристые грезы луны среди теней. Подле него спящая фигура проводника: башлык овечьей шерсти плотно закрывает уши и шею, а просторная черная бурка укутывает до самых пят. Чуть поодаль стоит конь и щиплет траву. О'Мэлли вновь отметил, что ветра не было и тени от деревьев на земле не колыхались. Воздух приятно пах лесом, землей и росой.

Только что пережитое, как теперь казалось, принадлежало скорее к миру сновидений, чем бодрствования, ибо ничто из окружающего не

подтверждало его истинность. Оставалась лишь память — и всепоглощающее счастье. Испуг исходил лишь от плоти, ибо тело неминуемо должно было сопротивляться разделению. И счастье погасило страх.

Да, остались лишь воспоминания, и те быстро затуманивались. Но суть произошедшего впиталась ему в душу, и великолепие пережитого останется с ним на всю жизнь. В тот краткий миг расширенного сознания он делил восприятие с Космическим Существом Матери, простое, как солнечный луч, не знающее преград, как ветер, полностью насытившее его душу. Природным его выражением был ритм, чистая радость движения, что выплескивалась в жизни людей через танец и пение. И он познал такую радость вместе с сородичами…

Более того, невидимый и неслышный теперь, их танец еще продолжался поблизости. Его дружески сопровождали, не выпуская из внимания. Они чувствовали в нем своего — эти собратья, выражение космической жизни Земли, существа Прамира, в мире сегодняшнем не имеющие внешней, телесной формы. Они ждали, уверенные, что он придет к ним. И осуществление их надежд было недалеко.

XXIX

И вдруг,
Хоть сердце раза два должно было послать
Мой крови ток по беговому кругу,
Я воспарил на пике чувств над жизнью
И выпал из Времен.

***Ласел Аберкромби. «Стихи и интерлюдии»*[49]**

Вот каков был один из «намеков», показавших О'Мэлли, что он был не один и что сознание бывшего соседа по каюте ищет его. После этого ирландец стал ощущать более определенное руководство, даже настойчивость в выборе маршрута путешествия. Поступил некий «импульс», как говорят, повернуть на север, которому он покорно повиновался. Тот «сон» посетил его на склонах Арарата, почти на границе с Турцией, и

---

[49] Примечания: 49

Ласел Аберкромби (1881–1938) — британский поэт и литературный критик.

хотя всё было готово к восхождению на вершину высотой шестнадцать тысяч футов[50], О'Мэлли изменил планы, отпустил местного проводника и отправился в обратный путь к Тифлису и Центральному Кавказскому хребту.

Другой бы на его месте отмахнулся бы от такого сна или за приготовлением утреннего кофе просто запамятовал о нем, но чуткий кельт воспринял его всерьез. Инстинктивно он верил, что в снах определенного сорта бессознательной части личности могут приоткрыться силы, управляющие духом в тот или иной момент, если их здраво интерпретировать. Они проявляют себя в драматических сценах, поддающихся интуитивной интерпретации. А О'Мэлли, казалось, обладал, подобно древнееврейским пророкам, той мерой постижения, которая позволяет видеть вещи в истинном свете.

Плотно упаковав свои пожитки, пешком по Военно-грузинской дороге он дошел до Владикавказа, где нанял в качестве проводника магометанина-грузина по имени Рустем, взял лошадь и по незабываемой красоты неширокой долине вдоль Алигира и Они направился к

---

[50] Примечания: 50
Около 4,8 тыс. метров.

одному маленькому селению в Имеретии, где планировалось запастись продовольствием для длительной вылазки в необитаемую часть гор.

И там произошло второе событие, о котором он рассказывал мне. Более непосредственное, чем первое, но столь же странное и неоспоримое, пришедшее вначале таинственными тропами сна — этого кратчайшего способа проникнуть в подсознание…

Они тогда остановились на ночлег в низкорослой самшитовой роще. Когда ирландец заворочался в спальном мешке и вдруг проснулся, стояла сухая жаркая ночь, дул слабый ветерок и ярко блистали звезды. На этот раз никакого сна не было, лишь уверенность, что кто-то намеренно пробудил его. Сев, он едва не крикнул в ответ. Словно кто-то позвал его по имени, причем знакомым голосом. О'Мэлли быстро огляделся. Никого, кругом виднелись лишь обступившие место стоянки самшитовые деревья — одни округлые и ветвистые, словно кусты, другие вытянутые и изломанные, — они перешептываясь в ночи. За ними вздымались уходящие далеко ввысь горные склоны, и среди звезд виднелись вершины, увенчанные снежными шапками.

По-прежнему никого. На сей раз летящие фи-

гуры не танцевали в лунном свете. И луны тоже не было. Однако кто-то всё же подошел совсем близко и пробудил от глубоко сна уставшего после долгого перехода человека. И вновь исчез в ночи. Тем не менее сохранялась бесспорная уверенность, что пробудивший не оставил попыток пробиться к его вниманию видимым образом. Во сне он начал было получать встречное движение, но не преуспел. Ирландец просто проснулся… попытка не удалась.

Привязанная в нескольких футах лошадь беспокойно ржала и рвалась с привязи, а Рустем уже был на ногах и старался успокоить ее. Ноздрей ирландца достиг странный запах — лишь раз, потом развеялся. Точно такой же, незабываемый, он почуял несколько недель назад на пароходе. Прежде чем пышные леса заглушили этот запах более густым букетом миллионов соцветий, О'Мэлли распознал немного терпкий и пряный, как от разгоряченного коня, аромат, который почуял тогда из-за двери зачарованной каюты. На этот раз аромат был намного явственнее, тонкий и чистый, приятный, хотя и несколько тревожный.

Отбросив одеяла, ирландец присоединился к проводнику, чтобы помочь распутать лошади-

ную привязь. Рустем почти не говорил по-русски, а знание грузинского О'Мэлли ограничивалось единственной фразой «Гляди внимательней!», но при помощи ломаного французского, которому проводник научился у охотничьих партий, что сопровождал по здешним местам, объяснил: кто-то, по-видимому, прибыл сюда ночью и остановился на ночлег неподалеку, чуть выше них.

Хотя в здешнем безлюдье это было необычно, особой тревоги не вызывало, о чем говорил тот факт, что проводник оставил кинжал и ружье на подстилке. Прежде при малейшем признаке опасности Рустем моментально вооружался до зубов и даже спал при оружии, а теперь, да еще в темноте, был безоружен, значит, попытки конокрадства и непосредственной опасности для жизни не было.

— Кто это был? Что это? — не прекращал ирландец задавать вопросы, спотыкаясь о протянувшиеся во все стороны, похожие на канаты корни самшита. — Такие же путешественники, как мы, местные или… кто-то другой? — Говорил он очень тихо, словно тот, кто разбудил его, был всё еще поблизости и мог услышать. — Чего ты боишься?

Тут Рустем поднял глаза от веревки, которую

распутывал. Стараясь не попасть лошади под копыта, он придвинулся ближе. Шепотом, мешая французские и русские слова, осеняя себя защитными знаками своей веры, он бормотал что-то, разобрать удалось только малоутешительное — что-то находилось совсем поблизости, что-то mechant[51]. Таково было странное слово, которое он употребил.

Манера выражения, темнота и безлюдье кругом снарядили прилагательное такой силой, какой, возможно, проводник в нем и не предполагал. Нечто прошло мимо, не столько злое, зловредное или злонамеренное, сколь непонятное и чуждое, не от мира сего, таинственное и сверхъестественное. И Рустем, человек совершенно не боящийся физической опасности, с восторгом даже идущий ей навстречу, страшился этого непонятного в душе.

— Что ты имеешь в виду? — громче и с некоторым нетерпением в голосе спросил О'Мэлли. Проводник теперь стоял на коленях, но молился ли он или продолжал распутывать веревку, понять было трудно. — О чем таком ты бормочешь?

---

[51] Примечания: 51
Злое, злобное, опасное *(фр.)*.

Ирландец говорил уверенно, но на самом деле тоже находился в смятении.

Ответ, прозвучавший почти у самой земли из губ коленопреклоненного проводника, да еще когда тот почти совсем отвернулся, вышел малоразборчивым. Донесся лишь обрывок фразы: «…de l'ancien monde — quelque-chose…»[52]

Ирландец взял проводника за плечи. Не желая сильно встряхнуть его, он, видимо, всё же сделал это крепче, чем собирался, поскольку ответы ему пришлись совсем не по душе, на которой и без того было неспокойно. Мужчина вскочил на ноги. Выражения его лица в темноте было не видно, но глаза заметно блеснули. Возможно, от гнева или же от страха, но, безусловно, Рустем был сильно возбужден.

— Что-то древнее, как камни, древнее камней, — шептал он, присунувшись чернобородым лицом теперь неприятно близко. — Они тут в горах… Mais oui! C'est moi que vous le dis![53] Они древнее камней, говорю я вам. И иногда подходят близко… с налетевшим ветром. Мы знаем!

И, шагнув назад, он вновь опустился на колени

---

[52] Примечания: 52
«…что-то из древнего мира…» (*фр.)*

[53] Примечания: 53
Да-да! Я вам точно говорю! *(фр.)*

и склонился до самой земли, опершись о нее ладонями. При этом с досадой отмахнувшись от О'Мэлли, будто именно его присутствие навлекло неприятность.

— А увидеть их — значит умереть! — донесся снизу хриплый шепот проводника. — Увидеть их — значит умереть!

Ирландец вернулся к спальному мешку и забрался в него. Происшествие задело глубинные верования и суеверия проводника, и совсем ни к чему было спорить, чтобы не настраивать его еще враждебнее. Лежа Теренс ждал. Какое-то время доносилось басовитое бормотание Рустема из темноты, наконец оно стихло. Проводник тихо улегся.

— Он знает, он меня предупредил! — шепнул Рустем, многозначительно махнув в сторону коня, когда они вновь лежали рядом и звезды глядели на них с черного бархата неба. — Но пока они миновали нас, не нашли. Ветра не было.

— Другие — кони? — уточнил О'Мэлли, чтобы успокоить спутника.

Но крестьянин покачал головой, и на этот раз даже в темноте было нетрудно угадать выражение его лица. В тот же момент животное на привязи издало протяжное ржание, в котором

звучала скорее просьба, а не испуг, однако Рустем взвился с места, бухнулся на колени и принялся отвешивать земные поклоны. О'Мэлли не стал ничего говорить и, не желая слышать жалоб проводника, только плотнее заткнул уши.

Подобная пантомима продолжалась еще около часа, пока наконец лошадь не успокоилась и О'Мэлли не смог немного поспать, хотя сон и не принес отдыха. Ночь молчаливо обступила их, подстроившись под молчание неба. Кусты самшита слились в сплошную черную полосу, дальние вершины исчезли из вида, воздух посвежел от предрассветного ветра, который солнце гонит перед собой по земному шару. Ирландец то дремал, то засыпал глубже, но его не отпускало чувство, что друзья близко, а те танцующие родственные формы космической жизни вновь готовы принять его. Понимал он и то, что лошадь вовсе не пугало приближение неведомых гостей. Животное инстинктивно чуяло присутствие своих дальних сородичей.

Однако Рустем не сомкнул глаз и почти всё время молился. То и дело его рука тянулась к оружию, что лежало наготове на свернутой бурке; когда же занялся бледно-желтый рассвет и проступили очертания отдельных кустов самшита,

он поднялся и раньше обычного начал разводить костер для утреннего кофе. Вскоре вершины на востоке зазолотились, а потом всю широкую долину залили золотые и серебряные лучи солнца. Тогда мужчины систематически осмотрели окрестности. Молча разглядывали они траву и кусты, но, конечно, никаких следов других путников, останавливавшихся на ночлег, не обнаружили. Да, собственно, и не надеялись найти. Земля была нетронута, кусты целехоньки.

Но оба знали: «нечто», приходившее и укрытое ночью, по-прежнему далеко не отходило…

И вот, двумя часами позже, они остановились в крохотном селении — кроме фермы, только несколько сложенных из дикого камня хижин пастухов — запастись провизией, там-то О'Мэлли и увидел фигуру своего друга. Тот стоял в сотне ярдов от них среди деревьев и сам вначале показался деревом, таким неподвижным стоял он на опушке: мощный торс — ствол, а грива волос с бородой — крона. О'Мэлли смотрел на него почти минуту, прежде чем узнал. Великан абсолютно вписывался в пейзаж, словно его деталь, которая вдруг двинулась им навстречу.

В тот же миг из долины внизу поднялся порыв ветра и пронесся над ними с ревом, встряхнув

буки и самшит, приведя в волнение золотистые азалии. Порыв пролетел, и всё стихло. На горы вновь опустилось мирное июньское утро.

Но покой нарушил вопль проводника, в котором звучал дикий ужас.

О'Мэлли повернулся было к Рустему объяснить, что вот перед ними причина ночного беспокойства коня, однако в глаза бросилось побелевшее как полотно лицо в обрамлении черных спутанных волос, крестьянин застыл как вкопанный. Рот его был открыт, руки подняты в защитном жесте. Рустем смотрел туда же, куда и он, но в следующую секунду уже рухнул на колени и принялся, закрыв глаза руками и стеная, отбивать поклоны в сторону Мекки. Вьюк, который он держал, упал набок, и оттуда на землю выкатились головки сыра, выпал мешок с мукой. Конь вновь протяжно заржал.

На мгновение ирландцу показалось что по всему кругом прокатилась волна, порыв движения. Сама поверхность Земли мягко подрагивала, словно в ответ на ласку ветра, вместе с миллионами листочков на деревьях, а в следующее мгновение всё улеглось. Земля блаженно отдыхала.

Хотя неожиданность появления незнакомца

могла напугать проводника, чьи нервы и без того были напряжены ночными событиями, тем не менее его дальнейшие действия, вызванные неподдельным ужасом, порядком удивили ирландца. Некоторое время Рустем молился, припав к земле, приглушавшей его стоны и бормотание, потом вдруг вскочил и, глядя на О'Мэлли выпученными глазами, дико сверкавшими на совершенно меловом лице, хриплым от страха голосом воскликнул:

— Тот самый ветер! Они спускаются с гор! Древнее камней. Спасайся… Закрой глаза… беги!

И кинулся прочь, стремительнее серны. Не заботясь ни о еде, ни о плате, просто накрыл лицо полой черной бурки и убежал.

О'Мэлли наблюдал за его реакцией в полном замешательстве, не двигаясь с места, но одно ему было совершенно ясно: проводник совершал все свои импульсивные действия, испугавшись того, чего не видел, а лишь почувствовал. Потому что он кинулся совсем не прочь от фигуры великана — огромными скачками бежал он прямо на нее. Едва не задев плечо застывшего пришельца, Рустем пробежал дальше, так и не увидев его.

Напоследок О'Мэлли заметил, что в стремительном беге с головы проводника слетел желтый

башлык, но, рывком наклонившись, Рустем успел на лету подхватить его.

И тут великан зашевелился. Медленно вышел он из-под деревьев и протянул руки навстречу, а лицо его озарила сияющая улыбка. С этой минуты для ирландца всё перестало существовать, затопленное переполняющим его ощущением счастья.

XXX

Так поэты освобождают богов. Девизом английских бардов была строка: «Те, кто свободны повсюду в мире». И сами свободны, и дают свободу другим. Пробуждающая воображение книга вначале, стимулируя нас своими тропами, способна сослужить большую службу, чем потом, когда мы точно понимаем, что хотел донести автор. Думаю, трансцендентное и экстраординарное только и представляет интерес в книгах. Если увлеченный читатель уносится мыслями в другой мир, позабыв обо всем, в том числе и об авторе, а собственная греза охватывает его со страстью безумца, дайте мне эту вещь, все прочие доказательные аргументы, исторические свидетельства и критику можете оставить себе.

Эмерсон

Критиковать, отрицать и тем более пренебрежительно отмахиваться — путь наименьшего

сопротивления для ума. Хотя, признаюсь, история, впервые услышанная от друга, когда мы лежали на траве в парке возле Серпентайн тем летним вечером, вызвала у меня желание поступить именно таким тривиальным образом. Но по мере того как я слушал его голос под шелест тополей над нашими головами и всматривался в одухотворенное лицо, порывистые жесты, во мне постепенно зашевелилась мысль: а не попытка ли взяться за более великое, чем оказалось под силу освоить аналитическим способностям отдельного человека, причина не совсем адекватного восприятия произошедшего? И постепенно я абсолютно уверился, что этот ирландец рядом со мной — поэт в душе и просто жил своими представлениями.

Ибо для него реальность всегда выступала внутренним переживанием, а не одними лишь формами и делами, одетыми материальной плотью.

Часть событий, вне всякого сомнения, произошла: он действительно повстречал русского бессловесного гиганта на пароходе; рассказ Шталя был лишен прикрас; мальчик упал бездыханным из-за болезни сердца; случай свел О'Мэлли и отца мальчика снова в той дикой

долине на Центральном Кавказе. Всё это действительные события, столь же зримые, как суеверный страх грузинского крестьянина-проводника. Далее можно признать как факт, что русский обладал теми же в точности свойствами сильного сопереживания скрытым стремлениям собеседника, которые чувствительный кельт моментально усвоил. Это, без сомнения, послужило толчком и позволило с головой окунуться в квазидуховное приключение, не сомневаясь в истинности своих переживаний, которые, несомненно, превращают наискучнейшую прозу жизни в непередаваемое чудо, ибо соотносят буквально всё вокруг с поступью величественных Сил, ни на секунду не прерывающих свою работу за занавесом Жизни, и тогда в венчике лютика видится золотое мерцание упавшей звезды.

Кроме того, для Теренса О'Мэлли, похоже, не существовало границы, отделяющей одно состояние сознания от другого, как не существует определенного момента перехода человека от сна к бодрствованию, от удовольствия к боли и от радости к печали.

Собственно, и между нормой и отклонением от нее также не существует четкого порога. Во встреченном незнакомце О'Мэлли вообразил се-

бе дружеское расположение, которое с помощью какой-то магической алхимии преобразовало глубинное одиночество души в радость и принесло возможность напитать страстные желания, субъективно приблизив их исполнение. Поэтому, заметив в нем приязнь, О'Мэлли испытал истинное внутреннее преображение. Если даже некая часть моего рассудка и относила произошедшее к области творческого воображения, другая же признавала его истинность, поскольку он прожил всё без тени сомнения.

По крайней мере, он ничего не выдумывал и не колебался. Просто рассказывал о том, что случилось. Несоответствия — особенно части, опущенные в письменном пересказе, — вызывались, скорее всего, недостаточным мастерством при передаче глубины и яркости впечатлений. Но факт остается фактом: он их испытал. Его сказка убеждала.

Вера помогла ему восстановить целостность духа — он обрел его в единстве с Землей. Рассогласование между внутренней и внешней частями души исчезло.

И вот вдвоем с вновь обретенным другом они углубились еще дальше в горы, поражавшие диким великолепием. По словам О'Мэлли, ему

совершенно ясно стало, что та «внутренняя катастрофа», которой он страшился, будет лишь означать полный перенос сознания из «внешней» во «внутреннюю» сферу. Утратится лишь та личность, что действовала в современном мире. По пути эта жизнь будет потеряна. Но пробужденная великаном подспудная часть личности постепенно примет бразды правления. Чтобы присоединиться к существами Прамира и разделить с ними вечную жизнь красоты в близости к Земле, необходимо сдвинуть центр восприятия. Лишь так получится войти в состояние «до грехопадения» — в тот древний Сад Мировой Души, чьи пределы оказались совсем недалеко от повседневности, — и познать наконец освобождение от столь удручающих его тревог современного мира.

На время он мог входить в такое состояние уже давно — во сне, грезах. В тех возбуждающих воображение трансах, когда он почти совершенно покидал тело, но перейти в него постоянно означало пойти на большее, чем простое обездвиживание тела. Он был свидетелем тому, что требовалось от него: полное высвобождение Двойника при так называемой смерти, как у мальчика…

Поэтому, по мере того как они продвигались на север, в направлении могучего Эльбруса и границ Сванетии, в глубине души ирландец ощущал, что они приближаются к желанному Саду и тем величественным Вратам из Рога и Слоновой Кости, которых пока не удавалось отыскать оттого, что он страшился позволить себе сделать шаг к ним. Нередко останавливался он под стенами Сада, ощущал аромат его цветов, слышал звуки песен и даже улавливал тени той роскошной жизни, что протекала внутри. Но Врата никогда не сияли для него, даже в небесах грез, поскольку взгляд всегда туманила тревога. Ему казалось, что Врата раскрываются лишь в одну сторону — впуская внутрь, и он не мог решиться, медлил, возвращался… Многие совершали эту ошибку, подобно ему. Но изнутри не потребуется возвращаться, ибо на самом деле стены распахиваются наружу и заключают весь мир.

Цивилизация и Человечество — эти слова человек меньшего масштаба видения оставил ему в качестве пароля к безопасности. Теперь же он открыл, что Простота и Любовь служили более верными ключами. Этому безмолвно научил его друг-великан. Теперь сомнений не было.

В том маленьком селении их встреча прошла

без единого слова. Никто ничего не сказал. Лишь взглядом русский спросил: «Как, идешь?» — и всем телом подался в том направлении, куда им предстояло двигаться, а когда ирландец согласно кивнул, то жестом подтвердил: «Значит, идем вместе». И они двинулись бок о бок, ничуть не медля.

Лишь оглядываясь назад, О'Мэлли мог заметить некоторую странность столь внезапного и согласного отправления в дорогу, тогда же оно представлялось совершенно естественным и неизбежным, как необходимость плыть после прыжка в воду. С той вершины, на которой ирландец стоял, мелкие детали были не видны — в экзальтации его занимали более возвышенные видения. Детали повседневной жизни скрылись за горизонтом. О пище, лошади и одеялах он даже не подумал. Совершенно безрассудно, ничем не стесненные, отправились они в путь. Так он мог бы взять в спутники ветер, солнечный луч или дождь. Ведомые единой мыслью или прихотью, и тогда бы могли испытать они больше забот, теперь же шли беззаботно и вольно.

Чуть задержалась одна подробность внешнего мира, хотя и она стремительно удалялась в сознании, словно погружаясь в глубь вод: об-

раз бегущего крестьянина. Вспомнилось, как тот наклонился, чтобы подхватить и набросить башлык. Но эта картинка виделась будто совсем издалека. Не успел башлык закрыть голову Рустема, как всё затуманилось и исчезло…

XXXI

Кругом цвела весна, и флейты Пана играли повсюду. Сияние первого утра мира ничто не затеняло. Жизнь текла, пела и танцевала, обильная и вольная. Она омывала горы и небо безупречной синевы. И его вместе с ними. Окунувшись в сияние и очистившись в нем, он шел по Земле, что раскинулась вокруг в юной прелести. Вечная весна пронизывала хрустальным смехом мир света и цветов — цветов, которые никто не рвал и не губил, света, который не мог померкнуть под крышами или в четырех стенах.

Весь день без всякого труда, словно на ногах выросли крылья, спутники поднимались по крутому склону, поросшему самшитом и буком, пересекали заросшие золотистыми азалиями широкие поляны, а ветер, прохладный, как на рассвете, подгонял их. Несмотря на масштабы и дикость, здешние места странным образом напоминали парк: огромные кустистые деревья стояли, словно причесанные ветрами, то шуршащими, то свищущими в их листве. Меж рододендронов протянулись поросшие густой

травой дорожки и более широкие пути, древнее луны, которые лишь недавно покинули тысячи садовников-ветров, перешедших к заботам в соседнем краю. Надо всем витал дух красоты и простой жизни древности, мягкий отсвет зари мира.

Всё ближе и ближе, глубже и глубже, быстрее и быстрее… напрямик к материнскому сердцу стремился О'Мэлли. По самым чувствительным путям внутреннего бытия, столь незаметным, мягким и незамысловатым, что у большинства людей они просто зарастают или остаются совсем не видны, он радостно скользнул чуть ближе — еще на одну ступень — к истинной реальности.

А флейта Пана «в полный голос» пела над вершинами и долинами Кавказа:

О, сладкоголосый Пан!

Чарующе льющий трели возле реки!

Ослепительно-сладостный великий бог Пан!

Солнце на холме не стало умирать,

Лилии ожили, а стрекозы

Вернулись грезить у реки.

Великан размашистыми шагами, больше не

спотыкаясь неуклюже, как на том игрушечном пароходике, где пытался вписаться в меньшую амплитуду движений, привычных людям, уверенно шел во главе по ведомым ему тропам, вернее, по непроторенному простору мира, с любовью расстеленного ему под ноги планетой. Ветер, дующий с равнин, давно оставленных позади, служил им мудрым попутчиком. До их ушей доносились не слабые звуки рожка из Волшебной страны эльфов, но трубный глас Прамира, нарастающий по мере приближения к цели. Величественные склоны под ними мягкой зеленой пеной заливали буковые леса, а на луговинах блестели и звенели ручьи. В полдень, когда слишком пекло, они останавливались вздремнуть в тени скал, а иногда шли еще долго после захода солнца, руководствуясь звездами и намеками ветров. Даже лунный свет, заливавший одинокий мир серебром, соперничающим с белизной горных вершин, был к ним благосклонен, полубожествен… О'Мэлли казалось, что и во сне за ними наблюдали и присматривали, словно Другие, ожидавшие их, спустились, чтобы встретить на полдороге.

И непрестанно нарастало счастье: теперь он ощущал себя воссоединившимся, полным,

целостным. Будто его «я» передавалось бесчисленным тысячам других, становясь несметным, как песок. Он был везде, во всем — сиял, пел, танцевал… Вместе с древними лесами он дышал, с водными потоками струился по тенистым долинам, с каждой вершины взывал к Солнцу и вместе с ветрами облетал широко раскинувшиеся отроги. Вокруг него простерлось цветущее создание — Кавказ; огромный и безмолвный, нежился он на солнце. Но горы вмещались и *внутрь* него, расширяющееся сознание включило их в себя. Через них как раннее мощное выражение Настроя Природы О'Мэлли проник к Душе Земли, подобно ребенку захваченный всепобеждающей материнской нежностью, приник он к сердцу той, что дала ему жизнь. Его окутала любовь, он ощутил силу вечных объятий Земли.

XXXII

Туда, о да, к тому, что глубже,
чем любовь
к гордыне,
И даже глубже, чем цветение
добра, позор греха,
Сорвать вуаль и одному уйти
туда, где всё —
труха,
Нагим, потерянным отныне.
Почувствуй, где родился ты – в
огромном мире,
не в немой пустыне!
Иль Мировой Души какой ты
стал частицей?
Так слейся с ней и ощути, к ка-
кой великой
жизни причастился.
В любви воспрянь вселенским
утром.
Да, суть твоя так страстно

рвется к центра цели,

Но беспредельно достижима цель в дороге

без конца;

Из Бытия глубин вздымается прилив

и заливает мели,

С зенита льется свет из вечного дворца;

Так жизнь твою и суть Жизнь Космоса

собою отогрела,

И все они есть Бог, и ты – они, как видно

мудрецам.

Ф. У. Г. Майерс. «Космическое мировосприятие» [54]

Дальнейшее повествование унесло меня в волшебную страну, но такая действительно существует, ибо живет в сердце каждого человека,

---

[54] Примечания: 54

Фредерик Майерс (1843–1901) — английский натурфилософ, психолог. В частности, участвовал в организации Общества физического исследования призраков, повлиял на формирование взглядов Уильяма Джеймса.

имеющего воображение и не замыкающегося от Вселенной в тесном мирке.

Если перенесенный О'Мэлли на бумагу рассказ, а в особенности его записи в растрепанных блокнотах, приводили меня в замешательство, переданное им на словах приоткрыло ощущение безмерности и счастья, которые он испытал. Я уловил лишь отдельные сцены, залитые ослепительным светом. Их бессвязность передавала величие целого лучше, чем любая последовательная увязка.

Кульминация отсутствовала. Повествование двигалось кругами. По мере того как я слушал, меня обволакивало ощущение вечности, поскольку он поместил рассказ вне времени и пространства, и я также начал грезить. Как никогда ясными, сделались слова «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день»[55]. Вероятно, так чувствовал себя монах, для чьего сердца прошла сотня лет, пока он внимал песне птички.

На мои вопросы практического свойства, которыми я по глупости вначале тревожил его, мой друг не ответил, поскольку был не в состоянии. Но не было малейшего сомнения, что излагаемое

---

[55] Примечания: 55
Петр. 3:8.

— не плод художественного воображения.

— Ты действительно ощущал Землю вокруг и внутри себя, — спросил я, — примерно как чувствуешь присутствие друга?

— Да, я полностью утопал в ней, как в мыслях и чувствах того, кого страстно любишь, — ответил он, и голос его дрожал.

— Значит, слова были излишни?

— Невозможны, убийственны, — последовал лаконичный ответ, — они ограничивали и даже разрушали.

Это, по крайней мере, я осознал: беспомощность слов перед всеобъемлющей любовью, когда полностью теряешься в другом, плывешь без опоры, но окруженный заботой, принятый внутрь.

— А как же твой русский друг, твой вожатый? — запинаясь, осмелился спросить я.

Ответ на удивление много прояснил:

— Он был наподобие важной руководящей Мысли в сознании Земли — как яркий мотив, толкующий ее любовь и великолепие, не дающий уклониться.

— То есть, как ты почувствовал в Марселе, он был тем жизненно важным ключом?

Необычная фраза из его записей хорошо запомнилась мне.

— Неплохое слово, — засмеялся он, — и, собственно, довольно подходящее. Ведь он — вернее, оно — был одновременно и внутри меня. По мере роста и расширения наших жизней мы всё больше сливались. И увлекали за собой берега, став потоком! Весь пейзаж увлекали с собой!

Последние слова сбили меня с толку, неясно даже было, как реагировать. Тогда Теренс отставил тарелки — мы зашли пообедать в один из ресторанчиков Сохо, где заняли столик в дальнем зале. Кроме нас, посетителей не было. О'Мэлли придвинулся ближе к столу.

— Разве ты не понимаешь, что наш путь проходил также внутри? — кратко уточнил он.

Бледный лондонский свет проникал через окно, пройдя над мрачными крышами с дымовыми трубами и дворами-колодцами. Но, коснувшись лица Теренса, он, казалось, вновь засиял. А от него свет и тепло передались мне.

— Но ведь вы и на самом деле пересекали горы?

— Одновременно совершая движение в душе, погружаясь всё глубже, — повторил он. — Впрочем, называй как хочешь. Наше состояние двигалось и менялось. Во взаимном соответствии. Мы перемещались по лику Земли, одновременно

погружаясь. Вершили свой путь с Той, что величественнее нас, захваченные ею, слившись в полном сочувствии с нею и друг с другом…

Но я не мог дальше следовать за ним, не в силах притворяться, что понимаю существо столь мистического опыта, лишь дружеская симпатия помогала еще хоть немного следовать за его мыслью. Похоже, он и не ожидал иного. И его сердце было неспокойно, поскольку говорил он о таких вещах, с которыми лишь немногие способны справиться, не теряя рассудка, и еще меньшее число наделено терпением выслушать.

И всё же — о! — какими запахами — леса, росы и предрассветной прохлады — заблагоухала комнатка на Греческой улице во время рассказа этого милого заблудшего Сына Земли! Ибо «глас его звучал подобно музыке, что лишал способности рассуждать здраво, отравляя разум радостным возбуждением». Изящные руки, которыми он жестикулировал, нежные чувственные губы, сияющие голубые глаза… глядя на него, я понял, чем привлекало его лицо: благородством, несмотря на неизменный поношенный серый костюм, вечно выбивающийся галстук, обтрепанные манжеты и огромные ботинки, которые он не снимал даже в Лондоне, — «полицейские ботинки», как мы

подсмеивались.

Но сколь жива была нарисованная им картина! Казалось, я сам ощущал биение пульса вечной Весны под ногами, что тщетно пытается пробиться из-под гнета лондонских мостовых, уложенных цивилизацией: радость Земли не могла показаться на свет цветами. Но всё же ему удалось донести до меня хоть долю смысла, огрубленного по дороге и, боюсь, чрезмерно упрощенного.

Пока лилась речь О'Мэлли в душном ресторанном зальчике, я отчасти сумел уловить великолепие его видения. Из-за слов местами прорывалось сияние. Мой мирок расширился. А само существо всемерно стремилось постичь то, что он рассказывал, связать воедино ускользающие фрагменты чудесных сцен, которые Теренсу были ведомы в целостности.

Возможно, его распространившееся сознание частично проникло в мое, «задев», как, согласно его словам, Земля «задела» его самого, благодаря чему мне удалось подсмотреть частицу опыта, звеневшего и излучавшего свет в его душе. Должен признать, это было живительно, хотя порой захватывало дух, а возвращение на улицы, в лондонский мир омнибусов, доставило физическую боль от нисхождения в уродливый

мир разочарования. Ибо вещи, теперь с трудом поддающиеся моему пониманию, хотя и описаны моими собственными словами, тогда представлялись совершенно или почти ясными. Обычно же они бежали бы моего понимания.

Однако я усвоил урок. В некоем духовном смысле я осознал, что все великие учения приходят в мир сходным путем — через временное расширение «сердца», способного их принять. Уступая место, обычное неглубокое «я» отодвигается в сторону, вплоть до полной потери личности. Позже сознание снова «сжимается», однако оно всё же успело расширить свои границы и продвинуться в развитии. Не это ли имеют в виду мистики, когда утверждают, что следует отказаться от личного, подавить его, прежде чем вступать в контакт с божественными сущностями?

Как бы то ни было, пока О'Мэлли говорил за чашкой стынущего кофе, в дыму сигареты, делавшем атмосферу еще более душной, слова его передавали почти величественное убеждение в реальности пережитого. И я в некоторой мере причастился к их истинности и красоте, поэтому, обнаружив записи, удивился, насколько бледно и бесстрастно они выглядели. Конечно же, отсутствовали жизненно важный ключ, лич-

ная интерпретация и напор моего ирландского друга.

XXXIII

Что такое наше упрямое вторжение
в недра Природы,
Как не наука первых шажков ребенка,
когда наказания нет?
Пар у колес клубится, и мчат наши кони
белой породы,
Но пращуров силу – лишь тронуть за гриву
их черных коней – мы превзошли иль нет?[56]

Элизабет Браунинг

«Русский» шел впереди, прокладывая путь.

О'Мэлли называл его так за неимением более подходящего имени, которое отражало бы единство внутреннего и внешнего. Хотя заметных троп в горах видно не было, «русский», казалось,

---

[56] Примечания: 56
Перевод Н. А. Балашовой.

всегда знал, куда идти. Безошибочное чувство направления двигало им, вернее, вся Земля стала тропой, по которой им надо было идти. Обнимая их, Земля не таила никаких секретов от их сердец: места, где били холодные прозрачные родники, виделись так же ясно, как и те, где дикие пчелы наполняли соты медом. И представлялось совершенно естественным, что пчелы их не жалили, делясь своим сбором, а свирепые псы в редких аулах, через которые они проходили, вовсе не лаяли. Даже крестьяне делили с ними незатейливую простоту и вместе с тем величие жизни.

Время от времени они миновали словно выраставших из этих гор всадников-осетин с ружьями поперек седел и в длинных бурках, прикрывавших бока лошади, даже не обмениваясь приветствиями. Те проезжали совсем рядом, но, похоже, не замечали путников. Пару раз их лошади вставали на дыбы и ржали, а всадники осеняли себя охранными знамениями своей религии… Скорее всего, они стояли на часах. Незнание нужного пароля могло послужить поводом для захвата. В здешней глуши безоружного путешественника вполне могла постичь гибель. Однако счастливому ирландцу в голову не шли мысли об опасности. Всё вокруг было частью его самого,

а нам ведь не приходит в голову страшиться собственных рук и ног. Сопровождающим выступала безграничная невидимая защита самой Земли. Столь мощный оберег не под силу пробить никому. Всех прочих, вооружись они хоть до зубов, наверняка бы завернули назад, а окажи они сопротивление, о них, скорее всего, никто больше бы никогда не услышал и некому было бы продолжать эту историю. О докторе Штале и том торговце мехами, к примеру…

Но подобные беспокойные мысли уже не касались реальности и, бессильные укорениться, уносились прочь — неистинные, фальшивые частицы непроявленного мира, лишенного глубины.

И в той же мере, в какой ему удавалось сосредоточиться на внешнем и физическом, те края, где он теперь перемещался, тускнели: Теренс начинал спотыкаться, деревья и цветы теряли четкость, птичий щебет и посвист ветра делались почти не слышны, солнце едва грело и — что хуже всего — провожатый оставлял его, уменьшаясь в размере и пропадая то ли впереди, то ли позади среди теней.

Всё вывернулось наизнанку: то, что обычно считают твердым, прочным и реальным,

теперь виделось лишь тенью существования, преходящей, не способной утолить желания, фальшивой.

Притворность всю жизнь подавляла его. Теперь стало ясно почему. До чего же сбились с пути те, что тратят все силы на приобретательство. Просто удивительно. Он больше не мог взять в толк, как разумные существа могут ввергать себя в такую лихорадочную погоню за призраками: торговец мехами, туристы, лондонские друзья, огромное большинство знакомых обоего пола — у всех сквозила усталость в глазах, напряжение в лицах, боль в сердце от беспрестанной гонки за мизерными удовольствиями, почитавшимися ими за радость. Дикая бессмысленная игра, затеянная безумцами. Теперь даже трудно было представить всех их действительно живущими. Как ясно видна тщетность их попыток ухватить тенями своих рук еще более бесплотные вещи в стремительной круговерти искусственных желаний, в то время как совсем рядом сияло живое солнце Мира, Красоты и Реальности. Если бы они только могли обернуть свой взгляд вовнутрь!

Временами убогие картины мира теней всё еще являлись перед его взором — кошмар, оставленный позади. Эти картины возникали невеселым

воспоминанием в уголке сознания, которому не удалось до конца от них освободиться. И одновременно в душе разгоралось желание поделиться с другими тем, что узнал… Там и сям виднелись те, кто наполовину оборотился, ощутил на себе вспышку света, но, будто испугавшись, постепенно вернулся в знакомую темноту. Помешали ложные образы, вызванные интеллектом. Среди них был и Шталь, пытавшийся идти на ощупь с мерцающим светом стремления к истине в глазах; выставив вперед руку, он желал отогнать тени, но вместо этого собирал их гуще. Теренс видел миллионы людей, еще юных сердцем, кто работал не покладая рук в похожих на капканы клетушках совсем не для того, чтобы обрести навыки и опыт, а чтобы накопить побольше золота на вещи, в которых особо не нуждались; одержимые алчностью лица за игорными столами; безумие бирж; прекрасных женщин, что просиживали чарующие летние вечера за игрой в бридж, — повсюду жадность, похоть, алчность, стремление к накопительству толкали сердца к вырождению, закупоривали пути к простоте… Он слышал песнь демона Цивилизации над городами мира, полную ужаса и безнадежности. Эта музыка разрушения потрясала народы. Он видел

— под нее танцуют миллионы. И в уродливом грохоте лишь немногие могли различить мелодию, что Земля играла на свирели Пана, певучий зов Природы к более простой жизни — той, что Внутри.

Ибо теперь, становясь всё ближе Земле, глубже и глубже проникая в настрой ее обволакивающего коллективного сознания, он приближался и к той реальности, которая приносит удовлетворение. К тому центру, где меньше деятельности, направленной вовне, но несравненно больше жизненной силы, ибо он пребывает в покое. Там он встречал всё как бы на полпути во внешний, физический мир, где позже оно проявлялось «событиями», но пока не полностью вычлененным, полным жизни и нерастраченных возможностей. О'Мэлли понял, что современность вступала с ними в контакт лучше, когда они показывались на внешнем краю жизни в виде якобы полного воплощения, на деле будучи лишь частичным и символическим выражением вечных прототипов. И современные люди не проникали глубже этой периферии, утратив связь с центром, безумно поглощенные несущественными деталями, скрывающими подлинное значение. Вполне в духе века путать оболочку с сутью. Наконец

он понял причину своего одиночества посреди глупой суматохи, отчего он не доверял Цивилизации и держался в стороне. Все неутоленные стремления разъяснились. Сердцем он всегда жил в Золотом Веке юности Земли и наконец возвращался домой.

Словно оседающая в воде муть, постепенно опускались на дно повседневные приметы внешней жизни. Он очищался внутри, сливаясь с простым величием, красотой и прелестью юного мира. И, постепенно затопляя подземные проходы и подвалы, эти скрытые соты основ личности, подобно приливу прибывали силы. Заполняя камеру за камерой, растворяя стены и перекрытия, неуклонно изъедая перегородки, они безмолвно поднимались всё выше, позволяя всем настроениям и разногласиям частей личности примириться друг с другом и сплавиться воедино, делая понятнее себе самому и позволяя понять Землю как Мать. Увидев себя цельным, он осознал свою божественность. Всё существо прониклось смятением, будто радостно вспомнив нечто давно забытое. Он вернулся в более просторное время, туда, где месяц пролетал как мгновение, а тысяча лет протекала единым днем…

И свойства всей Земли заключались в нем без труда. Древняя легенда о человеке как микрокосме, вмещающем в себя макрокосм Земли, когда Природа выступает символом и истолкованием его внутреннего состояния, теперь сделалась понятной. Он впитал силу и благородство деревьев, силу ветра, в не знающих усталости ногах бежали неутомимые быстротекучие реки, а мысли украшали собой прелесть цветов, волнистая мягкость трав, безмятежность степей и открытого неба. Прамир говорил в крови, а сердце восхищалось золотым цветением Весны.

И как могла возникнуть речь, когда они жили общей жизнью? Сопричастность между ним и его другом, провожатым, была столь глубокой и полной, что не нуждалась в символах для частичной передачи смысла, называемых языком. Всё было им открыто: пение птиц, голоса ветра, журчание воды, даже жужжание мириад насекомых вкупе с шуршанием листьев и трав; и вернее, полнее и лучше выразить чувства вряд ли получилось бы. Страсть жаворонков зажигала всё небо мелодией, а сумерки чарующе пели трелями, сладостнее соловьиных.

Теперь он очень живо почувствовал, почему другу так сложно давалась речь на пароходе.

Подобно течению в океане, он еще сохранял индивидуальность, познав свободу безграничности. Тем временем прилив неостановим. В сопровождении своего уникального товарища приблизился он к пониманию, что оба они — Думы древнего сознания Земли, слишком далекого, полного жизненных сил и первобытного, чтобы вместиться в любое «физическое» выражение «цивилизованного» современного мира… Земля сияла, и пела, погружая в ритм биения своего гигантского сердца. Ее сияние передавалась им. И, счастливые, в мире и покое парили они в жарком лете внутренней жизни… эманациями Земли…

Лежащие глубоко внизу долины заполнял туман, буквально отрезающий от мира людей, а красота горных вершин завораживала. Размеры и расстояния были огромны, но кристальная чистота воздуха меняла перспективу, приближая далекое, делая сами понятия «далекое» и «близкое» относительными. При выборе иной точки зрения смещался и вид — по своему усмотрению они могли выбирать любой. Он также был внутри, а не снаружи. Стремительно переносились они повсюду, растворенные в свете, воздухе и оттенках цвета, в россыпи цветов, трав, лесов, куполе неба. Пространство есть форма мысли. Но

они более не «думали», они ощущали… О, что за чистые, колоссальные и простые Чувства Земли! Любовь, что освобождает и удовлетворяет! Сила, что наполняет и осеняет! Магнетическое притяжение, убивающее микроб одиночества и придающее целостность! Исцеление мира!

Несколько дней и ночей — или то были годы или минуты? — обходили они склоны и башни огромной Дыхтау, а царственный, одиноко возвышающийся Эльбрус величественно их манил. Снежные вершины Коштантау проплыли мимо и сквозь них одновременно, прогрохотал Казбек[57], и еще множество менее знаменитых гор пело на рассвете и ночью перешептывалось со звездами. И годами не утихавший душевный голод утих, как ни удивительно.

— Дружище, если бы ты только мог оказаться там со мной… — донесся до меня его голос, вырвав из прекрасной грезы и вернув в душный зал ресторана, о котором я совсем позабыл. Это взывала его душа.

---

[57] Примечания: 57

Дыхтау или Дых-тау (Дыштау) — гора на Кавказе, в Кабардино-Балкарии. Высота 5203 м, то есть по высоте уступает на Кавказе только Эльбрусу. Коштантау — вершина Бокового хребта Большого Кавказа, 5151 м. Казбек — самый восточный пятитысячник Кавказа, расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии. Высота 5033 м.

— Я сейчас с тобой, — пробормотал я, ощущая вздымающуюся радость. — Это уже что-то…

В ответ он вздохнул:

— Возможно, действительно что-то. Но во мне это всегда жило и по-прежнему никуда не ушло. О, о! Если бы только удалось открыть это миру и тем облегчить боль человечества!

Голос его задрожал, на глазах показались слезы сострадания удивительной силы. А я почувствовал, как попадаю в пределы универсального существа.

— Вероятно, — удалось, заикаясь, сказать, — когда-нибудь всё же удастся…

Он покачал головой. Печаль отразилась во взгляде.

— Как станут они слушать, если не способны понять? Их энергии направлены вовне, они сами по себе и молятся на это. А в моих словах «нет прибытка»…

XXXIV

О, чье сердце не охватывает радость, когда тайная Жизнь Природы открывается душе во всем изобилии… когда мощное чувство, для которого в языке нет иного слова, чем Любовь, растекается по жилам, подобно всепроникающему аромату; когда, дрожа от сладостного ужаса, утопаешь в пленительных объятиях Природы; когда мелкая индивидуальность теряется в необоримых волнах страсти и ничего не остается, кроме центральной точки неизмеримой порождающей Силы, океанского водоворота, который затягивает всё без остатка?

Новалис. «Ученики в Саисе»

После полудня путники миновали зону лесов и поднялись на более открытые места, где горные склоны украшали рододендроны. Они стояли тут и там, купами, порой до двадцати пяти футов высотой, расцвеченные розовыми, пурпурными и сиреневыми огоньками. Когда ветер шевелил ветви, доносилось шуршание жестких листьев

и казалось, что шкура гор дрожит и роняет цветные огни. И воздух блистал переливчатыми оттенками.

Продолжая подъем, шли они по широким лугам между рододендронов. Теперь, по словам О'Мэлли, внутренние перемены, сопровождавшие продвижение во внешнем мире, происходили быстрее. Причем взаимодействие протекало на столь тонком внутреннем уровне, что сам пейзаж обрел черты охвативших их чувств. И они шли, подобно «эманациям» пейзажа. При слиянии все разделительные линии исчезли.

Их союз с Землей приближался к странному и сладостному завершению.

И хотя на такой высоте не попадалось больше ни птиц, ни зверей, нарастало ощущение, что в тени древних низкорослых кустиков кроется еще более древняя жизнь. И не показывается пока лишь потому, что они еще не достигли плана существования, полного биений этой жизни, но она обступала со всех сторон, необычайно мощная, величественная и простая одновременно, порой проносясь совсем близко, чтобы вовлечь в свой круг. Не раз, пока они двигались по лугам и полянам, ирландец испытывал приливы пьянящей радости, задетый порывом пронесшихся непо-

далеку существ. Совсем рядом жизнь скользила перед его глазами, но пока незримо. Шагала бок о бок, спереди и сзади, глядела с высоты и омывала могучими потоками. Призыв тянул к себе душу, подстегивал идущие внутри перемены. О'Мэлли описывает эту жизнь как огромную и полную восторга, вызывающую ужас восхищения, но не тревогу.

Вот-вот — и он узрит. За следующим поворотом, новой купой деревьев откроется, из-за массы пурпурных цветов, таинственно трепещущих на ветру, проглянет полузакрытый лик, что приглашал присоединиться! Ему виделись божественные фигуры, высокие, величественные, неодолимо притягательные, заряженные древней чудесной жизнью, что не может прерваться. Но всё еще на периферии. Зрение силилось проникнуть взором дальше. Сознание расширялось всё сильнее, чтобы включить их в свою сферу, а Они подступали всё ближе, чтобы передать ему мысль — его приняли в круг.

Порождения древнего сознания Земли собирались вокруг них всё гуще, вечные в своей красоте. Вскоре ему доведется увидеть и те формы, в которые они были спроецированы — дорогие частицы потока ее жизни, угаданные и боготворимые

древними народами, никогда не исчезавшие окончательно. Поклонением можно их призвать. Достанет и одного-единственного почитателя. Ибо поклонение означало обращение сердцем, где они по-прежнему существовали. А он любил и поклонялся всю свою жизнь.

И всегда неподалеку, то чуть ближе, то дальше, его провожатый шел упругим шагом, почти танцуя, напевая знакомую древнюю песнь ветра, излучая еще большую радость, чем он сам.

Величие Прамира обступало его. Всё ближе подходили они к Вратам древнего изначального Сада, чьи границы обнимали весь мир. Ибо этот потерянный Рай Золотого Века, когда «Бог воссиял над хаосом», по-прежнему светился в душе, как в дни невинности до «Грехопадения», когда люди впервые отсоединились от великой Матери…

Незадолго перед рассветом они остановились. Поднявшись примерно на сотню ярдов выше границы рододендронов, откуда на мили, до вечных снегов, расстилались лишь поросшие невысокой травкой луга, усыпанные серыми валунами, они стали ждать. На фоне неба среди прочих вершин, но выше них мрачно вздымалась пирамида Казбека, пугающе близко, хотя на самом деле до нее было еще далеко. У их ног раскинулась долина,

откуда они поднялись. Не в силах достичь ее дна, закатные косые лучи солнца золотили склоны. А с обращенных к востоку вершин наползали уже мягкие полчища теней.

И из этих теней Ночь, быстро опускающаяся на мир, воздвигала серебристую стену до небес. Двое путников легли у ее основания. За ней простирался сияющий Сад, от которого отделял теперь лишь барьер, сотканный из теней.

С восходом Луны он чудесным образом смягчился, впустив лучи звездного света. Он задрожал, словно музыкальная фраза, на ночном ветру. И осел, вибрируя, на землю, а прямо над ними показался проем, словно залитый тьмой, меж двух статных башен, чьи очертания окаймляли звезды.

— Врата! — пронесся шепот над горами.

Возможно, то был голос провожатого или же пронесшаяся в голове ирландца мысль, а может, то шелестели листья рододендронов в долине. Но слово как-то просочилось сквозь тени. О'Мэлли знал — так и есть. Он последовал за провожатым еще выше. Потом они легли на землю прямо под неподвластным времени порталом и стали ждать. Вокруг сиял серебром ночной мир, окрашенный луною. Ветер стих и тоже наблюдал.

Прислушивался и Казбек из облачной дали.

И вот к небу потянулась мелодия свирели — запел тростник. Приблизившись, она запнулась, будто флейтист разглядывал их, а затем скачком перенеслась через звездный простор к темнеющим вдали очертаниям гор. Затерянная среди них азиатская долина укрыла путников. Они уснули. И во сне пересекли границы осуществления желаний.

Выбеленные Луной Врата из Рога и Слоновой Кости раскрылись. Сознание Земли обняло их. И они вступили в его пределы.

XXXV

Ведь владыка Солнце когда-то
Сосватал Землю в невесты.
В огне непорочном Весты,
Хранящую девственность свя-
то.
Молчалива была Земля и скром-
на,
Но сдалась под напором любви;
В звездном браке том родила
она
Детей, что пьют из ее груди.

И отцовская гордость собой,
И материнский труд
С тех пор в веках живут,
Спеленутые нашей судьбой.
Мы дети величия, и огня,
И содроганий, и слез.
Из божественной пыли вышли,
любя,

И изгнаны были со звезд.

О, пресветлый владыка небес!

Все мы вышли из чрева Земли,

О Солнце, мы вышли из чресл твоих,

Пролились с первым семенем здесь.

Да примет Отче наш низкий земной

поклон…

Не дано нам услышать глас,

Того, что старше и выше Его, пусть

даже Он

Выше и старше нас…

Уильям Уотсон. «Майская ода»[58]

Медленно подступил рассвет. Небо зарозовело, затрепетало, зажглось. Вздох ветра всколыхнул испарения, закрывшие далеко внизу поверхность Черного моря. Но вокруг еще стояли те утрен-

---

[58] Примечания: 58

Уильям Уотсон (1868–1935) — английский поэт-традиционалист. «Майская ода» *(Ode in May)* входит в сборник 1902 г. «Новые стихи» *(New Poems). Перевод Н. А. Балашовой.*

ние сумерки, приглушающие все цвета, когда О'Мэлли очнулся ото сна и понял, что его широко открытые глаза смотрят на рододендроны. Возможно, он и спал, но обычно во сне не теряют сознание, поэтому в записях ирландец обозначил этот период как «выпадение перехода», что бы это ни значило.

И вдруг заросли рододендронов в сотне футов ниже по склону задвигались. В неярком свете видно было, как движение передавалось от одной купы к другой, повсюду. Его сопровождал странный негромкий звук, вызвавший в памяти библейскую фразу о шуме «как бы по вершинам тутовых дерев»[59]. Приглушенный, невнятный, переменчивый, он разносился повсюду, за спиной тоже. Оглянувшись, он увидел новые группы выше по склону, которых вчера не заметил. Они также перемещались, сливаясь вместе и соединяясь с массой внизу, или же поднимались еще выше, исчезая из виду.

Рывком поднялся ветер и затрепал миллионы жестких листочков. Вслед за этим возник иной звук — топота копыт, сотрясающих землю. Его охватило смятение на мгновенно ожившем гор-

---

[59] Примечания: 59
2Цар. 5:24. С таким шумом появляется Господь.

ном склоне, который будто встряхнулся и встал на дыбы.

Вначале ему показалось, что ветер вырвал рододендроны с корнем и с грохотом разбрасывает по склонам. Но скачущие группы проносились слишком быстро, нигде не задерживаясь, а к топоту добавились крики и громкие голоса. Они напомнили тот призыв, что долетел некогда до его ушей в Эгейском море. Странный резкий запах, тоже напомнивший уже слышанный, почуялся кругом.

И тут он понял, что всё это время наблюдал вовсе не рододендроны, а великолепных скачущих существ. Целый сонм их, всех размеров, вырисовывался в отдалении: переступая и потряхивая гривами на утреннем ветру, все вместе они устрашали, но поодиночке являли благородство.

С востока распространялся свет. Охваченный восторгом и удивлением, затаив дыхание, О'Мэлли смотрел во все глаза. Золотисто-бронзовый отлив их великолепных тел слепил его. Тысяча бархатистых боков вздымалась при дыхании, местами виднелась женственная белизна, словно пена на гребне мощной волны: силуэты несравнимой грации и силы, с царственной осанкой; перекатывающиеся мышцы крепких рук и ног;

очертания плеч, изысканно сочетающих непокорную силу и мягкость. Он услыхал гомон их голосов на рассвете, настоенных за протекшие века, гулких, подобно морскому прибою. Из его груди навстречу вырвался певучий крик. Тут они снялись с места. Поразительный порыв. И унеслись галопом.

Рев их скачки пролетел по горам, затихая в отдалении. Рододендроны, скрывавшие их до поры до времени, приняли обычный облик и теперь один за другим зажигали огоньки бесчисленных цветов навстречу солнцу. А О'Мэлли понял, что во время «сна» прошел вместе со своим провожатым через Врата из Слоновой кости и Рога и теперь стоял в Саду юности Земли. Миновав все границы, все барьеры, он достиг райского сада своих глубинных желаний. Сознание Земли приняло его. И теперь он видел ранние формы жизни, порожденные ею, — живых прототипов легенд, мифов и сказаний, воплощение первых проявлений ее сознания, вечных, доступных восприятию любого истинно поклоняющегося. Он всю жизнь обожал и обожествлял Природу. И теперь, слившись с обожаемым Существом, он ощущал мысли Земли, ее силы и проявления жизни как свои собственные.

Всё это пронеслось в душе ирландца, но раздумывать было некогда. Спутник его претерпевал поразительное преображение. Наконец всякое прикрытие отброшено. Родичи призвали его. Он всем существом устремился навстречу.

Собственно, преображались они оба, но вначале ирландец заметил перемены только в провожатом.

Стоило лучу солнца коснуться его, как это Космическое Существо прижалось к земле и тут же пружинисто поднялось и поскакало уже не на двух, как человек, а на четырех сильных ногах. Бока вздымались, мощные плечи перешли в удлинившуюся спину, из груди вырвался рев, такой же, что недавно лишь стих в горах. Откинув голову и выставив грудь вперед, он застыл, величественно вырисовываясь на фоне неба, выдыхая порывы ветра. Огромные карие глаза сияли от восторга обретенной свободы, царственное преображение завершилось.

Повинуясь дерзкому порыву возбуждения, ирландец вдруг выкрикнул слово, пришедшее на ум, не успев даже задуматься о его значении:

— Лапифы! — крикнул он. — Лапифы![60]

Могучая фигура ринулась на него, грозя затоптать. На мгновение карие глаза воинственно загорелись. Но в следующий миг, рыкнув снова и махнув рукой, он поднялся на дыбы, забив копытами воздух. Обретшее свободу существо Прамира, чуть пригнувшись, совершило огромный скачок — и понеслось вниз по склону легким галопом, вдогонку сородичам. Он унесся прочь. Подобно силуэту из ветра и облаков. Память рода хранила многое, и некоторые слова вызывали живой и непосредственный отклик. Та древняя битва с лапифами была одной из множества картин, хранившихся в памяти Матери-Земли. Стоило ему выкрикнуть это слово, как О'Мэлли и сам моментально ощутил себя вовлеченным в водоворот утраченной памяти. Пустынный мир вокруг населился — и небо, и леса, и реки.

Проводив взглядом стремительно удаляющегося спутника, стук копыт которого уже влился

---

[60] Примечания: 60

Лапифы (*греч.* Λαπίθαι) — полумифическое-полуисторическое племя. Жили в северной части Фессалии, а также на Пелионе, в окрестностях Олимпа и т. д. В преданиях о лапифах тесно переплетаются мифические и исторические сведения.

Родственны кентаврам (Лапиф и Кентавр — родные братья). Лапифы отличаются диким, воинственным и независимым характером, который проявился во время их сражения с кентаврами, приглашенными на свадьбу Пирифоя с Гипподамией, где кентавры были побеждены.

в общий топот, О'Мэлли перевел взгляд на себя. Удивление мешалось со счастьем — его тело также менялось, как видно. Собственно, преображение завершилось. Солнце ласкало вытянувшееся тело. Руки и ноги налились силой, корпус возвышался над землей по-иному, воздух, обычно тонким ручейком вливавшийся в легкие, теперь тек широкой рекой и вырывался наружу ветром, грудь расширилась, блестящие на солнце бока, покрытые росой, словно отталкивали землю назад на бегу.

А бежал он лишь отчасти по-человечески: прямой корпус выбрасывался вперед, но приземлялся он на четыре ноги. Потрясая руками, он словно летел, ничем не сдерживаемый, по поверхности одновременно и тела и сознания Земли. Полностью свободный.

И пока он нагонял остальных, в памяти всплыла слабая картинка, как бывает, когда вспоминаешь нечто доставившее боль: как странно мальчик плыл в море, как развевались тени-эманации вокруг его отца на палубе и, наконец, как летели те фигуры из ветра и облаков, столь часто возникавшие перед внутренним взором, по длинным голым холмам. То были последние воспоминания о внешнем мире.

Он несся по горам на рассвете, ясно осознав, откуда бралась та скорость передвижения, которая удивляла его на пароходе в русском великане и мальчике. Ветер свистел вокруг, и сам он летел подобно ветру. Далеко впереди виднелись следы рассеявшегося по долине словно туман сонма сородичей. И доносился отзвук их рева, но теперь раздавался стук только его копыт. Вокруг простирались всё новые и новые виды, вбирая его в себя.

Едва он снялся с места, как там послышались звуки музыки, простая мелодия тростниковой дудочки. Она опустилась с небес, или донеслась с опушки леса, или же рассвет принес ее с собой — древнюю мелодию флейты, что люди называют свирелью Пана…

XXXVI

Лишь в силу войдем – угасаем
Средь кранов, цепей, рычагов,
От веретен круженья
Ум тронуться готов.
Богатством и почетом
Увлечены,
Но по большому счету
Мы в Вечности равны;

А древний мир чудесным
Казался нам тогда,
Таким кристально честным,
Беспечным, как года,
Что в спорах пролетели…
Всё ж старый добрый Пан
Играет на свирели
Девицам и парням.
И пусть напев тех трелей
И смутен, и далек,
Пойдем! Давай смелее,

Посвищем с ним чуток.

***У. Э. Хенли*[61]**

Через подробное описание, лучившееся прелестью давно позабытой красоты и неизбежно местами туманное, ирландцу удалось передать в том неприметном ресторанчике в Сохо страстную силу своего видения. Рассказ лился из его уст живо и убежденно, без всяких заминок. Подобно человеку, впавшему в транс, во время рассказа он вновь переживал те события. Ничто не отвлекало нас. Поистине, нет в Лондоне более спокойного и уединенного места, чем малые залы ресторанчиков во Французском квартале между обедом и ужином. Официанты и распорядители куда-то пропадают, посетители не показываются. И я совершенно определенно понимал, что опаляющее великолепие видения вызывали не слова рассказа, а полнота его переноса в мое восприятие. Мысли друга воспламеняли. Жар чувств зажег костер в моем сердце. Слова, как в устном, так и в письменном варианте, лишь досадно приглуша-

---

[61] Примечания: 61

Уильям Хенли (1849–1903) — английский поэт, драматург и довольно влиятельный редактор. В число авторов, в издании произведений которых он участвовал, были Роберт Стивенсон, Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс. Похоронен в соборе Св. Павла в Лондоне, на могиле установлен бюст работы Родена. *Перевод Н. А. Балашовой.*

ли воздействие.

Полнота же переноса подтверждается тем фактом, что у меня ни разу не возникло желания что-либо уточнить. Я видел и понимал всё ровно так же, как и он. Видимо, миновал не один час с начала этого примечательного рассказа, поскольку под конец появились другие посетители, которые начали занимать столики, зажегся свет, мрачные официанты подсунули нам меню и принялись демонстративно раскладывать приборы и расставлять тарелки, накрывая на столы.

Но, клянусь, не знаю, как передать суть, ничего не потеряв. Да и О'Мэлли, похоже, не в состоянии был сохранить всю непосредственность на бумаге. Найденные в брезентовой сумке блокноты не делали чести здравости ума, как, впрочем, и перу моего друга.

Вначале все воспоминания о прошлой жизни словно отлетели прочь без следа, отчего он утратил почву для сравнения. Состояние, в котором он находился, было слишком совершенным, дабы допускать анализ. Мерка критических суждений ограничивала бы, ставила рамки, преуменьшала, в то время как он был свободен. И вырвался из тисков прежней жизни полностью. Ни единого фрагмента из тридцати лет прошлой жизни не

прорвалось сюда. Поглощение оказалось полным.

— Я действительно считаю, — говорил он, сидя напротив меня за накрытым несвежей скатертью столом, — что тогда был слит с иным существом, невыразимо величественнее меня. Возможно, Шталь был прав, вслед за старым безумцем Фехнером, и оно впрямь было выражением сознания Земли. Со своей стороны могу лишь уверить, что всё прочее оказалось вытеснено из памяти; всё, известное мне прежде, начисто стерто. Но почти ничего из занявшего место воспоминаний я описать не в силах по довольно странной причине. Рассказу препятствует не масштаб или величие, а возвышенная крайняя простота. Мне неизвестен ни один современный язык, достаточно несложный, чтобы передать эту простоту. Ее суть заключена вне оболочки слов и поддается описанию не больше, чем сновидения, религиозный экстаз, она столь же трудноуловима, как тайна Кубла-Хана[62] или видение Св. Иоанна

[62] Примечания: 62

«Кубла Хан, или Видение во сне» (*Kubla Khan; or, A Vision in a Dream,* 1798) — поэма Сэмюэля Кольриджа. Из текста, явившегося автору во сне, он смог записать лишь несколько строф.

на Патмосе[63]. Поэтому я убежден, что словами передать всё полностью не удастся. Однако тогда то, что я переживал, вовсе не представлялось видением, — продолжал О'Мэлли, — столь естественным, неизученным и вечносущим всё выглядело. И вместе с тем совершенно непосредственным и безыскусным, как капля росы или первая игрушка младенца. Природное вечно и неизменно. Господи! Как же божественно всё было кругом!

И при этом он столь яростно обвел рукой вокруг, что этот жест куда выразительнее слов подчеркнул контраст той горной страны с помещением, где мы сидели, — тесные стены, крошечные окна, стулья, на которых тело не отдыхало, нависший над головой потолок, двери, сквозь которые едва можно протиснуться, настланные полы — повсюду искусственные барьеры, отсекающие свет и отсоединяющие нас от Земли. «Посмотри, во

---

[63] Примечания: 63

Во время пребывания своего в Эфесе Иоанн Богослов должен был по повелению императора Домициана (годы царствования: 81–96) отправиться на жительство на о. Патмос.

Здесь ему были открыты в таинственных видениях будущие судьбы Церкви Христовой, которые он и изобразил в своем «Откровении» (по-гречески «Апокалипсис»). Еще влиятельнее оказалось само слово, без перевода вошедшее в бесчисленные языки как метафора, обозначающая конец света, языковой знак событий ужасных, но величественных настолько, что восхищение их величием пересиливает ими же рожденный страх.

что мы превратились!» — говорил его жест. Он включал в общий образ и его одежду, ботинки, чудную шляпу на крючке, неприглядный зонтик в пыльном углу. Если бы я был способен смеяться, то непременно бы расхохотался.

И пока он скакал, стряхивая росу и дыша ветром, по прекрасной гористой Земле, наблюдая, как рассвет поцелуями пробуждает долины и леса, О'Мэлли понял, что находится среди себе подобных форм жизни, безостановочно перемещавшихся.

— Там все были такими же частицами Земли, как и я. Повсюду среди несравненной древней красоты, сильной, как холмы Земли, быстрой, как ее текучие потоки, сияющей, как ее цветы, бесчисленные проекции ее существа. Как назвать их — мыслями, чувствами или же Силами, — право, не знаю. Сознание Земли, сквозь которое я несся, счастливо затерявшись в нем, обнимало нас всех, подобно тому, как настроение складывается из мыслей и чувств. Ведь она была сознающим Существом. А я пребывал в ее сознании, настрое — зови как хочешь. Прочие мысли и сущности, ощущавшиеся мною, служили тем материалом, заготовками, возможно, Силами, которые, попав в умы людей, должны принимать обличье,

форму, чтобы их признали, Грез, Богов или иного вида вдохновения. Точнее сказать не могу… Я ощущал себя ребенком внутри Земли и чувствовал вечную тягу к простоте.

Так красота юности мира сопровождала его, и все позабытые боги проявились. Они витали повсюду, огромные и величественные. Скалы, деревья и горные вершины, наполовину скрывавшие их, в то же время выдавали следы их размашистых жестов. Теперь же они оказались совсем поблизости, Теренс двигался в их владения. Если не удавалось сосредоточить на них взгляд, дело было не в них, а в нем. Он никогда не сомневался, что их можно увидеть. Даже теперь, проявившиеся лишь частично, они поражали. Их присутствие не вызывало сомнений. В конце концов, зрение — всего лишь неполный вид знания, оставленный им где-то позади. Оно вместе с другими ослабленными каналами чувств было связано с некой совершенно забытой жизнью. Теперь он знал всем своим существом. И сам был этими богами.

— Я — дома! — казалось, кричал он, несясь по солнечным склонам. — Наконец-то я отыскал свой дом! Дома! — И только камни летели из-под ног.

Небеса наполнил рев ветра необоримой силы, а вдали замерло, чтобы услышать его, разлетевшееся эхо топота копыт.

— Мы призвали тебя! Иди…

И фигуры медленно спустились вниз со своих горных пьедесталов; леса вздохнули, бегущие ручьи запели, по травам и цветам на горных склонах пробежал трепет. Ибо в пределы храма ступил паломник из внешнего мира мертвых. Он миновал Ангела с огненным мечом, поставленного здесь в незапамятные времена самими мертвыми. Теперь его обступал сад. Он отыскал сердце Земли, своей Матери. Достиг самореализации в совершенном союзе с Природой. Познал Великое Примирение…

Рассветная тишина всё еще лежала над миром, блестела роса, воздух был свеж. Несмотря на переполняющие его энергию и восторг, О'Мэлли ни в коей мере не испытывал более понукающего возбуждения. Воодушевление и восторг — да, но жажда любых чувств и ощущений совершенно исчезла. Мучающее людей во внешнем мире возбуждение оставлено позади, оно не могло волновать в этом расширенном состоянии духа, ибо возбуждение есть стремление к обладанию тем, что не находится во власти, а оттого искусствен-

но раздувается, пока не обретет характер недуга. Теперь же всё, что было ему потребно, заключалось в нем, и в буквальном смысле горячка, что зовется наслажденьем, не способна была теперь охватить его.

Если то была смерть — как изысканно!

Время там не проходило, а, по его словам, разливалось вокруг, подобно океану, вздымаясь местами выше. Словно приглашая взять, сколько нужно. И пожелай он, то утро могло бы длиться вечно; можно было отправиться назад, вкусить ночных теней, или вперед, понежиться под полуденным солнцем. Ничто не было разъято, и посему не испытывалось ни беспокойства, ни незавершенности, ни раздора.

Безмятежность утра покоилась в нем, а поскольку пришлась ему по душе, прохладная, сладостная и сверкающая, она могла там оставаться годами… или — кто знает? — вечно…

Хотя воспринятый внутренним «я» гигантский облик существа Прамира был нов, он тем не менее представлялся знакомым. Ни скорость, ни вес, ни мощь не тревожили его, он справлялся со всем легко. Скакать, сопровождая вечный рассвет, по миру не составляло труда и давалось так же непринужденно, как Земле вращаться в

пространстве. Столь полно было его единение с нею. А каждая черта ее существа поражала совершенством, заключившим теперь и его в свою сферу. Ни убавить, ни добавить.

И всё же, хотя все воспоминания о прежнем существовании начисто исчезли, он начал вспоминать — людей! Безотносительно к себе в его памяти всё же сохранились картины внешнего мира как юдоли борьбы и страданий. Так вспоминают болезнь, от которой выздоровели: тени лихорадочных кошмаров, испуг от которых уже потускнел. Города и толпы на улицах, бедность, болезни, боль и всяческие ужасы Цивилизации, не способные более задеть его, всё же витали в сознании.

Но способность разбираться в ее хитросплетениях пропала, не осталось и сочувствия; столь полно было его единение с Землей, что в душе возникло слабое удивление при воспоминании о безумной людской жажде обладания внешними формами вещей. Она вызывала недоумение. Как могли люди направлять на ее удовлетворение столько сил, не видя тщетности усилий?

Если бы та внешняя жизнь была настоящей, как разумные существа могли видеть смысл в подобном существовании? Как у думающего че-

ловека хватало совести с достоинством идти по улице, если он верил, что жизнь такой и должна быть? Разве ради нее стоило жить? И как она могла вписаться в нечто большее? Современная жизнь развивалась в направлении, диаметрально противоположном счастью и истине.

Он познал покой, мир и поющую радость…

Играя с великим рассветом Земли, он скакал по горам сквозь ее сознание. И, конечно, холмы эти могли плясать, петь и хлопать в ладоши. Без сомнения. Как же иначе? Ведь они являлись выражением ее настроений, становящихся его мыслями, — фаз ее щедрого, вздымающегося Сознания…

Вместе с солнечным лучом проносился он над смеющимися долинами, вместе с утренним бризом — над лесами, сиял снежными вершинами и хохотом рассыпался на перекатах кристально чистых рек. Так проявлялась его радость, то были слова его песен. Основное и центральное существо повиновалось биению пульса Земли, непередаваемо мощному.

Он читал книгу Природы, распевая ее вслух. И понял, как терпеливая Мать страдала по мириадам потерянных детей, как в страстном жаре лета хотела подарить им утешение, утолить их

стремления сладостью своих весен и мечтать по осени об их возвращении…

Невольно он читал гигантскую Страницу перед собой. Ибо «любая форма в Природе — символ идеи и являет собой знак или букву. Последовательность таких символов складывается в язык, понятный истинным детям Природы, который раскрывает характер всего. Тогда разум становится зеркалом, отражающим приметы элементов Природы и впускающим их в сознание. Сам человек — лишь мысль, наполняющая собой океан разума».

Лгут или нет спотыкающиеся, но обремененные смыслом слова из внешнего мира, теперь оставленного позади, всё же затененная ими истина восстала и обступила его… и он летел над горами ветром и облаками, нагнав наконец могучее стадо существ Прамира. О'Мэлли присоединился к ним возле реки в древней долине. А они приветили, приняли его.

Слой коллективного сознания Земли, к которому относился он, вернее, тот уголок, где он впервые ощутил себя дома, принадлежал меньшим формам древней жизни. Зная о существовании более могучих проявлений, он не мог еще ни воспринять их полноты, ни примкнуть к ним.

Тут помогала аналогия с менее объемлющим повседневным сознанием. Разве в его собственном сознании не возникали с трудом сочетаемые мысли? К примеру, мысли о развлечениях и озорстве никак не соотносились с благородными и серьезными переживаниями, хотя вполне могли уживаться в одном сердце. Очевидно, пока он затронул лишь склонный к играм краешек земного сознания, выражавшегося в меньших формах, настроенных играть и веселиться. Поэтому, хотя Теренс и отмечал присутствие чудесных, более могущественных созданий повсюду, полностью рассмотреть их не удавалось. Упорядоченные, более глубокие слои Сознания Земли, где они располагались, пока были для него недосягаемы.

Но повсюду в мире ощущалось их присутствие. Величественно текли их думы, согласуясь с неторопливостью смены времен года. Прекрасные, перекинувшись через всё небо, виднелись они на горизонте, гордые, сильные и трагичные. Ибо в отдалении от прочих, как мысли в голове поэта невыразимой мощи, трагедия одиночества была им не чужда.

Восседая на горных вершинах и хребтах, восставая над ними под облака, заполняя собой долины, растекаясь над водными потоками и лесами, в

одиночестве проводили они жизнь — их великолепие он не мог пока разделить, слишком далеки еще они были. Земля давно уже устранила их из людских сердец. Ее младшие чада более не знали их. Но в самых сокровенных тайниках сознания Земли старшие дети по-прежнему метали громы и ликовали… хотя совсем немногие способны услышать тот гром, разделить ту безмерную радость…

Даже ирландец, который и в обычной жизни испытывал то благоговение, что сродни любви и тому союзу, что приносит любовь, — даже он при недавно обретенной свободе лишь отчасти различал их присутствие. Теперь он ощущал те величественные Силы, некогда поименованные богами, но вдалеке и издали наблюдал за их приближением. Их чудные формы вырисовывались за волшебным покрывалом. Они возвышались, подобно древним башням, пришедшим в запустение, заброшенным, но всё еще маняще прекрасным, поразительно живым. И О'Мэлли казалось, что порой их всевидящий взор освещал солнечным лучом склоны, а там, где они останавливались отдохнуть, распускались цветы.

Порой они бурей проносились вблизи, и тогда всё стадо, в которое он попал, застывало на месте,

охваченное восхищением. Игра замирала, голоса приглушались, слышно было лишь сбившееся дыхание и мягкое переступание копыт по поросшему цветами взгорью. Все склоняли прекрасные головы и ждали, пока бог прошествует мимо… И сквозь него, свидетеля этой несостоявшейся встречи, прошел поток мягкой величавой силы. В душе были пробуждены самые благородные порывы — с нежностью росы и неудержимостью урагана. Не успев начаться, всё кончилось. Но шлейф царственной уверенности и радости зацепил его. Подобно тому как в горах снеговые шапки одевают самые высокие пики, обрисовывая белым весь хребет, и в его душе наивысшие чувства — стремления и надежды — воссияли до белизны и сумели распознать природу бога, что прошел неподалеку…

Держась рек, они плескались в горных потоках, играли, прыгали и скакали. Из влажных зевов пещер выходили и присоединялись к ним новые сородичи. Но ниже некоторого уровня никто не спускался: в леса они не забирались, им нравились открытые ветреные высокогорья. Поворачивали и кружились они все разом, словно по общему согласию, единой массой. Словно стая птиц, повинующихся коллективному сознанию,

в которое каждая из птиц включена, влекомая единым Птичьим Настроем, Идеей, распространившейся на всех.

И О'Мэлли повиновался этому импульсу без сомнений, хотя был волен двигаться по-своему. Делать то же, что и прочие, доставляло наибольшее удовольствие, вот и всё.

Но иногда с двоими другими — одним могучим и другим поменьше — они отделялись и совершали маленькие путешествия. Казалось, эти двое ему ближе прочих. Теренс чувствовал, что знавал их прежде. Их большие карие глаза всегда стремились встретиться с ним взглядом и неизменно светились радостью, когда это удавалось. Будто очень давно их разделили, а теперь они воссоединились. Однако определенных воспоминаний ни о плавании на пароходе, ни о происшествиях на борту не возникало. Но эти двое держались поблизости; бегали и танцевали они вместе…

Минуло время, заключавшее многие утра и ночи, множество блистающих дней. Казалось, совершенству и покою не будет конца. Мысль о том, что тут может что-либо закончиться, прерваться, даже в голову ему не приходила. Совершенству неведом конец. О'Мэлли проходил через моря и проливы великолепного бытия. Была одна стран-

ность: впоследствии он помнил лишь движение, игры и смех, но временами улавливал проблески иной, упорядоченной и текущей вперед жизни. Она скрывалась еще глубже. Теренс скользил по поверхности — что-то мешало проникнуть дальше. Хотя вне сомнения, что прохождение тех огромных божественных фигур было связано со скрытыми слоями океана сознания Земли, населенными формами жизни в системе развивающегося и упорядоченного бытия. Сознание высшего порядка вобрало его в себя, но это было отнюдь не конечной точкой путешествия, а лишь его началом.

Пока же, находясь среди менее глубоких мыслей Великой Матери, он понял — здесь исток пантеонов всех культур мира: Древней Греции, культур Востока и Северных стран. Здесь все, когда-либо хоть отчасти постигавшиеся людьми боги по-прежнему странствовали в не знающем границ времени сознании. И влекли за собой красоту…

Теперь я не в силах припомнить и половины страстного описания О'Мэлли, когда тот пытался одеть в слова воспоминания о том сияющем видении. Но и по сей день всплывают потрясающие картины: из тумана Прамира встают они, оправ-

ленные звездами, просвечивая сквозь золотистое цветущее утро. Кроме очертаний гигантских фигур, чье дыхание ощущалось повсюду, громоздящихся подобно горам, тут и там проносились видения невозможной красоты — лилейно-изящные, с глазами, мягко лучившимися в сумерках, и волосами, что струились за ними дождем луговых цветов. Словно нимфы, двигались они по всем стежкам разума юной Земли, сияющие, поющие, первоцветы Сада ее Сознания… А более энергичные и плотные формы сновали повсюду, частью переменчивые и игривые, частью в облике деревьев, воздушные, водные, другие же, темные и молчаливые, перемещались только в глубине мыслей и сновидений, и внешний мир лишь мог догадываться об их существовании.

Такая пестрая блистательная сутолока оказалась уже совершенно не под силу для моего восприятия. Понял я лишь одно: скорее всего, О'Мэлли видел не конкретные формы, а некие «силы», аспекты Души Земли, те ее грани, которые Земля в незапамятные времена являла людям. И, несомненно, его воображение, вплоть до мельчайших частичек, воспламенилось при разговоре о них. Страсть к красоте прорвалась сквозь дебри повседневного сознания и озарила

меня.

XXXVII

Лишь в те часы, когда сознание поглощено красотой, мы единственно живем, поэтому, чем больше оставаться среди подобных вещей, тем более сохранится от неизбежного времени.

***Ричард Джеффериз*[64]**

Однако из соотнесения обычного сознания и того состояния, в которое он погрузился, вытекало множество самых важных выводов. Мост, соединяющий прежнее «цивилизованное» состояние с космическим опытом, был весьма любопытен. Казалось, внешнее, менее значимое состояние ведало предвкушение чего-то более существенного. Именно оттуда проистекали сновидения Золотого Века, некогда смущавшие его.

Начали возвращаться воспоминания о внешнем мире, населенном мужчинами и женщина-

---

[64] Примечания: 64

Джон Ричард Джеффериз (1848–1887) — английский писатель-натуралист, выросший в Уилтшире, выразительно передающий очарование сельской Англии в романе «Бевис» *(Bevis,* 1882), ставшем классикой детского чтения. Страдая от туберкулеза большую часть жизни, он культивировал интенсивность переживаний, воплощенных в книге «История моего сердца» (*The Story of My Heart,* 1883), зримо передающей осознание людьми себя в природе.

ми, хотя пока косвенным образом. Да и детали, всплывавшие в голове, относились к разряду тех, что почитаются неважными. То были моменты встречи с красотой, но не грандиозной, что способны приковать множества, а простой и неброской, которая для большинства проходит вовсе незамеченной.

Теперь он понимал, отчего обуревавшее его чувство так волновало. И отчего моменты экстаза, нередко охватывавшего на природе, только усиливали неутолимую жажду, принося скорее боль, чем радость. Испытанное внизу, в стесненном внешнем мире, лишь намеком, теперь открылось в полной мере. Моменты поклонения в лесах, среди гор, на пустынном морском берегу, порой даже на улицах Лондона при виде дерева с нежно-зелеными листочками по весне или просини неба меж расступающихся туч летом — всё это были частичные прозрения Сознания Земли, к которому теперь он причастился.

Больше ничего о внешнем мире он не помнил. Ни о людях, ни о городах, ни о цивилизации…

Подобно обрывкам сна, не дающим покоя после пробуждения, некоторые проблески возвращались к нему.

К примеру, такая картинка: полуденное осен-

нее солнце освещает скошенное поле, где на стерне стоят снопы пшеницы, по краям поля колышется репейник, вверх по склону холма до горизонта тянется ярко-желтое поле горчицы, а вдали поднимается ряд вязов, шелестящих на ветру. Щемящая красота. Очень живо помнилось, как пламенела эта картина, преображая мир; его охватила дрожь, хотелось прозреть дальше, ибо за ней угадывалось в восторге поклонения потрясающее, величественное Существо — Земля, в ритме с которой он теперь двигался. В то мгновение простой прелести его сознание соприкоснулось с его — и «задело». Способный воспринимать лишь опосредованно, через зрение, обоняние и слух, он ощущал присутствие более грандиозной сущности, не умея объяснить это. Но часть постигнутого вырвалась наружу словами.

Тогда вместе с ним были двое спутников, мужчина и женщина. Ни имен, ни лиц он теперь не мог вспомнить, но перед глазами стояла недоверчивая улыбка дамы на его замечание о тонком аромате пшеничных снопов, разлитом в воздухе. Она ответила, что ему почудилось. Недоуменная улыбка на милом женском лице, замешательство в глазах мужчины, который забормотал что-то о

душе, потом птицах и быстро переключился на планы настрелять их побольше — как же, спорт! Женщина осторожно выбирала, куда ступить, будто само соприкосновение с землей могло запятнать или даже навредить ей. В особенности памятной была тишина, воцарившаяся после его слов, которыми он старался открыть им Красоту… И чувство одиночества, остро охватившее его.

Это воспоминание резануло болью; повернувшись к теперешним товарищам по играм в Саду Земли, он певуче позвал их, и они поскакали по цветущим лугам, ветру и солнцу навстречу, пока не остановились снова. Они резвились и танцевали, наслаждаясь безмерной свободой Прамира… недопонимание здесь было невозможно…

Беспокойные воспоминания стряхнулись и унеслись прочь. Но на их место заступили другие — не все с людьми, слепыми и глухими к красоте, но во всех без исключения простая сцена незатейливой красоты, когда нечто огромное вздымалось в сердце, прорывая все барьеры, отделяющие от Природы. Проблески. Почти в каждой из сцен, кроме него, других участников не было. Но все затронули душу отголоском безымянного экстаза, который теперь он познал вполне. И в каждой — сознание Земли «задевало» его снова и снова.

Без малейшего изыска, все картины на мгновение пропускали к совершенной красоте из внешнего, меньшего мира… Большая коричневая пчела заползает в венчик лугового цветка со сверкающими каплями росы… Одинокое облачко, окрашенное лучами солнца, отбрасывает лиловую тень на холмы… Густые травы колышутся на ветру, и под его порывами, кладущими стебли то одной, то другой стороной, всё поле то серебрится, то зеленеет… Уснувшая маргаритка на лужайке перед домом будто крепко сомкнула глаза и сложила ручки… Южный ветерок шепчет в лиственницах… Дробот капель дождя по молодым дубовым листочкам на рассвете… Голубые пальцы дальней дали на дремлющих лесах… Анемоны потряхивают бледными личиками-звездочками на ветру… Неподвижно застыла в сумерках колоннада соснового бора… Белизна тоненьких березок на фоне темного бархата хвои ельника… Заход нарождающейся луны в серебристые облака… Тишина под звездами тихими летними ночами… Овцы, что лениво пасутся на пригретом солнцем пригорке… Лунная дорожка на озере… Порыв ветра в обнажившихся перед зимой лесах… О, в памяти хранились чудесная прелесть и страстное очарование тысячи других

моментов!

Волна за волной накатывали эти воспоминания, когда в золотой миг откровения удавалось уловить проблеск сознания Земли, а ее величавые настроения захватывали в плен. Те моменты, когда божество проходило совсем рядом…

Только такие воспоминания о внешнем мире оставались в памяти — вспышки красоты.

Значит, так объясняется восторг красотой? А прелесть — не откровение ли Души Земли? И не есть ли ослепительный блеск, поразительное чудо и мечта, которые люди стремятся навеки запечатлеть в музыке, цвете, линиях и слове, видение ее обнажившейся сути? Там, внизу, поэтам и людям простодушным, близким Природе, удается уловить произнесенные шепотом частицы послания, словно поведанные на ушко, но здесь, возле самого сердца, Ее послание невозможно было не услышать. В великолепии наготы всех телесных проявлений — в дамах, мужах и детях, быстроногих зверях, в цветах, деревьях и текучей воде, горах и морях — он теперь видел частичные проявления великой Души Земли, что выносила их и дала им жизнь. Всё вместе и каждое по отдельности, служили они каналами передачи прелести. Красота «естественных» инстинктов,

страстная материнская и отцовская любовь — всё это Земля, которая стремится спроецировать себя в бесконечное разнообразие форм. Он понял, почему любовь расширяет сердце и помогает ощутить единство с миром…

Каким-то удивительным образом ему стало ведомо, что сюда, в этот Сад, имели доступ и другие люди из внешнего мира, любое вдохновение родом отсюда, из центрального существа Земли. Даже теперь они, подобно ему, черпали отсюда. Мысли поэтов проносились мимо язычками пламени, чаяния миллионов — бессловесные, неотчетливые, наподобие тех устремлений, что так мучили его, — струились бледным белым светом, временами сполохами устремляясь к Силуэту-великану, а затем с удвоенной силой возвращаясь назад, к сердцу мечтателя. И мириады теней — слепые поиски тех, кто не мог не искать, но даже не догадывались, чего они искали; а превыше всего длинные цветные языки поющего пламени — побуждения детей и тех, кто чист сердцем, поклониться Земле. Они безошибочно устремлялись к цели трепещущими волнами и задерживались там дольше других. Всё это были потоки великой Жизни Земли, ее настроений, мыслей и грез — выражение тех сторон ее Созна-

ния, через которые она питала и благословляла, заботясь обо всех, до кого удавалось дотянуться. Страстное стремление навстречу, поклонение делали это возможным. Оно достигало ее по самым чувствительным и нежным каналам — сети тончайших нитей, раскинутых повсюду, но ведущих к самой глубинной ее сути, бесконечно манящих…

Однако же дольше всего по возвращении в обычное, сжатое состояние менее глубокого восприятия О'Мэлли помнил те ослепительные моменты, когда мимо проходило божество, или, как он говорил, когда ему посчастливилось уловить то, какова Земля в своей наготе. Ибо это были вспышки белизны, полной такого очарования в своем блеске, что полностью останавливали мысли и чувства, принося сияние красоты и, хоть на секунду, постижение.

А там и тогда он видел не только частичные проекции. Он зрел вглубь — в пламенеющую сердцевину, породившую их. Всё оттого, что его сущность соединялась с Космическим Сознанием. По словам О'Мэлли, перед ним предстало пугающе величественное зрелище. Лучезарное его великолепие полностью захватило его. Причем потрясение, конечно, затронуло его целиком, а

не только «зрение». Послание проникло через все каналы восприятия, через каждую пору. Мощным порывом вознесло его над всеми привычными категориями. Там он достиг пределов существа еще большего величия и на миг вкусил истинную «божественность». О'Мэлли полностью погрузился в экстаз.

И в эти мимолетные мгновения, когда секунда длилась почти тысячу лет, он полнее постиг грандиозность подмостков. Земля была проявлением сознания Вселенной, а та, в свою очередь, дщерью Вселенной еще более огромной… А обнимало всё в целом не просто божество, одно из многих, а единство Бога.

XXXVIII

Теперь на моем столе лежат в беспорядке блокноты, от корки до корки полные блеска такой красоты, что едва не светятся сами. А в ушах по-прежнему звучит лихорадочный поток речи друга в том плохо освещенном зальчике, где мы сидели за столом с несвежей скатертью. Но как я ни стараюсь объединить их, внятнее рассказ не становится.

— Ступай домой, и пусть это тебе приснится, — ответил он на робкий вопрос, который я осмелился задать почти в конце нашей встречи. — Так ты лучше всё поймешь — во сне. Чтобы мой облик тебя не отвлекал. И тогда, возможно, сможешь увидеть сам.

Остается, однако, поведать о том, как он покинул тот Сад юности Земли. Об этом он повествует более доходчиво. Или, возможно, я несколько лучше понял.

Неожиданно, на пике восторга, усилилась связь, что привязывала его к «внешнему» состоянию. Из самых глубин поднялась волна жалости и сочувствия. Ему открылись страдания мил-

лионов в тюрьмах и клетках, изготавливаемых цивилизацией. Душа потянулась к ним. Он понял, что счастье невозможно, если не поведать им открывшееся ему. И это жгучее желание охватило его целиком, словно огнем.

«Если бы только удалось донести это до всех! Я бы спас мир, вернув его к простым истокам! Стоит лишь сказать, они сразу поймут и последуют за мной!»

Стоило возникнуть этому желанию, через охватившее его Сверхсознание прокатился мелодичный гул. Вокруг него, почти полностью проступая, собрались те Настроения, что были богами… Теренс мог оставаться веками, даже целую вечность, но жажда поделиться с миром своим открытием, страстное стремление исцелять и спасать вытянули его наружу.

В мгновение ока Прамир закрыл за ним свои Роговые Врата и Врата Слоновой Кости. Бесшумно упал громадный занавес. И вот Теренс уже снаружи…

Он стоял возле каменных саклей знакомого селения. Пошатнувшись, О'Мэлли протер глаза. Внизу сильные порывы ветра гнули ветки буков. Кавказская лошадь под седоком ткнулась носом в мешок, тот наклонился, и мука просыпалась на

землю, слышалось шумное дыхание животного; глаза проследили, как осела просыпанная мука, а примерно в пятидесяти ярдах позади он увидел удаляющуюся человеческую фигуру — это бежал проводник.

Нагнувшись, проводник на ходу подхватил с земли упавший башлык.

Теперь О'Мэлли проследил этот жест до конца.

Не останавливаясь, проводник надвинул башлык на голову.

А ветер донес до ушей фразу на ломаном французском. Теперь полные ужаса слова сложились вместе: «...один из них рядом. Прикрой глаза! Спасайся! Они приходят с гор. Они древнее камней... беги...»

Кругом больше не было ни души.

XXXIX

Похоже, столь резкий переход не удивил О'Мэлли. Поняв, что без Рустема он может оказаться в весьма затруднительном положении, ирландец сложил руки рупором и крикнул проводнику вслед, стараясь придать своему голосу внушительности:

— Остановись! Бояться нечего. Иди назад! Неужели ты испугался порыва ветра?

Видение, наверное, придало его голосу и манере такую убежденность, что бегущий остановился как вкопанный, постоял так в некотором сомнении, но потом, всё еще озираясь и осеняя себя охранительными знаками его религии, медленно возвратился к нанявшему его человеку.

— Всё прошло, — сказал О'Мэлли, хотя звуки собственного голоса как-то непривычно рассыпались во рту. — Унеслось обратно в горы. Тебе со мной ничего не грозит, — добавил он, внутренне чуть усмехнувшись. — Я смогу защитить нас обоих.

Ни малейшей неловкости он не испытывал, словно британский офицер, отдающий коман-

ду солдату. И грузин постепенно успокоился внешне, но еще долго старался не отходить далеко от спутника.

Таким образом, переход произошел быстро и окончательно. Словно в голове захлопнулись ставни, по сравнению О'Мэлли. Видение целиком длилось долю секунды, и за такую же краткую долю он успел вернуться в привычное, будничное состояние. Слияние с великим Сознанием Земли было мимолетным. И расширение личности — столь же преходящим.

Более того, столь полным оказался возврат, что поначалу, ничего не помня, он возобновил движение по жизни с того же мига, когда выпал из нее. Проводник довершил начатый жест и договорил фразу, перебитую видением, и О'Мэлли таким же точно образом вернулся к прерванным мыслям и действиям.

Остался лишь намек. Да еще странное ощущение незаполненного интервала; иных свидетельств вспышки невероятного прозрения — космического сознания, — заполнявшего, как казалось, множество дней и ночей, не сохранилось.

Было похоже на пробуждение среди ночи из глубокого сна, не по своей воле и не постепенно,

а как если бы кто-то потряс за плечо — и сна ни в одном глазу. И в сколь бы яркий и полный действия сон вы ни были бы погружены, всё исчезает в мгновение ока. Лишь хвост красочной процессии скрывается за углом. Доля секунды — и больше ничего не остается.

Именно такой намек только и сохранился. Хвост удалившейся процессии. Он определенно знал: его взору предстало нечто. Но более ни в чем не мог быть уверен.

Впоследствии, очень постепенно, в памяти начали всплывать детали. За несколько следующих дней пути, пока Рустем завершал намеченный маршрут, из более глубоких слоев памяти понемногу, деталь за деталью, начали всплывать воспоминания, и О'Мэлли по мере способностей тут же заносил их в блокнот. Они хранились как ценный вклад, к которому он порой получал доступ. Это объясняет некую беспорядочность записей, порой приводящих в недоумение, но в то же время и их достоверность. Никак нельзя было считать написанное выдумкой, плодом разыгравшегося воображения. Части были не соединены между собой, неполны, ложась на бумагу по мере возникновения в памяти. Казалось, более слабое сознание не в силах вместить цели-

ком пережитое; полагаю, вплоть до самого конца он не в состоянии был полностью восстановить его в памяти.

Они бродили по горам еще около двух недель, переживая по пути различные приключения, которые О'Мэлли надлежащим образом излагал в записках путешественника. Но все они касаются мира внешнего и в данном повествовании не особенно уместны. К середине июля Теренс с проводником вновь вернулись в цивилизованные места. Там, в Микаэлево, он попрощался с Рустемом и сел на поезд.

Именно возвращение в обычные условия современной жизни всколыхнуло залегающие глубже слои сознания и побудило их воспроизвести магический запас воспоминаний. Ибо, вновь погрузившись в мелочные дрязги века механизмов, роскошных вещей и поверхностных ухищрений, он испытал острую боль, почти невыносимое чувство потери. Вновь вернулись неудовлетворенные стремления. Причем особенно ранили не сами предметы, которым в мире уделялось столь много внимания, а тот подход, согласно которому одни занятия и вещи почитались «важными», а другие почти единодушно, за редким исключением, рассматривались как второстепенные

либо игнорировались вовсе. Для него же самого их ценность была прямо противоположной.

К нему вновь вернулось потрясающее Видение из самых глубин, оно ослепляло красотой, пело в ушах, полностью завладело сердцем и разумом. Мир усталых, не знающих покоя людей должен был желать причаститься его. Перед внутренним взором стоял образ простой жизни на лоне Природы, способный излечить серьезный недуг века, беспокойно ищущего себя, — лекарства, которое могло исцелить весь мир. Возврат к Природе был первым шагом на пути к великому желанному Избавлению. А сильнее всего Теренс желал поведать об этом Генриху Шталю.

Слышать его речи, с которыми он более ни к кому, кроме меня, возможно, не обращался, было поистине душераздирающе, поскольку в Теренсе О'Мэлли я видел воплощение тщетности усилий всех мечтателей. Видение его было столь тонким, искренним и благородным, невозможность же во всей полноте передать его красоту вызывала лишь боль, а попытки предпринять практические действия — до смешного нелепыми. Как ни крути, ему оказалось совершенно не присуще то сочетание видения и действия, что именуется гениальным и порой способно потрясти мир.

Его разум не отличался конструктивностью, он ни в коей мере не был «интеллектуалом», зрел, но лишь сердцем, не в состоянии воплотить то, что видел. Планировать строительство новой Утопии было для него столь же непосильно, как и полностью передать словами то великолепие, свидетелем которого он был. Прежде чем возвести хотя бы подобие фундамента, он бы сломился под грузом кирпичей и прочих материалов.

Поначалу, в дни ожидания парохода в Батуме, он держался до странного молчаливо и даже мысленно храня тишину. Теренс не находил в себе сил выразить то, что ему открылось. Бумага также не принимала повествование. Всё это время невдалеке парило величественное и вместе с тем простое, как солнечный луч или струи дождя, крылатое создание, и душа находила облегчение, гордо выражая себя на ином, божественном уровне, но передать смысл пережитого полностью в речи или на бумаге вряд ли когда окажется возможным, и он знал это, хотя, запинаясь, и пытался — сначала в записных книжках, в устном рассказе передо мной и, отчасти, доктором Шталем. Но поначалу всё не находило себе никакого выражения вовне и пребывало в глубоком молчании.

Днем он бродил по улицам города, глядя на мир новыми глазами. На русском пароходе он доплыл до Поти и там, с рюкзаком, вверх по ущелью Чурох за Бурчку, не обращая никакого внимания на турецких цыган и стоянки диких племен по берегам. Никакого чувства опасности для себя он не испытывал, да и не мог испытывать: весь мир был для него родней. И это ощущение оберегало его. Пистолет с патронами остались в позабытой в гостинице сумке.

В его душе боль мешалась с восторгом. Боль была ему привычна, но бесконечный, сияющий восторг прежде был неведом. Теперь кошмар современной дешевой жизни нашел объяснение — как он и чувствовал, так быть не должно: суетная, лихорадочная, внешняя деятельность лишь проявление глубокого недуга, странного непонимания и разлада с Землей. Человечество отчего-то поссорилось с нею, востребовав независимости, которая не может долго продолжаться. Ведь для нее века отчуждения — лишь миг, возможно, два в той неспешной жизни, что укладывает миллионы лет неширокими меловыми руслами. Настанет день, и блудные дети вернутся. Ведь она никогда не прерывала свой зов. Возможно, уже кто-то в сновидениях двинулся ей навстречу.

Даже он сам слыхал о некоторых движениях, робких попытках пойти навстречу Земле. Значит, эти немногие уловили немолчный ласковый шепот, облетающий мир.

Ибо ее голос — последний, но самый мощный оплот; очарование ее зова никогда не иссякало до конца, люди лишь на время покидали защиту мощных ее боков, вкушали от древа познания, плоды которого приносили им обманчивые, безумные образы самоопьянения, отпадали и погружались в боль одиночества и смерти. Это породило потерю направления и общего контроля, вавилонское смешение неуклюже слепленных языков, отчего все обратились друг против друга. Лишенные взаимосвязи и подчинения, искусственные центры захватили управление, и с катастрофическими последствиями. Каждый сражался сам за себя против соседей. Даже религии жаждали крови и бились друг с другом. Часть поклоняющихся могла проклясть всё прочее человечество, ни на секунду не прекращая славить Рай для себя.

И всё это время Она с любовью и терпением улыбалась, позволяя им постичь урок; Она смотрела и ждала, пока люди, как глупые дети, тратили уйму напрасных усилий, стремясь завла-

деть преходящими вещами, которые не способны принести им ни грана настоящего удовлетворения. Разрешала людям наживать миллионы на своих самых светлых мыслях, добывать золото и серебро из своих жил, даже не препятствуя переработке в орудия разрушения, поскольку знала: каждая «потерянная жизнь» возвращается к ней в объятия, оплакивая собственную глупость, но с усвоенным уроком; за слезами и возней своих чад Она наблюдала из дверей детской, прекрасно зная, что дети проголодаются и вернутся, когда им потребуется пища; ожидая, Она слышала обращенные к Ней молитвы и отвечала на них любовью и прощением, а тем же немногим, кто осознавал свою глупость и несносность по эту сторону «смерти», она даровала мир, радость и красоту в полной мере.

Им не удавалось нанести себе непоправимый вред, поскольку зло не задерживалось возле Нее, питаемое невежеством тех, кто дальше других забрел в темный лабиринт мелкого эго. Их запутал именно тот самый «интеллект», которым они так гордились.

Порой же, то в одном, то в другом веке, она посылала весть об избавлении столь громогласно, что отрицать этот зов было невозможно. Устами по-

эта, священника или ребенка она звала своих чад домой. И призыв звучал, омывая волшебными звуками пустоши безнадежной разобщенности. Кто-то слышал его, кто-то возвращался, кто-то поражался и проникался воодушевлением; часть людей полагали весть слишком простой, чтобы быть правдой, и начинали искать более сложных путей, удивляясь при этом силе порождаемого стремления, от которого слезы наворачивались на глаза, но большинство, не желая признаться, что в сердце своем ощущают тайное блаженство, стремились убедить себя в пристрастии к бесконечной борьбе и лихорадочной спешке.

Порой же Она выбирала совершенно иные способы, посылая поразительную весть в цветке, порыве вечернего ветерка, ракушке на прибрежном песке, но чаще всего вплетала ее в мелодию, оттенок морской волны или растительного ковра, покрывающего холмы, шелест ветвей в сумерках, закатный или рассветный шорох. Это Теренс и сам мог припомнить…

Но никогда призыв не достигал Ее детей через разум, ибо именно он и увел их прочь. Ему внимает лишь сердце.

Простая жизнь! Вспомнив обо всехсмелыхутопиях, придуманных людьми, он улыбнулся, ибо

был свидетелем столь ослепительной истины, что не оставила ни единого темного уголка. Воистину, далек тот день, когда лев ляжет рядом с ягненком, а люди заживут мирно, заботясь друг о друге; когда внутренняя жизнь будет признана за реальность, которой она является, где неведомы раздоры, завоевания и потери, поскольку нет обладания материальными вещами; где мелочное «я» сольется с жизнью больших масштабов, — далек, но, вне всякого сомнения, не является недостижимым. Теренс видел Лик Природы, слышал ее Зов, вкусил радости и покоя, значит, и прочие люди в уставшем от борьбы мире могли бы достичь того же. Стоило лишь показать туда путь. Блистающая Истина, которую он видел, совершенно ясно состояла в том, что любой услышавший Зов знал: он обращен к нему, облеченный в сияние любви, весь мир превращающей в родню, а Землю — в поистине священную Мать. И каждая душа способна явить собой тот канал, которым призыв вернуться домой полетит дальше по миру. Жить в согласии с Природой, деля с ней сознание высшего порядка, стремясь подняться к состояниям более величественным, ближе к вечному дому, — это было начало постижения правды, жизни, пути.

Всем «религиям» нашлось объяснение, как и бескомпромиссным заявлениям, заставляющим людей отворачиваться друг от друга; страху потерять жизнь, если направить усилия на поиски воссоединения с природой; почти недостижимой любви к соседу своему как к самому себе; представлению, что богатым может помешать войти в Царствие Небесное грубое нарушение чьих-то прав. И мир должен увидеть это вместе с ним, просто обязан, никуда не деться. Незатейливость малого ребенка, бескорыстие и самоотдача мистика — вот замечательные ключи к тайне.

Смерть и могила утратили силу. Ибо на стадии расширенного сознания, за пределами преходящей материальной стадии бытия, он видел воссоединение любимых, которых, подобно словам, включали во фразу, поясняющую их жизнь, ту фразу — в абзац, а его — в величественную историю свершений, которая в итоге войдет в вечную библиотеку Бога, воссоединяющего всё.

Теренс видел, как божественные эти волны, вечные и безмятежные, достигали пика, и каким-то образом понял, что на каждой из стадий личность не теряется, а скорее расширяется и укрупняется. Любовь к Земле, жизнь в близости к Природе и отрицание так называемой цивили-

зации есть первый шаг восхождения. В Простой Жизни, возврате к Природе, начиналась тропа к звездам и небесам.

XL

В конце недели знакомый пароходик бросил якорь в бухте, и ирландец купил билет домой. Стоя на пристани, он наблюдал за разгрузкой, когда его похлопали по плечу и он услышал голос приятеля. Сердце подпрыгнуло от удовольствия. Никаких любезностей, чтобы начать разговор, им не требовалось.

— Рад видеть вас живым и невредимым. Значит, вы не нашли своего друга, верно?

О'Мэлли всмотрелся в загорелое лицо всё с той же всклокоченной, пожелтевшей от табака бородой и заметил, как дружелюбно поблескивают карие глаза доктора. Тот снял фуражку и промокнул знакомый лысый череп.

— Напротив, я жив и невредим оттого, — ответил он, — что я его нашел.

Это удивило доктора Шталя. Он отпустил руку Теренса, которую до того крепко пожал, и двинулся вместе с ним дальше по пристани.

— Стоит убраться с этого дьявольского солнцепека, — сказал он, лавируя между грудами товаров и тюков, — иначе просто мозги закипят.

Направляясь в город, они пробирались сквозь толпу смуглых турок, грузин, персов и армян, которые, истекая потом, полуголыми трудились на солнце. В заливе стоял русский крейсер, посреди грузовых и пассажирских судов. Нефтеналивной пароход принимал груз. Всё под лучами яркого солнца. Черное море горело расплавленным металлом. Вокруг поросшие лесом отроги Кавказских гор вздымались через дымку к безоблачному небу.

— Красиво, — заметил немец, указывая на береговую линию, — но не сравнить с красотой островов Греческого архипелага, мимо которых мы проходили, верно? — Взгляд его сделался пристальным, и он на том же дыхании продолжил: — Вы возвращаетесь нашим пароходом?

— Красиво, — проговорил О'Мэлли, не заботясь ответить на вопрос, — потому что живет. Но внешние прекрасные черты припорошены пылью, собравшейся за долгие века небрежения, и я собираюсь стряхнуть эту пыль, ибо научился, как это делать. Он научил меня.

Шталь даже не глянул на него, хотя слова были довольно поразительными и бредовыми. Приятели шли рядом и молчали. Возможно, доктор отчасти понял его. Теренсу трудно было восста-

новить связь с миром внешних проявлений. А личность Шталя стала первым звеном, поэтому О'Мэлли выбрал из океана блаженных видений в душе первые попавшиеся фразы.

— Да, я купил билет на ваш пароход, — ответил он, вспомнив прозвучавший вопрос.

Ему не показалось странным, что приятель не отреагировал на прозвучавшие намеки. Он слишком хорошо его знал. Доктор лишь ждал, когда их накопится побольше.

Они сели за тем же столиком, выставленным на тротуар возле гостиницы, где несколько недель назад пили кахетинское и вдумчиво беседовали. Немец заказал по бутылке вина и минеральной воды, лед и сигареты. Пока они попивали охлажденный золотистый напиток, сняв шляпы и повесив пиджаки на спинки стульев, Шталь знакомил его с новостями и событиями в мире людей. Покуривая, О'Мэлли слушал вполуха. Всё представлялось далеким, нереальным, почти фантастичным — череда безобразных, безумных происшествий, сущие симптомы расстройства или даже болезни. Визг политики, рев и грохот летающих машин, финансовые крахи, неистовые восстания рабочих, слухи о приближающейся войне, смерть королей и магнатов, ужасные про-

исшествия и непонятное брожение в огромных городах. Будто речь шла о неволе, о безрадостном заключении, ибо все происшествия связывали между собой раздоры, боль, тоска и стремление вырваться наружу. Люди подчинялись вещам, вместо того чтобы подчинять их себе. А те пустяки, на которые они возлагали надежды, лишь еще больше закрепощали, укрепляя оковы.

Пока они обедали в тени деревьев за маленьким столиком, ирландец вкратце познакомил приятеля со своими приключениями.

— Материалы для газет отправлены, теперь, может, приметесь за книгу? — спросил доктор.

— Возможно, это и выльется в книгу, но пока вырывается из меня мощными фрагментами, помимо воли.

— Значит, вы сами не желали бы?..

— Всё это слишком… огромно. Спутник показал мне столь блистающие чудеса. Рассказать я еще могу, а вот изложить на бумаге… — Он лишь пожал плечами.

Эти слова доктор Шталь уже не пропустил без комментария. Однако его реакция была непредсказуемой. Он не стал задавать вопросов, а лишь заметил:

— Друг мой, хочу сказать вам кое-что или, вер-

нее, показать… — С этими словами он знакомым жестом положил руку на плечо Теренсу, очень пристально на него посмотрел и закончил совсем тихо: — Это может вас расстроить, даже поразить. Но если вы готовы, пойдемте…

— Поразить чем? — спросил О'Мэлли, несколько смущенный серьезностью предупреждения.

— Встречей со смертью, — был тихий ответ.

При этих словах ирландца лишь охватило радостное предчувствие и любопытство.

— Но ведь ее не существует! — Он едва не смеялся. — Это он мне в первую очередь внушил. Смерти не существует.

— Однако все мы уходим, — отозвался доктор, — земля к земле и прах к праху…

— Лишь наше тело!

— Да, верно, наше тело, — мрачно ответил старший собеседник.

— Есть лишь возвращение домой, освобождение. Больше ничего, поверьте. Стоит понять по-настоящему — и останутся лишь радость и величие.

Доктор Шталь на это ничего не ответил. Расплатившись по счету, он повел ирландца дальше по улице. Они шли по тенистой стороне и молча вслушивались в звуки города. В казармах пели

солдаты, по железной дороге на Тифлис и Баку двигался поезд. Миновав купол мечети с минаретами, приятели наконец вышли на пыльную, раскаленную дорогу вдоль моря. Оттуда уже слышен был звук прибоя, на темно-серую гальку пляжа накатывали невысокие волны, оставляя полоски пены.

Достигнув укромного уголка, поросшего выгоревшей на солнце травой и засаженного тоненькими деревцами, они остановились, и Шталь указал на могильный холмик, по обоим концам отмеченный простыми валунами. Там значилась дата, но имени не было. О'Мэлли мысленно соотнес эту дату русского календаря с более привычной для себя. Шталь подсказал:

— Пятнадцатого июня.

— Да, пятнадцатого июня, — с расстановкой проговорил О'Мэлли, в то время как во взволнованном сердце его вздымалось удивление. — Именно в тот день Рустем пытался убежать, в тот день я увидел своего друга, который показался из-за деревьев, и мы отправились вместе… в Сад.

Теренс вопросительно повернулся к приятелю. На краткий миг воспоминания вырвали его из действительности.

— Как вы видите, он не покидал Батума, — про-

должал Шталь, не поднимая головы. — В ту же ночь, когда мы зашли в порт, меня позвали к нему, вы как раз крепко спали. К нему вернулась мучавшая его непонятная лихорадка, поэтому я спустил его на берег, пока не проснулись остальные пассажиры. И сам привез его в больницу. Он больше так и не поднялся с постели. — И, указав на безымянную могилу у их ног, на которой ветерок с моря шевелил траву, Шталь сказал: — Он умер в тот же день. Ранним утром, — добавил он тихо, с печальным участием.

— Он вернулся домой, — откликнулся ирландец.

Невыразимая радость наполняла его сердце. Тайна его вожатого была раскрыта. Сомнений быть не могло: его приключения были полностью духовны.

В воздухе повисло молчание.

На той могиле не росло цветов, но О'Мэлли наклонился и сорвал несколько высохших травинок. Их он бережно заложил меж страниц своего блокнота, а затем приник к земле, выбеленной яростным солнцем, и прижался губами к сухой почве. Он лобызал Землю. Не обращая внимания на стоящего рядом Шталя, он поклонялся ей.

И тогда до него донесся звук, так любимый им,

ибо он вмещал в себя всю глубину его Страсти. Уши, приникшие к земле, ясно слышали его, но звук этот доносился отовсюду, создаваемый волнами, набегающими на берег, шорохом ветвей над головами, даже шелестом пожухлой травы. И в материнском сердце Земли он слышал тот звук, бившийся ритмичным пульсом. То был томительный зов древней тростниковой флейты вечного Пана…

Поднявшись на ноги, Теренс обнаружил, что Шталь отвернулся от могилы и теперь смотрел на море, не подавая виду, что заметил его действия.

— Доктор, — почти шепотом окликнул он его, — я вновь слышу мелодию, она доносится отовсюду! О, скажите, что и вы слышите ее!

Шталь обернулся и молча на него посмотрел. Глаза его увлажнились, а лицо обрело мягкое, почти по-женски сочувственное выражение.

— Это я, я вызвал ее. Ибо это и есть послание: мелодия, которую я должен донести миру. Никакие слова, ни одна книга не способны передать того, что сообщает она. — Он стоял с непокрытой головой и сияющими глазами, а голос срывался от страстного стремления поделиться с людьми радостью, которую непонятно было как передать. — Если я смогу сыграть на флейте Пана,

услышат миллионы и… последуют за мной. Скажите ж, прошу, что вы тоже слышали ее!

— Мой друг, дорогой юный друг мой, — прочувствованно сказал немец, — вы действительно слышите ту мелодию, но сердцем. Совсем немногие слышат флейту Пана, подобно вам, и дают себе труд прислушаться. Современный мир полон звуков совсем иного рода, заглушающих ее. Но и из тех, кто слышит, — пожал он плечами, взял Теренса под локоть и повел к морю, — сколько таких, что захотят последовать зову, а тем более отважатся на это? — Лежа на берегу, глядя на прибой у ног и на чаек, парящих в голубом небе, он добавил едва слышно, О'Мэлли едва уловил его слова. — Простая жизнь утрачена навсегда. Он уснула в далеком Золотом Веке, и лишь те, кто спит и видит сны, способен ее отыскать. Если вы можете сохранить в себе радость, не просыпайтесь, мой друг! Мечтайте, но в одиночку!

XLI

Лето сверкало повсюду, а море растекалось синевой расплавленного неба и солнца. Вершины Кавказских гор вскоре скрылись на северо-востоке, а на юге, поросший лесом, холмился берег, сливавшийся почти неразличимо с синевой моря и неба.

Пассажиров первого класса было немного, О'Мэлли почти не замечал их присутствия. В Трапе-зунде на борт поднялся американский инженер, который строил железную дорогу в Турции; еще были две дамы-блондинки, возвращавшиеся домой из Баку, и атташе какого-то иностранного представительства в Тегеране. Но ирландцу больше пришлись по душе около сотни крестьян из Малой Азии, севшие на корабль в Инеболи, которые направлялись третьим классом в Марсель, а потом дальше, в Америку. Смуглые, диковатого вида, оборванные, очень грязные, с морем они встретились впервые, а вид дельфинов их просто поразил. Они жили на корме, там же и готовили, а их женщины и дети спали под брезентовым навесом, что матросы

натянули специально для них над всей палубой. Вечером они принимались наигрывать на дудках, танцевали, пели и временами выкликали что-то, размахивая руками, всегда под один и тот же мотив.

О'Мэлли наблюдал за ними часами. За инженером, расфуфыренными дамами и атташе он тоже наблюдал. И теперь понимал разницу между этими людьми так, как никогда прежде. И прекрасно осознавал сложность вставшей перед ним задачи. Как вообще возможно хоть что-то объяснить таким, как пассажиры первого класса, как возбудить в них хотя бы слабый отзвук желания узнать и вслушаться? Крестьяне, не подозревая о бессмертной красоте у себя под носом, тем не менее были намного ближе к постижению истины…

— Ездили дальше на восток, верно? — предположил инженер однажды вечером, когда пароход остановился в Брусе забрать добавочный груз бревен орехового дерева. Он с восхищением глядел на побронзовевшую кожу ирландца — под этим солнцем так не загоришь!

Он заразительно, открыто засмеялся, Теренс подхватил смех. Меж ними уже установилась обычная среди путешественников приязнь, и американец не упускал случая, чтобы погово-

рить.

— Бродил по горам, — ответил ирландец, — останавливался и спал под открытым небом, вот и загорел.

Инженер внимательно посмотрел на ирландца, сомневаясь, не пропустил ли случайно остроту. Но О'Мэлли не ответил на взгляд. Глаза его были устремлены вдаль, на снежную вершину Олимпа, курчавившуюся пушистыми облачками, словно чело вечных богов.

— Говорят, тут прорва древесины за так пропадает, можно было бы всю скупить по цене дров да спустить к побережью, сплошь кавказский орех, — перенося разговор на более привычную почву, продолжил американец, — а рабочая сила тут просто даровая. Сколько Бог создал полезных ископаемых — все тут. Можно построить узкоколейку и пустить электропоезд. Падающей воды сколько угодно. Правда, вначале придется выкупить концессию у России, — заметил он, сплюнув на толстенное бревно в кристально прозрачной воде внизу, — а руки у русских требуют массу смазки. Плюс местные племена тоже, вероятно, хлопот доставят.

Дама переместилась на несколько футов ближе, и, когда ирландец не нашелся что сказать,

чтобы заполнить паузу, его собеседник обернулся к женщине и отпустил какой-то комплимент. Воспользовавшись случаем, О'Мэлли двинулся прочь.

— На всякий случай вот моя карточка, — сказал американец, протягивая ему большой картонный прямоугольник, вынув его из толстого бумажника, с надпечатанными серебром именем и адресом. — Если разработаете план и потребуются средства, считайте, я в деле.

Теренс перешел к корме парохода и принялся наблюдать за крестьянами на нижней палубе. То, что они были грязны, казалось по сравнению неважным. Грязь пятнала лишь их одежду и кожу. А запах немытых тел казался вполне здоровым. Он вытеснил запах порока из его ноздрей и мыслей.

В мечтательной тишине О'Мэлли долго стоял так, солнечные лучи уже не золотили Олимп, а окрашивали его в розовый цвет, море отражало краски закатного неба. Он смотрел, как смуглый курдский малыш скатывался по парусиновому покрывалу. Котенок играл, цепляя лапками пеньковый конец, который ему было не под силу сдвинуть. Чуть поодаль, на груде парусины, сидел огромный мужчина с голым торсом и руками

настоящего колосса. Он тихо играл на деревянной свирели. Темные кудри падали ему на глаза, слушателями были женщины, которые занимались приготовлением ужина. А совсем рядом, прямо под тем местом, где стоял Теренс, молодая женщина с фантастически прекрасными глазами кормила младенца, приложив его к обнаженной груди. Котенок оставил канат и принялся играть с кисточкой ее алой шали.

И, слушая мелодию свирели, наблюдая серьезные, неукротимые, сильные лица этих необразованных сельских мужчин и женщин, он понял: как ни низко на общественной лестнице они стоят, в них не заметно следов… вырождения, читавшихся в чертах пассажиров первого класса. Правда, он не был уверен, какое слово — «вырождение» или «стыд» — тут подходило больше. Во всех их действиях, движениях, манере держаться чувствовались достоинство и независимость, которые не могли не впечатлять. Потребностей у них было немного, пожитки умещались в котомке, и всё же они обладали чем-то, помещавшим их даже выше прочих: самодовольно улыбающегося атташе, несмотря на всю его дипломатическую хитрость, инженера с его практичным умом и сметкой и накрашенных женщин с их уловками,

играющих на слабостях такого типа мужчин. Именно эта разница создавала вокруг оборванцев атмосферу достоинства, выгодно отличавшую их компанию и делающую ее, без всякого сомнения, более желанной. Совершенно неотесанные и неграмотные, они обладали неиспорченной природой, отчего были ближе Земле. Им, конечно, требовались руководство, подготовка, очищение чувств, но, в конце концов, не важнее ли в духовном плане были присущие им качества, чем относительно недавно развившийся интеллект, когда венцом творения становились типы, подобные упомянутым?

О'Мэлли долго не оставлял своих наблюдений. Солнце село, море потемнело, на небо высыпали звезды, пароход развернулся и направился к гористому Андросу и греческому побережью, а Теренс всё стоял, погруженный в раздумья. Крылья его великой Мечты могуче развернулись… и он узрел, как миллионы бледных мужчин и женщин проходят Вратами из Рога и Слоновой Кости в тот Сад, где смогут наконец обрести мир и счастье в чистой простоте вблизи Земли…

XLII

Еще через четыре дня плавания, когда позади остались Греция, Мессина и острова Липари, показались голубые очертания Сардинии и Корсики: пароход подошел к узкому проливу Бонифацио между ними. Пассажиры вышли на палубу полюбоваться вблизи скалистыми пустынными берегами, а капитан Бургенфельдер нес вахту на мостике.

Сероголовые скалы вздымались со всех сторон, как бы обступая корабль; над головами с криками кружились чайки; на берегах ни травинки, ни человеческого жилища — лишь маяки на многие мили диких скал, окрашенных в великолепные краски солнцем, желающим на прощание доброй ночи. Прозвучал гонг к ужину, но зрелище было столь великолепно, что не оторваться: садящееся солнце словно плыло по пылающему морю, глядя, казалось, прямо на них через узкую трубу пролива. Невероятные краски плясали на небе и волнах. Багряные скалы одиноко торчали из огня. Щеки овевал тихий ветерок, приятно холодящий после раскаленного дня. С далеких-далеких

холмов, поросших лиловыми цветами, долетал медовый аромат.

— О, как бы я хотел узнать, ощущают ли они, что бог шествует неподалеку! — пробормотал ирландец себе под нос, охваченный приливом чувств. — И что Сознание Земли великодушно зовет их обрести мир! Или же они видят лишь желтое солнце, что погружается в фиалковое море?

Плеск волн о борт парохода унес прочие слова. Перед внутренним взором стояла картина многих тысяч склоненных перед божеством голов. Прозвучавший рядом голос резко вывел его из размышлений:

— Приходите в мою каюту, когда будете готовы. Она выходит на запад. Там нам никто не помешает. Можно распорядиться, чтобы еду принесли прямо туда. Что скажете?

Приятель привычным жестом коснулся его плеча, и Теренс наклонил голову в знак согласия.

Наблюдая этот великолепный закат, на какое-то время О'Мэлли ощутил глубокий и полный покой всеобъемлющей души вокруг. Вновь сознание Земли задело его, коснувшись краем. И через истончившуюся грань хлынули в его существо божественная красота и сила. Ничего, кроме по-

коя и радости, все стремления, терзавшие его как отдельную, отъединенную личность, исчезли. Возвращение же в мир вновь пробудило страдания. Прежнее одиночество, перенести которое было свыше его сил, сжало ледяными тисками, выжимая жизнь и заморозив все источники радости. Ибо в единый миг в него влилось одиночество всего страждущего мира, одиночество бесконечных веков, одиночество всех народов Земли, утративших путь.

Слишком глубоко задело его это чувство, чтобы выразить словами, слезами или вздохами. Поэтому приглашение доктора пришлось как нельзя кстати. О'Мэлли молча повернулся спиной к опаловому небу, откуда уже исчезло солнце, и медленно направился по палубе к каюте Шталя.

«Если бы я только мог поделиться с ними, — думал он по дороге, — если бы люди только захотели услышать, если бы пришли. Но если я и дальше буду мечтать в одиночку, это убьет меня».

И, уже стоя перед дверью в каюту, он, казалось, услышал, как по небу пронесся порыв, послышался топот тысяч копыт и рев ветра, сопровождавший радость скачки по Земле. Затем он повернул ручку и ступил в уютную каюту, где несколько дней назад они вели дознание о

маленьком опустевшем доме плоти мальчика, и вспомнил ту, другую фигуру, что стояла тогда на пороге, — частью из солнечного восхода, частью из моря, частью из утреннего ветра…

Ужинали они молча, закатные лучи проникали внутрь через несколько иллюминаторов, а в завершение Шталь снова, как прежде, заварил кофе и зажег черную сигару. Медленно, но верно боль и беспокойство отпускали О'Мэлли под воздействием неспешных действий приятеля. Как никогда, доктор был спокоен, мягок, полон сочувствия, почти нежен. Привычный его сарказм был теперь завешен печалью, в голосе — ни намека иронии, в глазах — ни тени насмешки.

И тут ирландец вдруг осознал, что все эти дни, пока он был погружен в раздумья и мечты, доктор, как прежде, пристально за ним наблюдал. Но он так глубоко ушел в грезы, что никакой пищи для наблюдений не представлял. И даже не подозревал, что Шталь неустанно анализировал каждый его шаг. Теперь же ему всё стало ясно.

Наконец Шталь заговорил. Тон был самым доверительным, манеры открытыми. Но именно печаль, сквозившая в словах, побудила О'Мэлли отринуть всяческие подозрения.

— Могу отчасти угадать видение, что принесли

вы с гор. И понять намного в большей мере, чем вам представляется, а также глубже. Поэтому расскажите мне подробнее, если сможете. Вижу, сердце ваше переполняют эмоции, и, рассказывая о них, вы облегчите его. Я вовсе не враг вам, каким порой кажусь. Поведайте мне всё, дорогой мой юный ясноглазый друг. Поведайте о видениях и надеждах. Возможно, я смогу помочь… ибо и я нечто мог бы рассказать вам взамен.

Подбор ли слов, ни одно из которых не задевало болью, тому причиной, общая ли обстановка и атмосфера встречи, ни одна деталь которой не нарушала гармонии, или равновесие между словами и молчанием, созвучном сложившемуся у него в душе, но ирландец не смог устоять перед приглашением. Более того, он ведь все эти дни хотел поведать открывшееся тому, кто пожелал бы выслушать. Шталь уже был наполовину «обращен». Вне всякого сомнения, доктор поймет и поможет ему. Момент для исповеди был самый подходящий. Мужчины поднялись с мест одновременно: Шталь — запереть дверь, чтобы им не помешали, О'Мэлли — сдвинуть их кресла поближе.

И затем, без дальнейшего промедления, он распахнул свое сердце и душу нараспашку. Поведал

о видении и о мечте, рассказал о своей надежде. История его страсти, подкрепляемая записями из блокнотов, с которыми он не расставался, текла и текла, когда небо уже совсем потемнело и над скользящим по глади моря пароходом не засияли звезды. Когда же он закончил говорить, всё вокруг уже было охвачено тишиной ночи.

Он рассказал всё целиком, думаю, примерно так же, как и мне на лондонской крыше и в том зальчике ресторана в Сохо. Ничего не скрывая: как всю жизнь терзали его смутные порывы; как им нашлось объяснение, когда он повстречал молчаливого незнакомца на пароходе по пути в Батуми; о пути в Сад; о видении, когда ему стало ясно, что всё кругом — от богов и цветов до людей и гор — объято сознанием Земли, и что Красота есть проблески ее нагой сути, и что спасение мира от недуга современного образа жизни лежит в возврате к простоте Природы, к материнскому ее сердцу. Он поведал всё, поток слов лился без запинки.

А Генрих Шталь молча слушал. Он не задал ни единого вопроса. Даже не пошевелился. Черная сигара потухла, догорев до половины. Лицо его скрывал непроницаемый мрак.

Никто не помешал им. Шум двигателя, редкие

шаги пассажиров по палубе, гулявших по ночной прохладе, — ничто более не нарушало мелодии рассказа неизлечимого идеалиста.

XLIII

И вот наконец в каюте зазвучал другой голос. Ирландец закончил. Он откинулся в мягком кожаном кресле, измотанный физически, но всё еще парящий на потоке страстной надежды, источаемой сердцем. Ибо он отважился открыться сильнее, чем когда-либо прежде, и поведал о возможном новом крестовом походе, где он станет проповедовать о мире и счастье для всех живущих.

Голосом, выдававшим глубокое волнение, доктор Шталь лишь спросил:

— Думаете ли вы, что, приведя народы обратно к Природе, вы поможете им наконец приблизиться к Истине?

— Со временем, — был ответ. — Но первый шаг таков: изменить направление человеческой деятельности с преходящего Внешнего на вечное Внутреннее. В простой жизни, когда обладание собственностью не обязательно и почитается тщетным, душа обратится внутрь и станет искать истинную реальность. Теперь лишь ничтожная часть человечества имеет возможность заняться

этим. Досуга почти нет. Цивилизация означает приобретения для тела, а должна означать развитие для души. Стоит отмести прочь ту ерунду, погоне за которой вовне люди отдают себя, как крылья их угнетенных душ встрепенутся вновь. Сознание расширится. Вначале их привлечет Природа. Они начнут ощущать Землю, подобно тому, как это было со мной. Личность (эго) исчезнет, а вместе с нею и чувство отъединенности. Вместо этого проснется более широкое самосознание. Мир, радость и блаженство внутреннего роста заполнят их жизнь. Но для начала нужно оставить детски-неразумную смертельную гонку за внешними приобретениями и оплот Цивилизации, чьи пустота и безнадежность — лишь помеха. Они отворачивают от Бога и всего вечного.

Немец не отвечал; О'Мэлли замолк; между ними пролегла глубокая тишина. Наконец Шталь вновь зажег сигару и, перейдя на родной язык, что у него всегда означало признак величайшей серьезности, заговорил:

— Вы сделали мне честь, оказав великое доверие, и я безмерно вам благодарен. Вы поведали мне свою самую сокровенную мечту, а такое людям бывает труднее всего открыть другим. — В

темноте он нашел руку собеседника и на мгновение сжал ее. Никаких комментариев услышанному не последовало. — А взамен, если можно так выразиться, хотел бы попросить вас выслушать мою историю, которая может показаться вам небезынтересной. Никому прежде я об этом не рассказывал. Лишь раз или два упомянул вам на пути сюда. Порой я предупреждал вас…

— Помню. Вы говорили, что он «захватит» меня, «одержит надо мной победу»… вы использовали слово «вовлечет».

— Да, и рекомендовал быть осторожным, побуждал не давать себе полной воли, говорил, что он представляет опасность для вас и для организации человечества в том виде, каким она предстает сейчас…

— И много чего еще, — несколько нетерпеливо прервал его О'Мэлли, — я всё прекрасно помню.

— Поскольку я знал, о чем говорю. — В темноте голос доктора звучал несколько зловеще. Затем он добавил громче, видимо подавшись вперед: — Ибо то, что произошло с вами, как я и предвидел, едва не случилось со мной самим!

— И с вами, доктор? — воскликнул ирландец во время небольшой паузы, последовавшей за этим заявлением.

— Но я успел спастись, избавившись от причины.

— Вы выписали его из больницы, оттого что боялись! — Эти слова прозвучали резко, почти с былой горечью.

Вместо ответа Шталь встал и резким движением включил лампу на столе, стоявшем у стены напротив. По-видимому, он предпочитал говорить при свете. О'Мэлли увидел, что его лицо бледно и очень серьезно. И впервые осознал: доктор говорит с профессиональной позиции. Значит, Шталь относится к нему как к пациенту…

— Прошу, продолжайте, доктор, — сказал он, теперь удваивая внимание. — Вы меня крайне заинтриговали.

Крылья великой мечты еще несли его высоко, поэтому он ощутил лишь легкую досаду от своего открытия. Чувства обиды не возникло. Только на мгновение души коснулась печаль. Но он был уверен, что Шталь на его стороне, что его удалось убедить.

— Вы сказали, что также испытали сходное переживание, — напомнил он. — Жажду услышать продолжение и полон сочувствия.

— Продолжим беседу на воздухе, — сказал док-

тор, позвонил стюарду, чтобы тот убрал посуду, и вывел приятеля на пустынную палубу.

Они прошли на нос корабля мимо спящих крестьян. Звезды отражались в зеркальной поверхности моря, а на севере на фоне неба смутно вырисовывались холмистые очертания Корсики. Было далеко за полночь.

— Да, нечто подобное едва не случилось со мной, — продолжил он беседу, когда они уселись на свернутые бухты канатов, куда до них долетал только слабый плеск волн о корпус судна, — и могло происходить также с другими. Все обитатели того большого сумасшедшего дома в той или иной степени подверглись воздействию. Мой поступок, хоть и запоздалый, спас и меня, и их.

После этого немец повел рассказ, будто уберегся от огромной опасности. Восклицательными предложениями на родном языке он выражал сплошную похвалу себе. Был момент, когда «русский» почти завладел его сердцем, почти убедил, но всё-таки потерпел поражение, поскольку доктор убежал. Слушая Шталя, Теренс подумал: «Словно его насильно пытались затащить в Рай, а он теперь рад, что удалось избегнуть такой участи». По его словам, спасительными оказались осторожность и здравый рассудок, но кельту

показалось, что продвинуться дальше доктору помешала его половинчатость. В Царствие Небесное нелегко войти, и хотя у Шталя не было избытка злата и серебра, он слишком гордился своим аналитическим умом, чтобы отказаться от него. Он-то ему и помешал.

С растущей печалью слушал ирландец — он понял, что устами Шталя высказывается отношение к тому, что он желал предложить миру, людей образованных и высокоцивилизованных, самого цвета человечества. С такими ему непременно придется столкнуться. Более того, Шталь был не просто образован, но проникнут симпатией, повстречавшись с великой мечтой на полпути, понимал открывающиеся возможности, видел красоту и даже порой сам заговаривал о них в порыве энтузиазма. Однако на того, кто их в нем пробуждал, смотрел не иначе как на нежелательное влияние, на пациента, если еще не хуже.

Голос и манера говорить Шталя были весьма примечательны и то демонстрировали критичность суждений, то исполнялись мистического энтузиазма: эти разнонаправленные чувства попеременно выглядывали наружу, словно головы мужчины и женщины на старинном барометре, свойственное же ему стремление к компромиссу

всё пыталось впрячь их в одну упряжку.

По-видимому, «русский» успел побыть под его попечением не дольше недели, но уже оказал заметное воздействие, вызвав очень необычные эмоции, атаковавшие сердце и разум доктора.

Начав с момента поступления, Шталь обрисовал его точными и выверенными фразами, как врач мог бы поведать о заинтересовавшем его пациенте. Затем описал метод суггестии, направленный на пробуждение утраченной памяти, полностью провалившийся в данном случае. Затем он заговорил обобщеннее, но всё так же четко и сжато.

— Этот человек, — говорил он, — столь располагал к себе, был так послушен, а личность его столь привлекательна и таинственна, что я сам взялся за этот случай, не передавая ассистентам. Все попытки выяснить, кто он и откуда, провалились. Словно он приплыл в ту гостиницу из ночи времен. Никаких признаков безумия он не проявлял. Связь представлений в его голове, хоть и ограниченного свойства, была логичной и прочной. Состояние здоровья в целом прекрасное, если не считать странной внезапной лихорадки, жизненные силы этого человека поражали. Хотя ел он совсем немного, только фрукты, молоко и

овощи. От мяса его тошнило, при одном только виде мясного он весь содрогался. Люди его не привлекали, чаще всего он отшатывался от них как бы с недоуменным отвращением. Искал же общения, как ни странно, с животными: заслышав собачий лай или топот копыт, подбегал к окну; персидский кот одной из наших медсестер просто не отходил от него; ветви дерева напротив его окна были просто унизаны птицами, нередко они даже залетали в комнату и порхали вокруг «русского», ничуть не страшась и весело распевая. Ни со мной, ни с санитарами он почти не говорил — отдельные слова на разных языках, порой отрывистые фразы, соединявших слова русские, французские, немецкие, а порой и из других языков.

Но самым странным было то, что с животными он вел, похоже, долгие разговоры, вполне внятные обеим сторонам. Животные, без сомнения, признавали и понимали его. Но то была не речь в полном смысле слова, а непрестанное бормотание, похожее на лопотание ветра в листве. Тогда я дал ему свободу гулять во дворе и в саду. Ему только этого и было надо — общения с природой. С лица исчезли печаль и недоумение, глаза прояснились, и вообще он стал выглядеть куда

счастливее: бегал, смеялся и даже пел. Лихорадку как рукой сняло. Часто я проводил время рядом с ним, отпустив служителя, ибо он меня более чем интересовал — он вернул мне ощущение радости жизни, возбуждающей и восхитительной. Во всем его облике было нечто грандиозное, но связанное не с физическими размерами.

Часть меня, не связанная с рассудком, своего рода слепой инстинкт в поисках опоры, признала в нем некий фрагмент Космической Жизни, случайно попавший в человеческое тело и теперь обитающий в нем…

И примерно тогда я ощутил воздействие, оказываемое им на меня, поскольку сам попросил Комитет, который счел его дальнейшее пребывание в клинике нецелесообразным, оставить его на некоторое время. Более того, попросил мне разрешить наблюдать за ним в частном порядке, после чего начал еще пристальнее присматриваться к нему. Он был мне необходим. Нечто из глубины моей души, неведомое прежде, было вызвано им к жизни и не могло без него существовать. Некая новая жажда, невыразимо сладкая и неутолимая, пробудилась у меня в крови и требовала его присутствия, которое и питало эту жажду. Незаметно она укрепилась

во мне, всколыхнув самые основания моего существа. Видимо, вернее всего будет сказать, что она «подвергала опасности мою личность», ибо, проанализировав происходящее со мной, я установил, что она подрывала мой характер, каким он прежде был. Все эти процессы шли исподволь. И когда я обнаружил их воздействие, они уже укрепились во мне. Они набирали силу уже давно.

Сама же перемена — вы быстро поймете из краткого описания: все честолюбивые желания исчезли, прочие желания тоже ослабели, да и вообще значение людей вокруг начало тускнеть.

— А что вместо этого? — затаив дыхание, воскликнул О'Мэлли; он впервые перебил говорившего.

— Нахлынуло страстное желание покинуть город и искать красоты и простой жизни в неосвоенных краях; отведать той жизни, какую знал этот человек; не раздумывая двинуться за ним вслед в леса и пустоши, слиться с прекрасной Землей и Природой. Это я понял перво-наперво. Словно весь мир мой расширился, казалось, что мое сознание расширяется. Каким-то образом это поставило под угрозу привычное самоощущение. И тут я заколебался.

О’Мэлли ощутил дрожь в голосе приятеля. Даже при пересказе то страстное желание еще имело над ним власть, но, как всегда, он застыл на границе компромисса: сердце звало его к спасению, но рассудок жал на тормоза.

— Ложь и пустота современной жизни, ее неприкрытая вульгарность, недостойность самих идеалов встали со всей очевидностью перед открывшимся внутренним зрением. Я был потрясен до глубины существа, представлявшегося до той поры мне ясным и вполне достойным уважения. Каким образом этот человек смог произвести на меня столь мощное воздействие, совершенно необъяснимо. Прибегнуть в данном случае к модному словечку «гипноз» — всё равно что останавливать течь с помощью бумаги. Действительно, его влияние было подсознательным. Он не пытался поймать мое сознание в сети из хитро сплетенных слов. Всё возникало из неизъяснимой глубины его молчания. Его действия и незамутненное счастье, выражавшиеся в лице и повадке, возможно, служившие «строительным материалом» для речи, могли воздействовать как потенциально мощные агенты суггестии, однако никаких существенных объяснений произведенному эффекту, за исключением фантастических

теорий, о которых я вам прежде рассказывал, я найти не смог. Поэтому могу поведать лишь о результатах неведомого воздействия, которые я испытал на себе.

— Скажите, ваше ощущение расширенного сознания, — спросил слушатель, — было ли оно, возникнув, непрерывным?

— Нет, оно наплывало временами, — отвечал Шталь. — Поэтому мое привычное, будничное сознание могло его контролировать. В то время как оно посмеивалось над повседневным сознанием и жалело его, последнее его страшилось. Моя профессиональная подготовка учила рассматривать подобное рассогласование как симптом недуга, начало процесса, который может привести к безумию, — признаки диссоциации, распада личности, о котором писали Мортон Принс[65] и другие. — Речь его становилась всё менее плавной, даже местами неясной — видимо, до сих пор опыт пережитого не полностью улегся в его голове. — Среди прочих странных симптомов я вскоре установил, что такое постепенное расширение

[65] Примечания: 65

Мортон Принс (1854–1929) — американский невропатолог, описал случай множественной личности, состоящей из трех отдельных личностей, сменявших одна другую. Две из этих личностей не были известны третьей. Занимался также изучением автоматического письма.

сознания особенно брало верх во сне. Дела дня отвлекали, не давали сосредоточиться. Поэтому сильнее всего я ощущал расширение сразу после пробуждения и вечером, когда сильно уставал. Поэтому, дабы лучше изучить данный феномен, я стал приходить к «русскому» на ночь, чтобы спать в непосредственной близости от него. Ночью, когда он засыпал, я тихо входил в его комнату и оставался там до утра, то дремля, то пробуждаясь. Ведя наблюдение за нами двоими. И за «двоими» в себе. Так я совершил еще одно странное открытие — сильнее всего он воздействовал на меня, когда спал сам. Лучше всего описать это так: я сознавал, что спящим он стремился увлечь меня с собой куда-то в свой прекрасный мир, в тот край, где он проявлялся полностью, а не частично, каким представал передо мной в обычном, дневном мире. Его личность была словно каналом в живую, сознающую Природу…

— Только, — снова перебил О'Мэлли, — вы ощущали, что, если поддадитесь, наступит необратимая внутренняя катастрофа, и оттого сопротивлялись?

Так он сформулировал свой вопрос намеренно.

— Поскольку я установил, — последовал многозначительный ответ, произнесенный ровным

голосом, в то время как Шталь вглядывался в своего собеседника при слабом свете, — что пробуждаемое им во мне желание есть ни больше ни меньше как желание покинуть этот мир, чтобы избегнуть ограничений, собственно, покинуть тело. Вот до чего дошло мое разочарование современной жизнью. До влечения к самоубийству…

Пауза, последовавшая за этими словами, была рассчитанной, по крайней мере со стороны Шталя. О'Мэлли не нарушал молчания. Оба мужчины зашевелились и встали с бухт каната, за время долгого сидения члены их затекли. Пару минут они стояли, облокотившись на парапет и молча глядя на фосфоресцирующее море. Голубоватые гористые берега проплывали мимо, затеняя звездное небо. Когда же они вновь уселись, то не так, как прежде. Доктор Шталь сел между слушателем и морем. О'Мэлли не замедлил приметить этот маневр, улыбнувшись про себя. Не меньше было рассчитано и воздействие всего рассказа на него. Однако ирландец не смог удержаться, чтобы не сказать:

— Право, не стоило вовсе бояться. Мысль о подобного рода уходе ни разу даже не пришла мне в голову. К тому же мне хватает забот пока, надо придумать, как передать миру то, что я должен.

Он рассмеялся в тишине, последовавшей за его словами, но Шталь никак не прореагировал на них, будто вовсе не слышал. Ирландец же понимал, что если и существовала некая опасность, то исключительно в нерешительности и половинчатости, ему же самому подобная слабость совершенно не была присуща. Взгляд его был целостен и смел, тело полно света, он не знал сомнений. Для него возврат к Природе означал совсем не отрицание человеческой жизни и не обесценивание человеческих интересов, но лишь кардинальную их переоценку.

— И вот однажды ночью, когда я наблюдал над ним, спящим в небольшой комнатке, — продолжал немец как ни в чем не бывало, будто и не прерывался, — я впервые точно заметил то чрезвычайное увеличение в размерах, о котором уже упоминал, и понял, что оно означало. Ибо возникающая масса принимала совсем иные очертания. Причем видел я это не глазами. Я видел то, кем он себя ощущал. Личность этого существа, его суть, воздействовала на меня напрямую. Вначале на эмоции, потом на чувства, понимаете? Это было вполне распланированное нападение. И я наконец осознал, что шло воздействие на мой мозг, доказательством чему

послужил тот факт, что стоило сделать над собой усилие, как я вновь стал видеть его нормально. В ту же секунду, когда я отказался видеть другую форму, она куда-то отступила и исчезла.

О'Мэлли отметил еще одну точно рассчитанную паузу. Но и на этот раз он хранил спокойствие и просто ждал продолжения.

— Причем зрение было не единственным чувственным каналом, подвергшимся воздействию, — заговорил вновь Шталь, — обоняние и слух также подтверждали перемены. Лишь осязание не включалось в галлюцинацию. Ибо порой в ночи, пока я сидел подле него, за открытым окном во дворе и садах слышался топот и далекий гомон голосов в поднимающемся ветре, гул, как бывает в кронах деревьев, или свист крыльев большой стаи птиц. Я ощущал эти звуки в воздухе и по содроганию почвы — топот сотрясал лужайку и воздух. Одновременно доносился резкий аромат, напоминавший запах прелых листьев, цветов после дождя, равнин, широких степей и — да, вполне определенно — животных, коней. Но когда я решительно отверг их существование, эти проявления исчезли, ровно таким же образом, как и ощущение необычных размеров. Правда, испытав их, я ослабел, стал более

подвержен нападению. Более того, я совершенно определенно установил, что эманации шли от него. Во время сна. Казалось, он высвобождал их, когда спал. Заснувшее тело выпускало их наружу. Но стоило инстинкту прийти мне на помощь, остерегая, хотя и в виде неведомо как возникшей интуиции, как я понял: стоит мне заснуть в его присутствии, как перемены перекинутся на меня и я присоединюсь к нему.

— Чтобы вырваться наружу! Познать свободу более широкого сознания! — воскликнул Теренс.

— То, что у человека моих взглядов вообще возникли такие мысли, показывало, как далеко зашел процесс, хотя я его не осознавал, — продолжал доктор, вновь не обратив никакого внимания на то, что его перебили. — Однако тогда я еще этого не понимал. Я очнулся от потрясения, когда, пожелав выйти из наплывавшего состояния, не смог.

— Поэтому вы сбежали, — без обиняков сказал ирландец, не особенно стараясь скрыть презрение.

— Мы выписали его. Но прежде произошло еще нечто, о чем я собирался рассказать, если вы, конечно, еще склонны слушать.

— Я не устал, если вы это имели в виду. Могу

слушать хоть всю ночь.

Он снова поднялся с места размяться, и Шталь тут же вскочил. Они встали рядом у парапета. Немец стоял без шляпы, ветер от движения парохода отдувал его бороду назад. Теплый ветерок нес ароматы берега и моря. Ласково тронув их лица, он пролетел над крестьянами, спящими на нижней палубе. Мачты и такелаж мерно вздымались на фоне звездного неба.

— Прежде я был лишь наполовину захвачен, — продолжал доктор, стоя почти вплотную к ирландцу, — и нашел затруднительным высвободиться из-под его влияния. Прочие приметы также подтверждали, что во мне шла подспудно значительная перемена. Они поступали отовсюду; вначале почти незаметные, они постепенно заползли во все щелки, заполнили провалы и трещинки, укрепили сочленения и создали вокруг меня иллюзию, в плен которой я попал. О них нелегко рассказывать. Лишь для вас, после пережитого сходного опыта в горах, могут они быть понятны. Вы также преодолели сходное искушение и выдержали ту же бурю. — Он схватил О'Мэлли за руку и, подержав немного, отпустил. — Вы избегли безумия, подобно мне, и поймете мои слова, если я скажу, что ощущение

потери личностного самосознания было столь опасно, столь соблазнительно сильно. Ощущение расширения было столь восхитительно, что ему было сложно противостоять. Мною овладело то ощущение экзальтации, языческой радости, известное людям в ранней юности, но вместе с юностью преходящее. В присутствии души того человека, столь мощной в своей простоте, я словно прикасался к источникам самой жизни. И пил из них. Они же наводнили мой разум грезами, которые неотступно вселяли в меня мысли о восторге, лежащем вне пределов тела. Я переносился в Природу. И чувствовал, что какая-то часть меня, только что пробудившаяся, тянулась к нему под дождем и в блеске солнца, далеко в сладостное и усыпанное звездами небо, словно дерево, переросшее густой подлесок, что мешал нижней части его ощущать свет и свободу.

— Да, здорово задело вас, доктор, — пробормотал О'Мэлли. — Боги прошли совсем рядом.

— Как же сильно ненавидел я тьму, державшую мое тело в заключении, и жаждал распылиться в Природе, разлететься с ветром и росой и сиять вместе со звездами, вместе с солнцем! Выход, о котором я упомянул чуть выше, начал казаться верным и необходимым. Хотя я и стремился

скрыть эту одержимость даже от самого себя, пытался сопротивляться.

— Вы еще упоминали, что возникли иные признаки, — сказал ирландец, когда его собеседник остановился перевести дух. Поведанное доктором было ему известно по собственному опыту. Его уже утомили экивоки, с помощью которых доктор пытался подвести его к признанию всего пережитого безумием.

Поверхностное знание всегда опасно, теперь вполне ясно было, отчего нерешительность человека рассудочного склада привела его к ошибочному шагу. — Значит, и другие испытывали сходное воздействие?

— Вы сможете завтра прочитать об этом в подробном отчете, который я составил тогда же. Он слишком длинен, чтобы полностью передать сейчас. Но кое-что смогу рассказать. Было несколько попыток побега из клиники, возникшее у многих желание вырваться; пациенты стремились подойти как можно ближе к комнате, где он содержался; у них отмечалась тоска по открытому пространству и садам; несколько человек надолго впали в транс; пациенты также слышали рев проносящегося ветра и топот копыт; у некоторых возникли вспышки буйства, у иных — молча-

ливый экстаз. Можно усмотреть параллель с массовыми устремлениями, охватывающими порой религиозные общины в монастырях. Только тут не было ни проповедника, ни красноречивого лидера, способного увлечь за собой и вызвать истерическое состояние, — никого, кроме этого безмолвного средоточия энергии, мягкого и располагающего к себе, словно дитя, что неспособен был связать и двух слов и распространявший мощное свое влияние бессознательно, преимущественно во сне.

За небольшим исключением, всё происходило ночью, а достигало максимальной силы, как мне позже сообщали, когда я засыпал в его комнате возле его спящего тела. Происходила масса всего любопытного, в чем вы сможете убедиться, когда прочитаете отчет. Скажем, рассказы моих ассистентов или те, что передавали испуганные медсестра и санитар, а также привратник, который даже заикался, когда говорил о странных визитерах, звонивших в дверь еще до рассвета и пытавшихся протиснуться внутрь, говоря, что они — посланники, что их вызывали, что они должны пройти, — крупные, странные фигуры в развевающихся одеждах, которых привратник называл с некоторым юмором «циркачами или

созданиями из волшебных сказок», исчезавшие столь же неожиданно, как и появлялись. Даже если допустить тут некоторую долю выдумки и преувеличения, россказни эти были слишком странными, доложу я вам, а в совокупности с усилением галлюцинаций у большинства пациентов, участившимися случаями попыток самоубийства, с которыми персонал уже не справлялся, сделали выбор для меня совершенно ясным: я должен был руководствоваться своим врачебным долгом.

— А каково было самое сильное воздействие на вас самих? — спокойно переспросил ирландец.

Шталь устало вздохнул и отвечал с усилившейся печалью в голосе:

— Я уже вкратце рассказывал, могу лишь повторить, хотя повторение не усилит воздействия. Бесполезность большинства целей, что ставят люди перед собой сегодня, — то, что вы сами назвали ужасом современной цивилизации. Тщеславие, которым проникнут современный механический прогресс. Дикая, безумная красота, струившаяся от личности этого человека, заполнила всё вокруг и заразила многих, а меня в особенности, жаждой простых и природных вещей и страстью к духовной красоте, сопро-

вождающей их. Слава, богатство, положение в обществе стали казаться бесплотнее теней, а нечто иное, неизрекомое, представилось много важнее. Мне хотелось бросить всё и жить на природе, познать простоту, цели, лишенные себялюбия, золотое бытие ребенка рассветов, росы и ручьев, о котором пекутся леса и кого ласкает ветер… — Он вновь сделал небольшую паузу, чтобы перевести дух, и добавил: — Вот как ко мне подобралась коварная мания, пока я не обнаружил ее и не пресек ее развитие.

— Даже так!

— Ибо то, чего он искал и чего жаждал, возможно, даже вспоминал, в телесном мире невозможно. Это было духовное состояние…

— Или же то, которое возможно познать субъективно! — уточнил О'Мэлли.

— Я по природе своей далеко не лотофаг, — продолжал он с напором, — поэтому я активно начал сопротивляться воздействию и одержал победу. Но, должен признаться, вначале оно нахлынуло на меня, подобно буре, настоящему урагану восторга. Я всегда, так же как и вы, возможно, считал, что цивилизация принесла с собой целый сонм болезней и что те немногие заболевания, встречающиеся у более диких племен, могут

быть излечены средствами, поставляемыми самой Землей. Именно эта линия рассуждений и оказалась подвержена воздействию, поскольку не вызывала у меня возражений, подкрепленная собственным моим опытом. Сегодня полученные из практики способы лечения, травы и подобные им натуральные методы известны под именами «солнечные процедуры», «воздушные процедуры», «верный метод Кнейппа»[66], «обтирания морской водой» и множеством прочих.

Никогда прежде не было такого количества докторов, пользующих пациентов, страдающих массой болезней, вызванных искусственностью современной цивилизации по причине забвения некой центральной жизненной силы, которую человек должен разделять с Природой… Вы всё это прочитаете в моем отчете. Я лишь хотел бы подчеркнуть, насколько хитро воздействие, которому я подвергся: оно воспользовалось моими профессиональными знаниями. Я поистине видел, что духовные пастыри и врачи — единственно возможные и необходимые «профессии»

[66] Примечания: 66

Себастьян Кнейпп (1821–1897) — баварский священник, один из основателей натуропатии в медицине. Заболев в 1848 г., излечил себя с помощью водных процедур, по методу контраста и т. п., получивших его имя.

в мире и что они должны быть единой профессией...

XLIV

Тут он вдруг отшатнулся. Словно вдруг осознал, что сказал лишнее. Взяв своего собеседника под руку, он зашагал с ним дальше по палубе.

Когда они проходили мимо мостика, капитан их поприветствовал, и ветер подхватил его громкий, жизнерадостный смех. Инженер-американец вынырнул из-за темного угла, едва не столкнувшись с ними, лицо его раскраснелось.

— Внизу — как в топке, — сказал он, как обычно чуть гнусавя, — спать слишком жарко. Вышел глотнуть свежего воздуха.

Он было двинулся вслед за ними, но доктор лишь констатировал:

— Верно, ветер дует в корму, поэтому ток воздуха не ощущается.

После чего отвесил поклон, и даже этому толстокожему представителю «самой передовой цивилизации мира» стало ясно, что его компании не ищут. Когда они достигли двери в каюту, О'Мэлли про себя восхитился, с каким достоинством этот «коротышка» смог отказать американцу.

Хотя ему бы, по совести говоря, некоторое отвлечение не помешало. Долгий рассказ немца его утомил. К тому же чувствовалось, что тот что-то недоговорил, утаив. Притом немало. Компромиссы граничили с нечестностью.

А бессвязность последней части рассказа почти нагнала на него скуку. Ибо, как он легко догадался, это был четко рассчитанный ход. Прежде всего нацеленный на то, чтобы выявить сходную нечеткость в его собственных взглядах. Но нет. Он видел все замыслы приятеля насквозь. Шталь желал спасти его, показав, что сходные переживания, испытанные им, были всего лишь симптомом душевного расстройства. А вместе с тем навязать ему исподволь свою интерпретацию событий. Однако интуитивно ирландец чувствовал, что доктору даже хотелось бы услышать иное объяснение, отчасти он был готов его принять.

Внутренне улыбнувшись, О'Мэлли наблюдал, как Шталь снова, как встарь, готовит кофе. И терпеливо ждал продолжения. В определенном смысле это было даже полезно. На потом. Когда он вернется в цивилизованные края к цивилизованной жизни, ему нередко придется сталкиваться с подобной реакцией после передачи своего

Послания современным думающим, образованным людям — тем, кого он обязан привлечь на сторону своей мечты, ибо без их поддержки ни одно движение не может быть хотя бы отчасти успешным.

— Значит, как и мне, — начал Шталь, ограждая руками пламя спиртовой горелки на столе между ними, — вам едва удалось вырваться, буквально чудом. С чем я вас от души поздравляю.

— Благодарю, — сухо откликнулся ирландец.

— Запишите свою версию, я свою уже почти завершил, и сравним записи. Может, мы даже могли бы опубликовать их вместе.

Он разлил по чашкам ароматный кофе. Приятели сидели друг против друга за маленьким столиком. Но О'Мэлли не проглотил наживку. Он хотел услышать повесть приятеля до конца.

И через некоторое время напрямую попросил об этом:

— Значит, стоило выписать пациента, вызывавшего всё это беспокойство, как всё сразу прекратилось?

— Через некоторое время. Довольно скоро.

— И у вас также?

— Я пришел в чувство. Восстановил контроль над собой. Неподвластные рассудку импульсы

отступили. — Шталь улыбнулся, отхлебнув кофе. — Ведь сейчас перед вами, как видите, сидит вполне здравомыслящий судовой врач, — закончил он, глядя прямо в глаза собеседнику.

— Поздравляю…

— Vielen Dank[67], — поклонился он.

— Однако что же вы пропустили, хотя почти достигли, — продолжал Теренс. — Подобно мне, вы могли бы познать Космическое Сознание! Могли бы повстречаться с богами!

— В смирительной рубашке, — резко отреагировал доктор.

И они расхохотались, как некогда прежде, с бокалами кахетинского в руках, — два противоборствующих типа, что вечно будут спорить друг с другом.

Вопреки ожиданиям немцу больше почти нечего было сказать. Он упомянул, как начал искать труды прежде неведомых ему мыслителей, желая найти объяснение пережитому, сколь умозрительным бы оно ни оказалось. Коснулся того, как набрел в своих поисках на Фехнера, «поэтические теории» которого весьма тщательно изучил, как добавил в свой круг чтения наибо-

---

[67] Примечания: 67
Большое спасибо *(нем.)*.

лее достоверные отчеты о «спиритизме» и даже менее разработанные теории, согласно которым часть человеческого существа, именуемая «астральной» или «эфирной», способна отрываться от родительского центра и, влача вслед за собой более тонкие воздействия желаний и стремлений, построить весьма ярко воспринимаемое субъективное состояние, где все эти стремления осуществляются, истинный рай.

Однако он не выдал, какое именно воздействие произвело на него всё это чтение, а также не поделился мнением, обнаружил ли он некую истину или возможное толкование. Он лишь перечислил список имен авторов и названий книг не менее чем на трех языках, отличающийся поистине всеохватностью, от Платона и неоплатоников и далее через века, включая Майерса, Дюпреля[68],

[68] Примечания: 68

Карл Дюпрель (1839–1899) — немецкий философ, занимался оккультизмом с учетом теории эволюции Ч. Дарвина *(Dec Kampf urns Dasein am Himmel,* 1874). Занимался изучением «животного магнетизма», медиумов (в частности, Эусапии Палладино). Его книга «Философия мистики» *(Die Philosophic der Mystik,* 1885) знакомит с научными исследованиями явлений ясновидения и сомнамбулизма, объясняет природу и значение сновидений, а также скрытые способности человека во сне, учит с их помощью управлять своей памятью, заглядывать в будущее, бороться с недугами.

Флурноя[69], Лоджа[70] и Мортона Принса.

Изо всех них, как О'Мэлли понял по наиболее часто упоминаемым фрагментам еще на пути в Батум, Фехнер импонировал противоречивому и оригинальному уму доктора больше всего, хотя напрямую он в этом не сознавался. По крайней мере, казалось, что он склонялся к мысли о нераздельности сознания и материи и что «своего рода» Космическое Сознание может быть свойственно Земле, равным образом как и другим планетам и звездам. Идея Прамира, о которой он так часто упоминал, отчасти захватила его воображение — это, по крайней мере, было ясно.

Ирландец всё впитал, но был уже слишком утомлен, чтобы спорить, и слишком к тому же завален новыми сведениями, чтобы задавать

---

[69] Примечания: 69

Теодор Флурной (1854–1920) — швейцарский психолог. Основал лабораторию экспериментальной психологии. Результаты исследования на сериях фантазий молодой женщины, мисс Миллер, описанные им в 1906 г., легли в основу работ Карла Густава Юнга, изданных позднее под общим названием «Символы трансформации» *(Symbols of Transformation*, 1967), работ, знаменовавших окончательный отход теории этого мыслителя от идей З. Фрейда.

[70] Примечания: 70

Оливер Лодж (1851–1940) — английский физик, за работы по беспроволочному телеграфу произведенный в рыцарское звание. Написал также ряд книг о жизни после смерти, в частности «Доказательства жизни после смерти» *(Raymond; or, Life and Death*, 1916), которая могла быть среди упоминаемых героем Блэквуда.

вопросы. Обычная говорливость покинула его. Он дал доктору выговориться, ни разу не перебив. И предостережения усвоил вместе с прочим. Но ничто из услышанного не переменило его намерений.

Уже не первый восход солнца встречали они со Шталем вместе, теперь же, когда они ступили на палубу вдохнуть утреннего воздуха, перед ними встала, словно сон, оставленный по себе на морской глади ночью, Корсика.

— По крайней мере, теперь вы понимаете, отчего я тогда с таким интересом наблюдал за вашим другом и так хотел разделить вас, чтобы не подвергать опасности во время сна вблизи него, а в то же время не мог удержаться, чтобы не проследить, какое он оказал на вас влияние вблизи. Потому я всегда так хорошо понимал, что творится у вас на душе.

О'Мэлли спокойно повторил то, во что верил и что питало его мечту:

— Когда вернусь, на родине я стану распространять свою весть. Поскольку она истинна.

— Лучше молчать, — последовал ответ. — Сколь бы истинна она ни была, мир не готов ее услышать. Сами убедитесь, уже во время рассказа суть улетучится. И рассказывать будет нечего. Кроме

того, ваша мечта должна одновременно отрыться многим. Вас никто не поймет.

— Могу лишь пытаться.

— Ни до одного делового человека вы не достучитесь, разве что совсем до немногих интеллектуалов. Получится лишь укрепить мечты тех, кто и без того грезит наяву. Так в чем же прок? — спрашиваю я. В чем?

— Мир возжаждет простоты, — пробормотал ирландец в ответ, в его душе навстречу солнцу, встающему из розовых волн, поднималось сладостное пламя. — Большего и не нужно.

— Ни малейшего прока, — последовал лаконичный ответ.

— Они смогут узнать богов! — воскликнул О'Мэлли, для которого в этих словах было всё средоточие Видения.

Шталь некоторое время изучающе глядел на него, прежде чем заговорить снова. И вновь выражение его лица стало задумчивым, в карих глазах светилось восхищение.

— Друг мой, — серьезно, почти мрачно начал он, — людям боги ни к чему. Люди предпочитают менее изысканные удовольствия. Возбуждение физическими стимулами значительно более грубого свойства…

— Болезни, страдания, разъединенность, — вставил ирландец.

Немец пожал плечами.

— Такова их стадия развития. Если преуспеете, вам удастся лишь заставить малую часть почувствовать себя неловко. Большинство и ухом не поведет. Лишь одному на миллион принесете вы мир и счастье.

— Пусть хоть одному! — воскликнул ирландец. — Значит, мои усилия чего-то да стоили!

Очень мягко, почти нежно, сочувственно улыбаясь, Шталь проговорил:

— Тогда продолжайте грезить, мой друг, но в одиночку, в мире и тишине. Тот «единственный», кого я имел в виду, это вы и есть.

Пожав ему руку, доктор повернулся, чтобы уйти в каюту. О'Мэлли постоял еще немного на палубе, любуясь восходом. Больше они не сказали друг другу ни слова. За спиной тихо прикрылась дверь. Но в уме ирландца четко прозвучало: «Трус и эгоист».

Но сам Шталь, судя по выражению его лица, когда, оставшись один в каюте, он прикрывал за гостем дверь, мыслил иначе. Возможно, доктор даже почти вымолвил свои мысли вслух. Так или иначе, с его губ слетел вздох, где мешались печаль

и облегчение. О'Мэлли это вспоминал позже.

— Прекрасный и неразумный мечтатель! Но, слава богу, безвредный — для других и... для себя.

Вскоре и О'Мэлли вернулся к себе в каюту. Прежде чем заснуть, он долго лежал, охваченный печалью, словно услышав невысказанную мысль приятеля. Теперь он осознал, сколь неодолимы преграды. Мир сочтет его «безобидным безумцем».

Однако полностью погрузившись в сон, он скользнул за рассветную дымку в Сад Прамира. Заветное слово у него никому не отнять.

— Не пытаться нельзя!

XLV

На этом исписанные вдоль и поперек записные книжки обрываются. Настал черед действий, приведших к неминуемому краху.

Легко можно себе представить краткую историю безумной кампании О'Мэлли. Для тех, кто изберет предметом изложения историю похороненных надежд и их провозвестников, подробное раскрытие стадий конкретно данной могли бы заинтересовать. Но для меня лично это слишком печальная история. Не могу заставить себя передавать, а тем более анализировать, повесть разбитого сердца, когда это касается очень близкого друга, человека, искренне любившего меня, который был мне дорог.

Кроме того, и эти наблюдения за человеком неординарным, хоть и любопытные, не новы под луной. Такова истинная история множества поэтов и мечтателей с начала времен, хотя о ней не столь часто говорят, а порой и не догадываются. Лишь сами поэты, а особенно те, кто лишь наполовину может выразить снедающий их пламень, способны постичь жгучую боль, страсть и

замкнутость переживаний.

Большую часть тех месяцев, когда Теренс развивал свою безнадежную деятельность, я находился в отъезде и меня достигали лишь отрывочные вести. Однако, думаю, ничто было не способно остановить его, никакая житейская мудрость не могла заставить хотя бы приостановиться и задуматься. Он был одержим, и пока снедающее его пламя само не потухло бы — поделать ничего было нельзя. Богатым ли, бедным ли, он не переставал рассказывать о Простой жизни, о мистическом бытии души, о том, что истинное знание и истинный прогресс лишь внутри и с внешними проявлениями не связан. Не жалея себя, самозабвенно, упорно, кстати и некстати, не зная полумер, нес он свою Весть. Энтузиазм его мешал чувству меры, а экстравагантность манеры не давала людям разглядеть зерно истины, несомненно крывшееся в его словах.

Для того чтобы дать движению толчок, он продал всё, что у него было. Оставшись без единого пенни, он буквально осел под грузом славной вести об ослепительной и несказанной Мечте. Намеком подчас удается добиться существенно большего, чем применяя мощный молот убеждения, но этот метод он в свой арсенал не включал.

Его вера была куда крупнее горчичного зерна, она укоренилась и взошла целым лесом, громовыми раскатами рассылающим Весть. И Теренс, не смолкая, во всю силу легких, стремился ее донести.

Думаю всё же, что горькое разочарование, кроющееся за банальным выражением «разбитое сердце», его не постигло, ибо казалось, что жестокая неудача, выставившая его на посмешище, лишь укрепила в нем надежду и целеустремленность, заставила искать более убедительные методы внушения. Горькая чаша была испита до конца. Но вера О'Мэлли не утратила ни единого перышка. Открыто хохочущие люди в Гайд-парке, пустые скамьи во множестве публичных залов, краткие, ничего не говорящие заметки, заткнутые в неприметный угол, в которых О'Мэлли называли выжившим из ума типом и длинноволосым пророком, даже полное молчание, с которым встречали любые его буклеты, письма в редакции и прочее печалили его скорее из-за других, а не из-за себя. Любые страдания его носили исключительно альтруистический характер. И мечта его, и побудительные мотивы, и неуклюже выражавшееся, но всеобщее сострадание, неподдельная любовь к человечеству были слиш-

ком велики, чтобы принимать в расчет личные неудобства.

Поэтому, полагаю, столь глубокое разочарование не заронило в него чувство горькой обиды, неминуемо постигшее бы беднягу, будь его мечта менее чистой. Ни малейших сомнений в своей правоте у него не возникло. Во всех, предлагавших помощь, он не подозревал никакой задней мысли. Приветствовал даже явных глупцов и чудаков, которые приходили к нему под знамена, дабы протащить под шумок и свою идефикс, несколько сожалея, что, как Шталь и предвидел, ему не удалось привлечь людей более сознательных. И даже не усматривал двойного дна в действиях немногих богатых и знатных женщин, приглашавших его к себе в салоны лишь для того, чтобы за эксцентричностью гостя скрыть собственную заурядность. Вплоть до самого конца он смело придерживался своих убеждений, даривших ему душевный покой.

Даже перемена метода действий, к которой он затем прибегнул, говорила о стойкости его веры.

— Я начал не с того конца, — решил он. — Мне никогда не достичь сердца людей, воздействуя на их разум. Их мозг полностью во власти механически изготовленных богов современной

цивилизации. Снаружи переменить направление их мыслей и страстей не получится — слишком велика инерция. Я должен достучаться до них изнутри. Чтобы достичь их сердец, новые идеи должны подняться из глубины их существа. Но я вижу более верный путь. Внутренний. Я коснусь их душ через Красоту.

Он до последнего момента был убежден, что смерть позволит ему слиться с Коллективным Сознанием Земли и что оттуда, из глубины ее вечной красоты, он достигнет сердец людей через проблески прекрасного в природе и так донесет пламенеющую в нем Весть. Теренс любил цитировать строки из поэмы «Адонаис»:

Не умер он; теперь он весь в природе;
Он голосам небесным и земным
Сегодня вторит, гений всех мелодий,
Присущ траве, камням, ручьям лесным,
Тьме, свету и грозе, мирам иным,
Где в таинствах стихийных та же сила,
Которая, совпав отныне с ним,
И всех и вся любовью охватила

И, землю основав, зажгла вверху светила.

Прекрасное украсивший сперва,

В прекрасном весь, в духовном напряженье,

Которое сильнее вещества,

Так что громоздкий мир в изнеможенье,

И в косной толще, в мертвом протяженье,

Упорно затрудняющем полет,

Возможны образ и преображенье...[71]

Мысль эта, выраженная множеством способов, не сходила с его уст. Грезить было верно, пусть

---

[71] Примечания: 71

Перевод В. Б. Микушевича. Строки из поэмы Перси Биши Шелли в оригинале:

He is made one with Nature: there is heard
His voice in all her music, from the moan
Of thunder, to the song of night's sweet bird;
He is a presence to be felt and known
In darkness and in light, from herb and stone,
Spreading itself where'er that Power may move
Which has withdrawn his being to its own...

He is a portion of the loveliness
Which once he made more lovely: he doth bear

›››

His part, while the one Spirit's plastic stress
Sweeps through the dull dense world...

одному, поскольку красота Мечты должна была добавиться к красоте Целого, частью которого и интерпретацией она была. Ничто не потеряно. Всё со временем вернется, чтобы накормить мир. Он познал милостивые мысли Земли, но их было нелегко вместить и почти невозможно выразить. Мистическое откровение полностью не передать. Лишь для того, кто его испытал, имеет оно смысл, лишь над тем властно. Телесное откровение невозможно. Лишь тем из людей оно ведомо, в чьих сердцах поднималось оно интуитивно и ощущалось в форме природных идей. Его приносит вдохновение, красота становится проводником. Чтобы достичь умов людей, вначале следует изменить их сердца.

— У меня лучше получится с другой стороны — из того древнего Сада, лежащего в сердце Матери-Земли. Так выйдет без ошибки!

XLVI

Так вышло, что мы снова повстречались в конце сырой и туманной осени, в воздухе уже тянуло зимой, Лондон сделался унылым, и исхудалый, запущенный вид друга сразу всё мне поведал. Лишь прежняя страстность в голосе доказывала, что дух его не ослабел. Внутри по-прежнему горел тот огонь, что светился в глазах и выражении лица.

— Я сделал великое открытие, старина, — воскликнул он с прежним воодушевлением, — наконец открыл.

— Ты и прежде делал их немало, — жизнерадостно откликнулся я, хотя мысли мои занимало его печальное состояние здоровья. Внешний вид его меня просто поразил. Теренс стоял среди разбросанных бумаг, книг, галстуков, подкованных сапог, рюкзаков и всяческих карт, высыпавшихся из брезентового мешка. Старый костюм серой фланели свисал с сущего скелета, вся жизнь сконцентрировалась в глазах — дальнозорких, голубых глазах его. Теперь они сделались темнее, словно в них плескалось море, подумалось мне.

Волосы, отросшие и нечесаные, падали на лоб. Он был бледен, и в то же время на щеках горел лихорадочный румянец. Передо мной стоял почти бесплотный дух. — Ты и прежде делал их немало. С удовольствием послушаю. Это еще лучше прочих?

Несколько мгновений он смотрел как бы сквозь меня, мне даже стало немного не по себе. Но на самом деле он зрел дальше. И видел совсем не меня, я даже обернулся, чтобы тоже что-то разглядеть в сгущающихся сумерках.

— Проще. Намного проще, — быстро ответил он.

Придвинувшись ближе, он зашептал. Показалось ли мне или от его дыхания действительно пахнуло цветами? В воздухе действительно стоял странный аромат, дикий и пряный, как в саду весной.

— И что это?

— Сад повсюду! Вовсе не надо отправляться далеко на Кавказ, чтобы его обнаружить. Он и тут, в старом Лондоне, на его туманных улицах и грязных мостовых. Даже в этой заполненной хламом, неубранной комнате. Сейчас, когда гаснет лампа и тысячи людей забываются сном, Врата из Рога и Слоновой Кости здесь, — похлопал он по

груди. — И цветы, длинные гряды холмов, обдуваемых ветром, огромное стадо, нимфы, солнечный свет и боги!

Теперь он так привязался к комнатке в Пэддинг-тоне, где были сложены все его книги и записи, что, когда странная болезнь, поразившая его, усилилась, а приступы безымянной лихорадки участились, я нанял спальню для него в этом же доме. И в той дешевой комнатушке, похожей на клетку, он испустил последнее дыхание.

Я назвал его болезнь странной, поскольку ее так никто и не распознал. Он словно просто угас, не страдая ни от боли, ни от бессонницы, ни от чего другого. Он ни на что не жаловался и не проявлял симптомов ни одной из известных болезней.

— Ваш друг физически вполне здоров, — сказал мне врач, когда я потребовал от него на лестнице, после осмотра, сказать правду. — Вполне! Ничего, кроме свежего воздуха и хорошего питания, ему не требуется. Его тело не получает питательных веществ. И проблема в душевной сфере, вне всякого сомнения, она связана с неким глубоким разочарованием. Если бы вам удалось переменить направление его мыслей, пробудить интерес к обычным вещам, переменить обстановку, возможно, тогда… — Он пожал плечами с

озабоченным видом.

— Скажите, он умирает?

— Думаю, да, он умирает.

— От…

— Просто от недостатка жизни, — ответил врач. — Он потерял желание жить.

— Но у него еще осталось много сил.

— Он полон сил. Но все они иссякают бесследно, уходят куда-то. Организм ничего не получает.

— А в области психики, — спросил я, — у него нет никаких отклонений?

— Не в обычном смысле слова. Его сознание вполне ясное и активное. Насколько могу судить, мыслительный процесс не нарушен. Мне кажется…

Пока шофер накручивал рукоять стартера, доктор задержался немного на пороге дома.

Я с тревогой ожидал окончания фразы.

— Это похоже на особый случай ностальгии, весьма редко встречающийся и трудноизлечимый. Острая и жестокая ностальгия, та, что порой зовут «разбитым сердцем». — Стоя уже у дверцы автомобиля, он еще на минуту задержался. — Когда вся жизненная энергия человека устремляется к далекому и недостижимому месту, или человеку, или… или же неким во-

ображаемым желаниям, которые он стремится удовлетворить.

— К мечте?

— Может быть, даже и так. — Садясь в машину, он продолжал размышлять: — Причина вполне может быть духовного порядка. Люди религиозного и поэтического склада наиболее этому подвержены, и их труднее всего вылечить, когда они впадают в такое состояние. — Чувствовалось, что доктору с трудом удается скрывать уверенность в своем диагнозе. — Если вы действительно хотите спасти его, постарайтесь переменить направление его мыслей. Должен признаться, что я тут не в состоянии ничего предпринять. — И затем, чуть потянув за седую бородку и глянув на меня поверх очков, с сомнением в голосе добавил: — Вот только те цветы… лучше бы их убрать из комнаты. Слишком сильно пахнут… Так будет лучше.

Он снова пристально глянул на меня. В глазах мелькнуло странное выражение. А меня тоже охватило непонятное смятение, я даже на какое-то время потерял дар речи, а когда вновь смог говорить, автомобиль доктора уже скрывался за поворотом. Ведь в той комнатушке никаких цветов вовсе не было, но, видимо, аромат полей

и лесов достиг также и доктора, чем тот был порядком смущен.

«Переменить направление его мыслей!» Я зашел в дом, раздумывая, как честному и хотя бы наполовину думающему не только о себе другу, зная то, что было мне известно, последовать совету доктора. Каким иным мотивом, кроме как вполне эгоистичным желанием сохранить Теренса для собственного удовольствия, мог я руководствоваться, пытаясь отвратить его мысли от воображаемых радостей и мира к страданиям и низким фактам повседневного существования, которые он столь презирал?

Тут мне дорогу преградила растрепанная светловолосая хозяйка помещения, в котором мы квартировали. Миссис Хит остановила меня в коридоре, желая добиться ответа, не хотели бы мы «касательно расчета» договориться. Манеры ее были вполне решительны. Оказалось, что Теренс задолжал за три месяца.

— Его спрашивать толку никакого, — вела она свое, хотя в целом и не зло. — Больше мочи нет терпеть проволочки. Он всё говорит о богах да каком-то мистере Пане, который за всем присмотрит. Но я-то никогда ни его самого не вижу, ни этого его мистера Пана. А всех вещей его там, —

кивнула она в сторону комнаты жильца, — если продать, так на сэнкимудскую[72] книгу гимнов не хватит!

Я успокоил ее. Невозможно было не улыбнуться в ответ на ее речи. К тому же я заметил про себя, что для некоторых книга гимнов Сэнки могла содержать мечты не менее мощные, чем у моего друга, и гораздо менее беспокойные. Однако эта фраза про «какого-то мистера Пана», что мог бы поручиться за жильца перед хозяйкой, послужила невольным комментарием к современной точке зрения, от которого мне захотелось скорее заплакать, чем засмеяться. О'Мэлли и миссис Хит, не ведая того, обрисовали глубокую пропасть, что пролегла между ними…

Так, постепенно, Теренс угасал, покидая бушующий внешний мир ради внутреннего покоя. Центр его сознания переместился из переходной формы призрака в более глубокое постоянство

---

[72] Примечания: 72

Айра Дэвид Сэнки (1840–1908) — американский евангелист, член организации Молодых христиан YMCA, в 1870 г. на съезде этой организации в Индианаполисе познакомился с делегатом из Чикаго Дуайтом Муди (1837–1899), который пригласил его к себе петь, поскольку Сэнки отличался незаурядным талантом переложения гимнов. После пожара в Чикаго в 1871 г. они приняли предложение посетить Англию и там обрели большую известность как авторы и исполнители гимнов. Книга «Евангелические гимны» *(Sacred Songs and Solos*, 1873) Сэнки и Муди — одно из наиболее известных собраний духовных песен на английском языке.

вечной реальности. Так он объяснил мне происходящее в одну из наших последних странных бесед. Он наблюдал за собственным уходом.

Он часами лежал в постели, уставившись счастливыми глазами в никуда, лицо его положительно сияло. Часто пульс почти совсем пропадал, казалось, он уже не дышит, но сознания он не терял и в транс не погружался. Когда я находил в себе силы обратиться к нему, чтобы вернуть обратно к жизни, мой голос достигал его ушей и он отвечал. Тогда глаза тускнели, теряли счастливый свет, обращаясь ко внешнему миру, на меня.

— Тяга теперь так велика, — шептал он, — я был далеко-далеко, в средоточии жизни Земли. Зачем ты возвращаешь меня назад, к этой суете? Здесь я ничего не могу поделать, там я нужен…

Он говорил столь тихо, что приходилось нагибаться почти к самым его губам. Долго сидел я возле его кровати, был поздний час. Снаружи стоял гнетущий желтый туман, но друга окружал аромат деревьев и цветов. Несильный, трудно было сказать, какими именно цветами пахнет, но таков воздух на нагретой лесной опушке или холме. Он чувствовался в самом дыхании Теренса.

— Каждый раз возвращаться всё труднее. Там

я живу полной жизнью и чувствую свою силу. Я могу работать и посылать свою весть, всё получается. Здесь же, — он с улыбкой оглядел свое исхудалое тело, — я всё еще на краю, и это приносит боль. Так неэффективно.

В глазах снова засветился знакомый взгляд, вернувшись быстрее, чем прежде.

— Мне показалось, ты захочешь рассказать мне что-нибудь, — продолжал я, стараясь сдержать слезы. — Ты никого не хотел бы увидеть?

Он медленно покачал головой и дал странный ответ:

— Все они там.

— Возможно, Шталя… если я смогу привести его сюда?

На лице промелькнуло выражение некоторого неодобрения, мягко сменившееся мечтательной нежностью, как у ребенка.

— Его там нет… пока, — прошептал он. — Но и он придет. Во сне, думаю, он уходит туда и теперь.

— Так где же ты тогда на самом деле? — осмелился я спросить. — И куда ты уходишь?

Ответ прозвучал тотчас же, без малейшего колебания:

— Внутрь себя, к своей сути, настоящей и

глубинной, и еще глубже — к ней, к Земле. Где пребывают все остальные — все, все, все.

И тут он испугал меня, неожиданно сев на кровати. Глаза смотрели мимо меня, куда-то за пределы стен. Движение было настолько внезапным и энергичным, что я даже отшатнулся. Голова его была наклонена набок. Он прислушивался.

— Слушай! — шепнул он. — Они зовут меня! Слышишь?

Радостная улыбка озарила его лицо, словно солнечный луч, и заставила меня затаить дыхание. Что-то в этих тихих словах взволновало меня больше всего на свете. Я тоже прислушался. Лишь шум машин внизу на улице нарушал тишину, грохот тележки неподалеку и шаги редких прохожих. Никаких других звуков не доносилось в ночи. Ветра не было. Густой желтый туман заглушал всё.

— Я ничего не слышу, — тихо ответил я. — А что слышишь ты?

Не ответив, он снова откинулся на подушки, всё с тем же лучащимся счастьем лицом. Это выражение не сошло до самого конца.

Туман так густо пополз из окна, что я встал, чтобы поднять раму. Теренс никогда не затворял

окна, но я надеялся, что он не обратит сейчас на это внимания. Оттуда доносились резкие звуки уличной музыки — какой-то нищий бездарно дул в дешевую свистульку, — и мне не хотелось, чтобы они тревожили моего друга. Но и Теренс тут же вскочил.

— Нет, нет! — воскликнул он, впервые за ту ночь повышая голос. — Не закрывай. Я тогда не смогу слышать. Пусть воздух свободно залетает. Открой шире… шире! Мне нравится этот звук!

— Но туман…

— Нет никакого тумана. Только солнце, цветы и музыка. Впусти их. Разве ты всё еще не слышишь?

Скорее, чтобы успокоить его, я наклонил голову в знак согласия. Ибо видел, что сознание у него начинает мешаться, раз он ищет во внешнем мире подтверждения воображаемой детали из видения. Я опустил раму, укрыв друга поплотнее. Но Теренс тут же отбросил одеяло в сторону. Сырая и холодная ночь ринулась внутрь. Я вздрогнул от ее прикосновения, но О'Мэлли, напротив, приподнялся на локте ей навстречу, чтобы ощутить ее вкус и вслушаться.

Я же, терпеливо ожидая, когда он вновь вернется в свое спокойное, похожее на транс состояние,

чтобы укрыть его получше, подошел к окну и выглянул наружу. Улица была пуста, только какой-то нищий неумело играл на дешевой свистульке. Несчастный остановился как раз под нашим окном. Свет фонаря падал на его оборванную, согбенную фигуру. Лица я не мог разглядеть. Двигался нищий музыкант на ощупь.

Снаружи бездомный бродяга наигрывал на дудочке в холодной и темной ночи.

Внутри Мечтатель внимал ему, грезя о своих богах и саде, великой Матери-Земле, простой мирной жизни на лоне Природы…

Каким-то образом я понял, что музыкант следит за нами. Я махнул ему, прогоняя прочь. Но тут неожиданно кто-то тронул меня за руку, отчего я стремительно обернулся, с трудом сдержав крик. Рядом стоял в ночной сорочке О'Мэлли, исхудалый, как призрак, со сверкающими глазами, а губы его, на которых играла самая прекрасная улыбка, какую мне доводилось видеть, шептали:

— Не гони его… — радость поднималась в нем, — но иди и скажи, что мне нравится, как он играет. Иди и поблагодари его. Скажи, что я слышу и понимаю. Скажи, я иду. Хорошо?..

Всё внутри перевернулось. Словно меня что-то приподняло над полом. Он него ко мне передалась

волна энергии. Комнату наполнил ослепительный свет. В сердце моем зародилось сильнейшее чувство, вызывавшее одновременно и слезы, и радость, и смех.

— Как только ты ляжешь обратно в постель, я сразу пойду, — услышал я свой голос, будто говоривший издалека.

Буря чувств улеглась столь же быстро, как и налетела. Помню, он сразу послушался. Когда я наклонился, чтобы подоткнуть одеяло, лицо мое сладко окутал манящий аромат лугов и полей.

Вот я уже стою на улице. Теперь я вижу, что музыкант слеп. Его руки и пальцы странно велики.

Я подошел к нему почти вплотную и уже готов был вложить в протянутую ладонь всё, что у меня нашлось в карманах, и гораздо больше — ради О'Мэлли, которому понравилась игра, — когда что-то заставило меня обернуться. Не могу сказать точно, что это было. Сначала показалось, что кто-то постучал в окно его комнаты за моей спиной, затем послышался легкий шум в комнате, а вслед за тем — самое необычное: словно кто-то вихрем пронесся мимо меня с радостным кличем…

Ясно я помню лишь то, что обернулся, но, еще не успев отвести глаз от лица нищего, увидел, как

в незрячих очах блеснул свет, словно он прозрел. А на губах расцвела улыбка: клянусь в этом.

А когда повернулся обратно, улица передо мной была пуста. Нищий исчез.

Тающие очертания его фигуры быстро уносились вдаль за завесой тумана. Он был огромен и, распрямляясь, становился всё больше. В круге отбрасываемого фонарем света было видно, что плечи его поднимаются выше человеческого роста. И он был не один. С ним вместе двигалась вторая фигура.

Издалека донесся звук флейты. Слабо и певуче. А в грязи, под ногами, валялись деньги, брошенные за ненадобностью. Последние монетки звякнули о мостовую. Вернувшись в комнату, я понял, что тело Теренса О'Мэлли перестало дышать.